

А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р
И Н С Т И Т У Т Я З Ы К О З Н А Н И Я

В О П Р О С Ы
Я З Ы К О З Н А Н И Я

Г О Д . И З Д А Н И Я

XV

5

С Е Н Т Я Б Р Ъ — О К Т Я Б Р Ъ

И З Д А Т Е Л Ъ С Т В О « Н А У К А »

М О С К В А — 1 9 6 6

СО Д Е Р Ж А Н И Е

- В. Г. Костомаров, А. А. Леонтьев (Москва). Некоторые теоретические вопросы культуры речи 3

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

- Н. И. Толстой (Москва). Из опытов типологического исследования славянского словарного состава. II. 16
В. В. Лопатин (Москва). Адъективация причастий в ее отношении к словообразованию 37
В. З. Панфилов (Москва). К типологической характеристике нивхского языка 48

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

- Т. М. Лайтнер (Урбана, США). Об альтернации *e ~ o* в современном русском литературном языке 64
Л. Мошинский (Торунь). Отношение словаря церковнославянского языка к словарям отдельных славянских языков 81
Ф. В. Мареш (Прага). Проект подготовки словаря церковнославянского языка 86
А. Назор (Загреб). О словаре хорватско-глаголической редакции общеславянского литературного (церковнославянского) языка 99
Г. Михалэ (Бухарест). О работе над собиранием материала для составления словаря книжнославянского языка румынской редакции 105

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

- Л. Теньер, По вопросу о диалектологическом атласе русского языка 110

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

- В. И. Борковский (Москва). С. А. Высоцкий. Древнерусские надписи Софии Киевской XI—XIV вв. I 121
Ю. С. Маслов (Ленинград). E. Koschmieder. Beiträge zur allgemeinen Syntax 123
Г. П. Мельников (Москва). М. А. Черкасский. Тюркский вокализм и сингармонизм 129
Э. А. Макаев (Москва). Некоторые вопросы исландской лексикографии 138

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

- Хроникальные заметки 143
Книги, журналы и брошюры, поступившие в редакцию 151

В. Г. КОСТОМАРОВ, А. А. ЛЕОНТЬЕВ

НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ *

„Не человек для языка, а язык для человека“

(И. А. Бодуэн де Куртене)

I. Для преодоления субъективизма, характеризующего культурно-речевую деятельность, необходим поиск теоретического фундамента объективных оценок и действенных путей их пропаганды, т. е. создание учения о культуре речи как отделе языкознания. Это учение естественно противопоставляется пуристическим и другим односторонним, вкусовым воззрениям; оно обязано изменить перспективу в нормализаторстве, все определеннее сбивающемся после А. А. Шахматова и особенно в последние десятилетия к пуританскому «запретительству»¹.

Это учение должно по возможности сблизить «объективную и нормативную точки зрения на язык» (пользуясь терминами А. М. Пешковского); при этом необходимо изучить причины, в силу которых эти два подхода не могут совпасть. Нормативность обработанного и отшлифованного мастерами слова литературного «диалекта» есть отражение объективных процессов национально-языкового развития — продукт не только структурных, но и психических, социальных, историко-культурных факторов, управляющих жизнью и деятельностью людей.

Поэтому учение о культуре речи должно прежде всего осмыслить или переосмыслить понятие языковой нормы — явления необыкновенно сложного и разноприродного. Литературный язык должен быть представлен как основа фактического стилистико-речевого многообразия русского образованного общества. Ведь рассуждая о правильности и, шире, о культурности речи, мы всегда подразумеваем определенную задачу и ситуацию,

* Изложенные в настоящей статье взгляды оформились в ходе собеседований, состоявшихся зимой 1965—1966 гг. в Институте русского языка АН СССР. В их выработке, наряду с авторами, принимали участие Е. Л. Гивзбург, В. П. Григорьев, Н. Г. Михайловская, Л. И. Скворцов и Б. С. Шварцкопф. Авторы во многом руководствовались советами акад. В. В. Виноградова, которому приносят свою глубокую благодарность.

¹ Вот несколько случайных, но показательных и типичных примеров. Б. Н. Тимофеев в книге «Правильно ли мы говорим?» (2-е изд., Л., 1963) счел недопустимым сочетание глаголов *открыть*, *закреть* с существительными *дверь*, *окно*, *ворота*; эта рекомендация была подхвачена и коучет из работы в работу (см., например, газ. «Молодежь Азербайджана» 21 I 1965). В книге, вышедшей огромным тиражом (Е. В. Язовицкий, *Говорите правильно*. Пособие для учащихся, М. — Л., 1964), признаются подлежащими запрету формы *секретарша*, *кондукторша*, *парикмахерша* (стр. 28), естественно, недопустимые в деловом стиле (ибо нет такой номенклатуры), но совершенно законные и уместные, скажем, в разговорно-бытовых сферах. В этой же книге говорится об «уродливом сочетании слова *давай* с повелительным наклоением» (стр. 63); можно лишь радоваться, что сила воздействия подобных рекомендаций на фактический узус не в пример меньше, чем хотя бы песенной строчки: «Давай, космонавт, потихонечку трогай и песню в пути не забудь!».

Категорическое возражение против допуска вариантов, отражающих стилевую дифференциацию и развитие литературного языка, находим в фельетоне А. Страрцакого «Мусор в эфире» (Лит. газ. 16 XI 1965) и в десятках других газетно-журнальных статей. Трудно тут не вспомнить замечания Л. В. Щербы (1945 г.) о том, что «излишняя нормализация зловредна».

определяющие характер общения и выдвигающие отнюдь не стандартные требования к «правильности», «литературности», «красоте» речи².

Одно и то же явление в одном речевом акте или даже ситуации, жанре может остаться незамеченным, тогда как в других условиях единодушно воспринимается как грубая ошибка. Проблема функционально-речевой стандартизации и обособленности в пределах литературного языка сводится, в сущности, к отбору из имеющихся синонимических средств выражения. Это, по сути дела, «естественный отбор», результат которого узаконивается общественной практикой, но закономерности которого обычно не могут быть прослежены и истолкованы, во всяком случае, пока исследователь остается в рамках собственно языковых данных. Можно также полагать, что отбор этот носители языка производят не из заданного множества вариантов, а строя множество альтернатив. Но как бы там ни было, вопрос о выборе и построении вариантов — белое пятно в современном языкознании.

Нормализаторская деятельность могла бы не считаться с этими закономерностями³ лишь в том случае, если бы мы открыли подлинные причины развития в их взаимодействующей совокупности и были бы в состоянии менять по желанию его направление и структуру. При таком маловероятном допущении можно представить себе создание универсального «культурного» языка с инвариантными нормами, который обслуживает все сферы общения. По всей вероятности, он был бы чрезвычайно удобен и чудовищно однообразен.

Газетный лозунг «всегда пользуйтесь прекрасным народным языком» не годен по той простой причине, что народ — если под этим словом понимать не мистическую абстракцию, а живых носителей языка разных социальных, профессиональных, возрастных и иных слоев — в действительности не знает всепригодного однообразия в речи. Тезис, что наш язык с ростом культуры и образованности нивелируется в унифицированный «язык века», не отражает реального развития: на деле здесь наблюдается «дифференциация стилей, все большее их дробление» и одновременно «их противопоставление на коротких отрезках, их композиционное сочетание»⁴.

² Часто мы не отдаем себе в этом отчета, что приводит, скажем, к призыву изгнать из литературного обихода слова *показуха*, *настырный* и др. По этому поводу А. Югов в справедливо писал: «Нельзя подвергать преследованию какое-либо отдельное слово, вырванное из целого. Все определяется смыслом и назначением целого, намерениями пишущего или говорящего. У нас часто погрешают забвением этой истины и открывают травлю отдельных слов» (Сов. Россия, 1 IV 1965). Заметим лишь, что, вопреки мнению А. Югова, авторы справочника «Правильность русской речи» (М., 1935), как и заслуживший его похвалу В. И. Чернышев, занимаются не «травлей отдельных слов», а их функционально-стилистической классификацией в разных контекстах.

³ Даже такой последовательный пурист как Н. И. Греч признавал разные требования к норме в разных жанрах: о формах типа *неувядаемый*, *бываемый*, *незаходимый* он, например, писал: «совершенно неправильны, и могут быть терпимы только в свободной поэзии»; запрещая деепричастие на *-я*, он замечал, что «исключения позволительны... в стихах, для избежания стечения согласных: ... *наудя рыб*, ... *потупя взор*» («Чтения о русском языке», ч. 2, СПб., 1840, стр. 42 и 45). Отмечая, что «само употребление» как источник лучшей речи дает часто несколько форм одного значения, В. И. Чернышев в своей работе «Правильность и чистота русской речи» (2-е испр. и доп. изд., Пг., 1915) щедро включает в литературный канон разные факты, сопровождающие их пометами вроде: «употребляется в книжном языке», «свойственно только языку искусства», «отчасти не чужды и современному литературному языку», «вполне допустимы в разговорном образованном языке», «допускаются литературным языком только в периодической печати» и т. д. Такой подход нашел горячую поддержку И. В. Ягича в пространной рецензии на книгу В. И. Чернышева (см. AfsPh, 33, 3—4, 1912).

⁴ А. С[ухотин], *Стилистика лингвистическая*, «Литературная энциклопедия», 11, М., 1939; М. В. П а н о в, *О стилях произношения*, сб. «Развитие современного русского языка», М., 1963, стр. 11.

Достаточно напомнить общеизвестные факты: моряки говорят *компáс*, шахтеры — *дббыча*, шоферы — *искрá*, юристы — *приговор* и никак иначе; лингвисты «возлюбили» иностранные слова и заменяют ими равнозначные русские, а врачи считают важным достоинством своего языка именно непонятность для непосвященных. В стихии «устно-книжной» речи, складывающейся в условиях бурного развития средств массовой коммуникации, особенно легко прослеживается стремление сочетать «разно-стильные» элементы⁵, характерное для современной речевой жизни в целом. Многочисленные примеры показывают, что одни и те же люди в зависимости от условий общения прибегают то к одному, то к другому варианту⁶, лишний раз доказывая, что вряд ли правильно исключать какой-либо принятый в речи грамотных людей вариант реализации явления из границ литературного языка.

Суждение о «культурности» речи не меняется даже от значительного числа отклонений от «единой» традиционной литературно-языковой нормы, если они вводятся с очевидной обдуманностью, что является принципом языка художественной литературы, но широко представлено и в других сферах общения. Осуществление норм в художественном произведении — могучая самостоятельная ветвь в системе норм литературного языка.

Правильность литературного выражения выступает функцией коммуникативно-стилистической целесообразности и, так сказать, соразмерности каждого данного высказывания (а также — убывающей силой зависимости — каждой данной ситуации, речевого жанра, стиля, вообще более широкой и всеобщей сферы применения языка). Функционально-стилистическая целесообразность языковой единицы, отраженная в общественно узаконенной или широко распространенной оценке ее как адекватной или недостаточной в таком-то типе речевого задания, должна быть признана важнейшим критерием установления нормы. Ведь «правильность» речи не что иное, как элементарный итог сознательного отношения к языку со стороны общества или известных влиятельных его слоев.

В противном случае пришлось бы (как это подчас и делается!) признать не нормативным и лежащим вне литературного языка громадное количество фактов, вполне естественных в речи его носителей. Более того, надо было бы отнять титул носителя литературного языка у доброй половины образованных русских людей или же прийти к парадоксальному выводу о том, что норма — абстрактный идеал, в жизни никогда не достигаемый и существующий как некий эталон для примеривания своей речи⁷.

⁵ Вызываемое, видимо, необходимостью утолить «голод экспрессии» и компенсировать неизбежный в газете шаблон, это стремление часто приводит к гротеску в газетном языке; см.: В. Г. К о с т о м а р о в, *Стилистические «смешения» в языке газеты*, «Вопросы культуры речи», 8 (в печати). Отметим здесь, кстати, наблюдающееся повышение внимания исследователей к устно-литературной речи вообще — симптом ее возрастающей важности в жизни общества; см.: О. А. Л а п т е в а, *О некодифицированных сферах современного русского литературного языка*, ВЯ, 1966, 2.

⁶ Покойный вице-президент АН СССР И. П. Бардин, крупнейший металлург и человек высокой культуры, на вопрос одного из авторов, как он говорит: «*километр* или *километр?*» дал такой ответ: «Когда как. На заседании Президиума Академии — *километр*, иначе академик Виноградов морщиться будет. Ну а на Новотульском заводе, конечно, *километр*, а то подумают, что зазнался Бардин». Любопытно замечание врача С. М. Богородского из Орла (письмо от 23 II 1965; архив ИРЯ АН СССР): «В словарях указано *ва́ттер*, но все говорят *вагтёр*, так что невольно приходится говорить *вагтёр*, дабы не быть смешным среди своих знакомых».

⁷ См. критику взглядов Р. Р. Гельгардта и др. в обзоре: «Работы по вопросам культуры русской речи. 1962—1965», ВЯ, 1965, 4.

Критерий коммуникативной целесообразности существует при определении нормативности явления и вообще культурности речи, ибо язык прежде всего — средство общения, а всякое общение целенаправлено⁸. Поэтому важной предпосылкой предлагаемого подхода является построение типологии речевых заданий, разграничение форм языка и речи (устная и письменная, монолог и диалог и др.), речевых жанров и стилей, а также выделение типовых ситуаций и типовых средств общения. Оптимальным было бы создание целостной теории речевого поведения, или теории речевой деятельности, куда все эти моменты входили бы на правах структурных компонентов.

Такая мысль не нова, и здесь хотелось бы лишь привлечь внимание к ее реализации в работах предшествующих лет. Исходя от И. А. Бодуэна де Куртене, она получила развитие у его петербургских учеников. Е. Д. Поливанов отмечал, что «значение» слова в практике речевого общения всегда дополняется и «прецизируется», во-первых, контекстом, во-вторых, «разнообразными видоизменениями звуковой стороны», в-третьих, жестами. «Не надо думать, что эти стороны речевого процесса есть нечто, не подлежащее ведению лингвистики, то есть науки о языке. Только, разумеется, рассмотрение этих фактов... составляет особый самостоятельный раздел лингвистики...»⁹. Л. П. Якубинский, вслед за ним, сожалел, что современное языкознание «не ставит своей задачей изучение функциональных многообразий речи во всем их объеме»¹⁰. В программе курса по эволюции речи изучение функциональных многообразий (функциональных стилей) речи прямо связывается им с «целями речи»¹¹ и т. д.

Особый интерес представляет незаслуженно забытая концепция «лингвистической технологии», у истоков которой стоят два направления: одна из литературных школ, получивших общий ярлык «русского футуризма»¹², и петербургская лингвистическая школа. Точка зрения «футуризма» четко сформулирована в статьях С. Третьякова в журнале «ЛЕФ»; сущность ее следующая: «И если программой-максимум футуристов является... сознательная реорганизация языка применительно к новым формам бытия,... то программой-минимум футуристов-речевиков является постановка своего языкового мастерства на службу практическим задачам дня» с тем, чтобы «сделать всех активных хозяевами языка»¹³, чтобы массы «могли бы сообразно задачам пользования им находить те формы, которые являются для каждого данного случая наиболее целесообразными»¹⁴. Эта точка зрения оказалась в своих основных чертах совпадающей с теми выводами, к которым пришли лингвисты-бодуэновцы и, преж-

⁸ Есть глубокий лингвистический смысл в следующем известном высказывании: «...нельзя говорить одинаково на заводском митинге и в казачьей деревне, на студенческом собрании и в крестьянской избе, с трибуны III Думы и со страниц зарубежного органа. Искусство всякого пропагандиста и всякого агитатора в том и состоит, чтобы наилучшим образом повлиять на данную аудиторию, делая для нее известную истину возможно более убедительной, возможно легче усвояемой, возможно нагляднее и тверже запечатлеваемой» (В. И. Ленин, Соч., 17, стр. 304).

⁹ Е. Д. Поливанов, По поводу «звуковых жестов» японского языка, «Сборники по теории поэтического языка», 1, Пг., 1916, стр. 32.

¹⁰ Л. [П.] Якубинский, О диалогической речи, «Русская речь», I, Пг., 1923, стр. 194.

¹¹ Л. П. Якубинский, Программа курса лекций «Эволюция речи», «Записки Института живого слова», I, Пб., 1919, стр. 85.

¹² Весьма неправомерно, ибо таким образом были объединены разные взгляды разных людей; это название, по замечанию Ю. Н. Тынянова («Архаисты и новаторы», Л., 1929, стр. 581), «нечто вроде фамилии, под которой ходят разные родственники и даже однофамильцы».

¹³ С. Третьяков, Откуда и куда? (Перспективы футуризма), ЛЕФ, М.—Пг., 1923, 1, стр. 202.

¹⁴ С. Третьяков, Трибуна ЛЕФ'а, ЛЕФ, 1923, 3, стр. 160—164.

де других, Л. П. Якубинский, который указывал: «Задача науки не только исследовать действительность, но и участвовать в ее преобразовании; языкознание отчасти выполняет эту задачу, поскольку оно давало и дает теоретическую основу для разработки практики воспитания и обучения речи в школе; но его значение — значение прикладное — неизмеримо возрастает, если оно направит свое внимание на такие объективно существующие в быту и обусловленные им технически различные формы организованного речевого поведения человека, как устная публичная (т.-н. «ораторская») речь или речь письменная публичная, в частности публицистическая... техника речи подразумевает ее технологию речи; технология речи — вот то, что должно родить из себя современное научное языкознание, что заставляет его родить действительность»¹⁵. На сходных позициях стоял Г. О. Винокур, прямо заявлявший: «...поскольку говоришь о стиле, необходимо становиться на телеологическую точку зрения... не доказано еще, что лингвистика органически чужда телеологии. Наоборот, можно доказать обратное...»¹⁶. Действительно, речевая деятельность, как и всякая деятельность, связана с предварительной постановкой цели и подбором средств оптимального ее достижения¹⁷.

В 30-х годах схожие воззрения находим в кругу М. М. Бахтина, например: «...методологически-обоснованный порядок изучения языка должен быть таков: 1) формы и типы речевого взаимодействия в связи с конкретными условиями его; 2) формы отдельных высказываний... в тесной связи со взаимодействием, элементами которого они являются...; 3) исходя отсюда, пересмотр форм языка в их обычной лингвистической трактовке»¹⁸.

От Бодуэна же, без сомнения, идет линия разработки этих проблем в Пражской школе, которой, кстати, принадлежит приоритет в толковании «правильности» как соответствия языкового средства данной цели: любое словесное проявление должно оцениваться «в терминах его адекватности цели, с точки зрения того, удовлетворительно ли оно выполняет данную цель»¹⁹.

Сейчас работы, направленные на создание единой теории речевого поведения, ведутся в разных странах, хотя и под разными углами зрения. Таково японское направление «языкового существования», информация о котором у нас пока еще крайне недостаточна; во всяком случае представители этого направления рассматривают язык «как целенаправленное действие, целенаправленную деятельность человека»²⁰. В сущности, это и есть общая теория речевой деятельности, специализированная в направлении

¹⁵ Л. П. Якубинский, О снижении высокого стиля у Ленина, ЛЕФ, 1924, 1, стр. 71—72. Характерно, что еще в 1918 г. в качестве одной из основных задач Института живого слова им было выдвинуто «создание науки об искусстве речи».

¹⁶ Г. И. Винокур, Новая литература по поэтике, ЛЕФ, 1923, 1, стр. 240. Ср. также его идею «телеологической рационализации пользования языком» («Культура языка», М., 1925, стр. 24). Аналогичные мысли высказывал Б. М. Эйхенбаум.

¹⁷ Во всяком случае, таково понимание деятельности в современной психологии и физиологии высшей нервной деятельности (см., например: А. Н. Леонтьев, Проблемы развития психики, 2-е доп. изд., М., 1965; Н. А. Бернштейн, Очерки по физиологии движений и физиологии активности, М., 1966).

¹⁸ В. Н. Волошинов, Марксизм и философия языка, Л., 1929, стр. 114.

¹⁹ V. Procházka, Roznamky k překladatelské technice, SaS, VIII, 1, 1942, стр. 3 (цит. по ст. Т. В. Булыгиной «Пражская лингвистическая школа», сб. «Основные направления структурализма», М., 1964, стр. 122; в этой же статье прекрасны изложены воззрения пражцев по данному вопросу).

²⁰ Цит. по ст.: Н. И. Конрад, О «языковом существовании», «Японский лингвистический сборник», М., 1959, стр. 6; см. также: С. В. Невееров, Об истоках теории языкового существования, сб. «Академику Н. И. Конраду», М., 1966 (в печати).

потребностей практической культуры речи. Таковы же некоторые американские работы по «массовой коммуникации», в особенности те из них, которые относятся к так называемому «анализу содержания», выясняющему «использование элементов в сообщении либо как признаков, позволяющих делать заключение об их источнике, либо как основы для предсказания об их влиянии на слушателей или читателей»²¹. Продолжается работа в этом направлении и в Чехословакии; так, сотрудники Л. Долежелы исследуют количественным методом коммуникативные «округи» (сферы, типы, речевые сферы — как директивная, рекогносцировочная, контактная и пр.), составляющие «коммуникативную сеть», т. е. совокупность и иерархия актов общения современной жизни²².

К идеям Якубинского недавно вновь обратился А. А. Холодович²³, призывая к изучению признаков идентификации речевого поведения для построения типологии речи. Он различает: 1) средства выражения: звук, письмо; жест; 2) наличие или отсутствие партнера; 3) ориентированность — одно- или двунаправленность — речевого акта; 4) наличие одного или многих воспринимателей, т. е. индивидуальную или массовую коммуникацию; 5) контактность или дистантность речевого акта. Так выделяется 2⁵ = 32 типа речевого поведения, например: провозглашение лозунгов с трибуны перед проходящей демонстрацией (устное, коммуникативное, взаимно-ориентированное, массовое, контактное общение), рассылка бланков с просьбой подписаться на газету (письменное, коммуникативное, переходно-ориентированное, массовое, неконтактное общение) и т. д.

Как бы ни строить типологию речи, изучение речевых жанров, заданий и стилей должно лечь в основу критерия коммуникативной целесообразности и быть частью учения о культуре речи. Надо выявить оптимальные характеристики разных речевых актов с тем, чтобы «борьба за культуру речи» приняла конкретные формы борьбы за качество — свое собственное в каждой данной сфере. Критерий коммуникативной целесообразности — совсем не «критерий оправдания неграмотности», но это и не «сито», механически отсеивающее все, что «от лукавого».

II. Сказанное подводит и к пониманию литературно-языковой нормы. В соответствии с рассмотрением правильности как проблемы функций современного литературного языка и условий, в которых он функционирует, самое норму следует, видимо, рассматривать не как нечто изолированное, а как с и с т е м у н о р м, варьирующихся от случая к случаю. Этот набор способов реализации возможностей, предоставляемых системой языка, в сильной мере обусловлен объективным сосуществованием и противопоставлением функционально-стилистических, социальных, территориальных и иных вариантов, соотношением и внутренней борьбой между стилями языка и социально-речевыми стилями, взаимодействием и дифференциацией письменно-книжной и устно-разговорной речи.

Такой подход создает лишь иллюзию развязывания рук антинормализаторам, на самом деле он отнюдь не снимает проблему нормативной правильности литературного выражения. Он требует, отражая реальное положение вещей, вскрыть и описать систему норм, фактически существующую их иерархию, их функционально соразмерное распределение, сложившиеся допуски и вариативность в зависимости от характера рече-

²¹ Ch. E. Osgood, *Psycholinguistics*, «Psychology: a study of science», 6. New York—San Francisco—Toronto—London, 1963, стр. 301. Работы по «анализу содержания» собраны в сб.: «Trends in content analysis», ed. by I. D. Pool, Urbana, Ill., 1959.

²² Об этом рассказал И. Краус в докладе «Языковая коммуникация и теория функциональных стилей» 13 января 1966 г. в секторе культуры речи ИРЯ АН СССР; см. также: Л. Долежел, Вероятностный подход к теории художественного стиля, ВЯ, 1964, 2.

²³ А. А. Холодович, О типологии речи, сб. «Академику Н. И. Конраду».

вого акта. Иными словами, предлагается положить в основу нормализаторства и вообще культурно-речевой регулятивной деятельности объективный анализ фактической действительности взамен пусть красивых, но предвзятых представлений.

Кроме функционально-обусловленного распределения норм, следует считаться с разной «интенсивностью» действия нормы, «степенью ее обязательности и широты ее действия» или «крепостью» ее по отношению к разным уровням языка²⁴. Так, например, многочисленные расхождения между старым литературным и «новомосковским» произношением (а также многие диалектные черты) не влекут за собой обвинения в неправильности, тогда как, скажем, даже небольшие нарушения в произношении ряда иностранных слов (*троллейбус, телевизор, марксизм*) служат ярким сигналом отхода от нормы, даже шире — «некультурности» или «неграмотности». Одни нарушения нормы не замечаются, другие не прощаются (последние С. И. Ожегов метко называл «лакмусовыми бумажками» определения степени речевой культуры). Их больше всего в морфологии и в словаре, меньше всего в синтаксисе и стилистике²⁵.

Следует строго различать действительное несоблюдение норм разных ярусов и «игру» в несоблюдение их, которая не ведет к восприятию речи как ненормативной, а, напротив, может считаться высшей ступенью речевой культуры. «Учение о культуре речи и языка... распространяется и на те социально-стилистические сферы речевого общения, которые в данный момент еще не включены в канон литературной речи, в систему литературных норм»²⁶. Уже поэтому проблематика культуры речи не покрывается вопросами собственно нормализации и требует анализа возможностей нарушения литературных норм, обращения к средствам выражения, не канонизированным ими.

Здесь стоит напомнить известное высказывание Л. В. Щербы: «... авторов, вовсе не отступающих от нормы, конечно, не существует — они были бы невыносимо скучны. Когда чувство нормы воспитано у человека, тогда-то он начинает чувствовать всю прелесть обоснованных отступлений от нее у разных хороших писателей. (Я говорю «обоснованных», потому что у плохих авторов они бывают часто недостаточно мотивированы внутренним содержанием — поэтому-то эти авторы и считаются плохими)»²⁷. Истинная культура речи, таким образом, подразумевает не только знание установленных норм, но и умение осмысленно, мотивированно нарушать их: «мастер может разбить форму!».

Если систему языка рассматривать как нечто данное и неизменное, то норма как ее коррелят выступает константным, принятым, но подверженным колебаниям, варьированию и изменению. Система может быть определена как совокупность существенных переменных, норма — как совокупность несущественных переменных в их связи с существенными переменными при обязательном анализе правил перехода одних в другие. Предметом теории речевой культуры как учения об оптимальном выборе и функционировании вариативных средств являются нормы в их взаимной

²⁴ См.: В. В. Виноградов, Изучение русского литературного языка за последнее десятилетие в СССР, М., 1955, стр. 57.

²⁵ Интересно разграничение, последовательно проведенное впервые, кажется, О. Есперсеном: «можно ли» сказать то-то и так-то, «правильно ли» сказать и «хорошо ли»...; «хорошо ли» в свою очередь подразделяется на «ясно ли» и «красиво ли» (O. J e s p e r s e n, Mankind, nation and individual from linguistic point of view, London, 1946, стр. 132—133).

²⁶ В. В. Виноградов, Проблемы культуры речи и некоторые задачи русского языкознания, ВЯ, 1964, 3, стр. 15.

²⁷ Л. В. Щерба, Спорные вопросы русской грамматики, «Р. яз. в шк.», 1939, 1, стр. 10.

зависимости, тогда как система может быть объектом изучения других лингвистических дисциплин.

В основу культуры речи целесообразно положить понятия языка и его системы, однако главным предметом изучения здесь должно признать не самое систему и ее качества, а природу и специфику ее реализаций, т. е. указанное понимание нормы. Сама норма выступает двуединым явлением как: 1) коррелят системы и 2) категория культуры речи. Вскрывая взаимоотношения и внутреннюю борьбу этих сторон нормы, можно, очевидно, «примирить» или объединить научно-лингвистический смысл нормы, отражающий объективное развитие, и ее культурно-речевое «нормативное» значение, связанное с оценочной точкой зрения на язык.

В первом случае изучение нормы сводится к анализу наблюдаемых форм реализации, общих по крайней мере для группы носителей языка и противопоставленных другим реализациям (просторечие и литературный стандарт; территориальные варианты; разные стили и т. д.). Во втором случае изучение нормы имеет целью установить «единую и единственную» реализацию и признать иные — «не-нормой». По-видимому, все зависит от того, рассматриваем ли мы речевое поведение с точки зрения его и н в а р и а н т а (и соответственно берем в качестве объекта границы и характер вариантности, отодвигая на задний план ее причины и обуславливающие ее факторы) или с точки зрения его конкретного в а р и а н т а (и обращаемся в первую очередь к обуславливающим его факторам, оставляя в стороне другие существующие варианты, в данных условиях невозможные)²⁸.

Вводимые в понимание нормы коррективы сводятся, в сущности, к отрицанию отвлеченных общеязыковых норм или, скорее, к отказу от признания «не-нормой» того или иного явления в масштабе всего литературного языка. Понятие системы норм приводит к правомерности нормативной оценки явления лишь исключительно в самой системе их противопоставлений. Нормативность явления может быть определена лишь в контексте, а не в условиях изоляции. Любопытно, что традиционные нормативные пособия фактически только так и оценивают факты языка, устанавливая их нормативность, но при этом немедленно распространяют вывод, полученный из наблюдения ряда типовых контекстов (часто лишь из сферы художественной речи и почти всегда только из книжных стилей!), на все мыслимые употребления, т. е. неправомерно представляют его универсальной оценкой.

В самом деле, в нормативном словаре вся нормализация проводится на иллюстративных контекстах-примерах, а в подавляющем числе случаев пометы вообще относятся только к приводимому словоупотреблению («цитате»). Аналогична картина в нормативных грамматиках и других пособиях. Кстати, они дают — хотя и не говоря этого вслух — вполне реальную регламентацию типовых употреблений. Так, в частности, нормативные словари современного русского литературного языка включают большое количество слов и словоупотреблений, не канонизированных литературной традицией, но свободно употребляющихся в среде носителей литературного языка и образованности²⁹.

²⁸ Т. е. от того, имеем ли мы дело с «виртуальным» или «актуальным» («реальным») аспектом языка; см.: E. C o s e r i u, *Determinación y entorno*, «Romanistisches Jahrbuch», VII (1955—1956), 1956, стр. 34; А. А. Л е о н т ь е в, Слово в речевой деятельности, М., 1965, стр. 26.

²⁹ В сущности помета (скажем, «областное») служит не указанием на нелитературность слова и полное запрещение его употреблять в литературной речи (как ошибочно полагает А. Югов в своих многочисленных статьях и книге «Судьбы родного слова», М., 1962), а, напротив, разрешением использовать его, зачислением его в литературный канон (вспомним термин «литературного языка» в названии словаря) с естест-

Большое значение приобретает понятие вариативности норм, поскольку нередко в пределах одной и той же речевой ситуации, не выходя за пределы литературной речи, имеется возможность варьировать материальное воплощение и не обязательно пользоваться в данной норме одним и тем же материальным выражением: произношения *молочный* — *молошный*, *шьюшка* (щука) — *шьюка*, *нокти* (ногти) — *ношти* и под.; «морфологические варианты» в словообразовании и т. д. Вариантность средств языкового выражения может быть истолкована как инструмент допусков на нормы, накладываемый на их функциональное многообразие.

Каждая норма должна быть рассмотрена в системе разных измерений, хотя обычно мы всегда изолируем ее из других связей и соотношений. Описание всех возможных противопоставлений норм дало бы крайне необходимую для теории речевой культуры структурную социально-стилистическую картину речевых воплощений языковой системы³⁰. Материал с нулевым противопоставлением для культурно-речевого аспекта нормы, разумеется, не представил бы интереса: тут нет проблемы нормативного регулирования, хотя, будучи коррелятом системы, этот материал может научно рассматриваться и как норма языка (почему данная система исторически реализуется именно так). При учете этого соображения выдвигаемый тезис — рассматривать литературно-языковую норму только применительно к конкретным речевым заданиям — устраняет конфликт между общезыковым идеалом и литературным бытом, между идеально-недостижимой «образцовой речью», законы которой изложены в нормативных грамматиках, словарях, стилистиках, и живой речью, узусом. Ведь с этим конфликтом как с неразрешимым вопросом сталкиваются исследователи, и не только исследователи, но и писатели³¹.

III. Будучи результатом абстракции, система норм дает известный простор для своего речевого претворения: она накладывает лишь общие ограничения, отражающие как сущность самой языковой системы, так и внесистемные факторы, определяющие данную систему норм, и допускает широкое варьирование в речи. Система норм не задает точных констант, а лишь предельные границы, внутри которых речевая реализация свободно колеблется от случая к случаю, от человека к человеку. Контекст и речевая ситуация — мощнейшие не только смысловые, но и культурно-речевые факторы, помогающие «не замечать» удивительные небрежности, речевые капризы, вообще «сверхнормативные» явления³².

Из этого, однако, не следует, что стандартность литературного языка «представляется не столько фактом реальной действительности, сколько теоретическим требованием»; и дело не в том, что «в практическом упот-

венным функционально-стилистическим ограничением, указанием на сферу допускаемого или рекомендуемого применения. Во всяком случае, пометы типа «обл.», «спец.» — свидетельства того, что снабженные ими слова естественно обращаются в речи носителей литературного языка и даже образцовых авторов.

³⁰ Это позволило бы, в частности, вскрыть заложенные в системе ограничения развития и укрепления инноваций, а следовательно, дало бы почву для предсказания будущих процессов; см.: А. А. Леонтьев, Будущее языка как проблема культуры речи, «Вопросы культуры речи», 8; В. Г. Костомаров, О «ретроспективности» учения о культуре речи, ИАН ОЛЯ, 1966, 2.

³¹ Достаточно напомнить агрессивную-жалобную статью А. Солженицына «Не обычай дегтем щи белить, на то сметана» (Лит. газ. 4 XI 1965).

³² Разумеется, повторение типовых вариаций значительным числом носителей языка приводит к постепенному изменению в действующей системе норм. Эта их специфика рассмотрена в ст.: O. v. E s s e n, Norm und Erscheinung im Leben der Sprache, ZfPh, 9, 2, 1956; ср. также: Н. Н. Семеник, Некоторые вопросы изучения вариантности, ВЯ, 1965, 1; Д. А. Кожахьян, К вопросу о характере языковой нормы, «Тезисы докладов научно-методической конференции факультета иностранных языков [Одесск. ун-та]», 1964 (в последних вводится понятие «эластичности контуров норм»).

реблении языковая норма является реальностью ... языковой системы, пребывающей в относительной устойчивости, в колеблющемся равновесии»³³, а именно в противопоставлении системы норм и их речевого воплощения, которые не совпадают с противопоставлением системы языка и речи³⁴. Взаимодействие системы языка и реальных речевых актов происходит через уровень системы норм, в котором и идет сложная борьба различных факторов и явлений, определяющих в конечном счете и динамику системы, и характер разновидностей речи. Теория культуры речи и должна прежде всего рассматривать все явления на уровне системы норм, тогда как грамматика и другие дисциплины имеют, по большей части, дело с самой системой языка и ее отдельными проявлениями.

Пояснить это можно следующим. С одной стороны, даже полностью вскрытые и научно объясненные тенденции движения системы языка часто не дают оснований для практических выводов и рекомендаций. Нечего и говорить, с другой стороны, о том, что безнадежно в практических целях исходить из индивидуальных речевых проявлений; хотя и известны случаи успешного воздействия речевой практики очень авторитетных исторических личностей, в целом оно ничтожно (ср. бесперспективность навязывания собственной «лексической идиосинкразии» даже очень видными писателями и учеными). Количественно незначительные или, напротив, очень существенные тенденции могут поддерживаться или нейтрализоваться — это происходит в плане системы норм, где осуществляется намечившееся в речи взаимодействие внеязыковых, особенно психических и социальных факторов с системно-языковыми факторами.

Здесь можно вспомнить об отмеченном неолингвистикой «факторе престижа»³⁵. Конкретные наблюдения за «фактором престижа» показывают, что он реализуется и оформляется не в индивидуальных актах, а именно на уровне системы норм.

На основе изложенного понимания языковой системы, литературно-языковых норм и их системы следует уделить особое внимание вариантности средств языкового выражения. Различного рода вариантные сдвиги, идущие вразрез с языковой системой и могущие в дальнейшем привести к ее полной или частичной перестройке, здесь также рассматриваются лишь с культурно-нормативной, а не объективно-исторической или объективно-динамической точки зрения на язык.

Сосуществование параллельных и в данный момент одинаково допускаемых способов выражения, включая новшества, связывается обычно с особыми оттенками или известной сферой распространения. Очевидный до бесспорности в области синтаксических и стилистических вариантов, этот факт далеко не всегда ясен при рассмотрении соотносительных вариантов в фонетике, лексике и морфологии и часто дает повод для излишней нормализации, для «запретительства».

³³ Р. Р. Гельгардт, О языковой норме, «Вопросы культуры речи», III, М., 1961, стр. 35; ср. слова Л. Ельмслева («Язык и речь», в кн. «История языкознания XIX и XX вв. в очерках и извлечениях», ч. II, 3-е доп. изд., М., 1965, стр. 119—120): «Что касается нормы, то это фикция... Узус вместе с актом речи и схема отражают реальность. Норма же представляет собой абстракцию, искусственно полученную из узуса... означает подстановку понятий под факты, наблюдаемые в узусе...».

³⁴ В этой связи интересно следующее замечание В. В. Виноградова («Русская речь, ее изучение и вопросы речевой культуры», ВЯ, 1961, 4, стр. 10—11): «Нет нужды в данном случае углубляться в проблему разграничения понятий языка и речи. Ясно главное: понимание языка как специфической структуры, как системы взаимосвязанных элементов... не может охватить всего многообразия явлений и проявлений общественного функционирования речи, всех форм, видов и фактов социально-речевой действительности, всех реальных манифестаций, воплощений и трансформаций языка».

³⁵ Ср. также: Ю. М. Скребнев, К вопросу об «ортологии», ВЯ, 1961, 1, стр. 141.

Именно поэтому представляет большой интерес предложение выделить особую лингвистическую дисциплину — «ортологию», предметом которой является именно изучение сосуществующих, но гетерохронных по своей сущности вариантов. «Конечную задачу ортологии составляет точная соотносительная оценка функционирования вариантов в каждый данный момент развития языка, установление „правильного“ их употребления... Понятие „правильности“ и „неправильности“ речи может приобрести научную точность и явиться основой для той или иной регламентации только тогда, когда работа по исследованию различных типов вариантности будет в должной мере продвинута»³⁶.

В свете различения системы языка и системы норм следует рассмотреть основное возражение Ю. М. Скребнева против этой теории: «Судя по значению слова „ортология“, новая отрасль науки должна была бы, казалось, констатировать и отметить языковые ошибки. Но граница между „ошибкой“ и многими из рассматриваемых в статье новообразований лингвистически не определена. Языковая „ошибка“ коренным образом отличается от ошибок в познании действительности не только тем, что языковые нормы узуальны, а не истинны по природе, но и в силу исторически преходящего ее характера. Новообразование есть ошибка, легализованная употребительностью. Чем шире употребительность языкового факта, тем больше оснований подвергнуть его научному анализу и тем меньше оснований для оценочных суждений. Этот порочный круг вполне преодолели в популярных пособиях по культуре речи, однако не в теории»³⁷.

Это рассуждение верно отмечает неоправданные ограничения ортологических задач. Чтобы приобрести подлинно научную перспективу, ортологии следовало бы изучать не столько номенклатуру типов вариантов, сколько иерархию воплощений, варьирования, иерархию уровней вариантности. Это особенно интересно, так как при материальном тождестве языковых фактов они могут располагаться на разных ступенях такой иерархии³⁸. У Ю. М. Скребнева весьма неясно, что такое «истинность по природе» — из того, что общественно по большей части весьма устойчивая функциональная система норм не выводится только из системы языка, конечно же, не следует, что нормы вообще условны и произвольны.

IV. С изложенных позиций крайне существенным представляется изучать индивидуальные и общественно-групповые оценки речи говорящими, ибо они являются — хотя и в разной мере — объективным показателем функциональной адекватности высказывания. Изучение «всей полноты современной речевой жизни» с неизбежностью предполагает, в частности, что «должны объективно-исторически анализироваться личные или общественно-групповые оценки разнообразных речевых явлений»³⁹. Объективность таких оценок опосредствована языковым чутьем, «системой языковых представлений» у говорящего (Л. В. Щерба), но ведь это чутье есть результат языковой практики: «...чувство это у н о р м а л ь н о г о ч л е н а общества социально обосновано, являясь функцией языковой системы...

³⁶ О. С. А х м а н о в а, Ю. А. Б е л ь ч и к о в, В. В. В е с е л и т с к и й, К вопросу о «правильности» речи, ВЯ, 1960, 2, стр. 36; см. также: О. С. А х м а н о в а, В. В. В е с е л и т с к и й, О «словарях правильной речи», «Лексикографический сборник», IV, М., 1960.

³⁷ Ю. М. С к р е б н е в, указ. соч., стр. 140.

³⁸ Об этом свидетельствует, например, наблюдение за распределением словообразовательных вариантов по жанрам; см. Н. Г. М и х а й л о в с к а я, К вопросу о категории вариантности (существительные на *-ие/-ье* в языке Б. Пастернака), «Вопросы культуры речи», 8.

³⁹ В. В. В и н о г р а д о в, Проблемы культуры речи и некоторые задачи русского языкознания, ВЯ, 1964, 3, стр. 9.

„индивидуальная речевая система“ является лишь конкретным проявлением языковой системы...»⁴⁰.

Оценки своей или чужой речи как элемент контроля связываются с нарушением автоматизма речи: «...когда мы делаем предметом обсуждения свою собственную речь... происходит перенесение внимания говорящего от предмета речи на самую речь (рефлексия над собственной речью)»⁴¹. Это случается при затруднениях в способе выражения или в понимании речи, при нарушениях правильности речи, разграниченности вариантных норм, при встрече с изменениями в языке, особенно у разных возрастных групп. Важно, помимо прочего, считаться с авторитетом источника оценки (вообще проблема «образца для подражания» и как ее часть проблема «образца для мнения и оценки» — существенная составная часть учения о культуре речи) и соотносительностью оценки с фактически регистрируемой нормой («авторитет словаря и учебника», «авторитет школы и научно-лингвистического учреждения»).

Изучение оценок, являющихся «общественной реакцией на принадлежащий данному обществу язык» (Г. О. Винокур), и делает существенный вклад в ответ на вопрос о «языковом вкусе» и «языковой моде» данной эпохи и данного общества, или его какого-то слоя. Одновременно оно дополняет сведения о специфике современного языка, особенно в области его развития со сменой поколений. Однако есть серьезная опасность увлечения подобными оценками, если мы не создадим строгой теории этих оценок (возможно, как части теории языкового чутья) и не дадим на этой основе критики источников. Мы рискуем в этом случае принять желаемое за действительное — изолированное и невалифицированное суждение, пусть идущее из самой «гущи» языковой жизни и принадлежащее «типовому» носителю нормы, за суждение истинное — лишь потому, что оно подтверждает наше предположение⁴².

Учение о культуре речи не должно беспристрастно констатировать наблюдающиеся процессы: параллельно с научным исследованием оно обязано вырабатывать и методы активного воздействия, прокладывать пути насаждения своих выводов и рекомендаций. Для того чтобы знать, как действительно бороться, оно должно изучать причины, препятствующие распространению научно-объективных воззрений. Так, воздавая должное стремлению сохранить культурно-языковую традицию и преемственность литературного выражения (в настоящей статье мы не рассматриваем важную для культуры речи проблематику, связанную с «культурно-национальной функцией языка» и общей философией «общественной памяти»), оно вынуждено и анализировать способы преодоления наблюдающейся гипертрофии оглядки назад. Важнейшим моментом в этой активной практической деятельности является, несомненно, обращение к обучению родному языку в школе как к могучему орудию воспитания культуры речи.

Об этом в свое время хорошо говорил А. М. Пешковский, критикуя существовавшую (и мало изменившуюся доньше) практику воспитания «правильной речи» путем «исправления неправильностей и замены их

⁴⁰ Л. В. Щербя, О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании, «История языкознания XIX и XX вв. в очерках и извлечениях», ч. II, стр. 369, 370.

⁴¹ В. Н. Волошинов, указ. соч., стр. 134; ср. также: А. А. Леонтьев, О специфике слова, «Морфологическая структура слова в языках различных типов», М. — Л., 1963, стр. 135.

⁴² Попытка разобратся в этой проблематике на материале, главным образом, сегодняшней публицистики предпринята в статье: В. Г. Костомаров, Б. С. Шарцкопф, Об изучении отношения говорящих к языку, «Вопросы культуры речи», 7, М., 1966.

„правильностями“): «...обучить правильной речи, только „следя“ за ее правильностью, едва ли легче, чем обучить медведя мазурке: ведь и тут мы могли бы сказать, что надо только „следить“, чтобы каждое движение зверя было изящно, грациозно и соответствовало основной структуре данного танца. ...Занятия грамматикой являются не только непрерывной дифференциацией речевых представлений, но и развитием самой с п о с о б н о с т и дифференцировать их... Расчленение речевых представлений является... условием... для культурного говорения»⁴³. Такая дифференциация языковых средств в сознании школьника является основной задачей обучения родному языку.

Между тем даже в проекте новой стабильной программы по русскому языку для средней школы — в объяснительной записке — говорится о целях обучения языку все, что угодно, но не это: о «навыках» и о «сознательном анализе своей речи и речи товарищей» — только «с точки зрения ее соответствия литературным нормам». В общем, все та же линия на обучение медведя мазурке! На этом фоне совершенно чужеродным телом выглядит правильный тезис о «значении отбора языковых средств в соответствии с... речевой ситуацией». Впрочем он соседствует с абзацем, где «изобразительные и выразительные средства русского языка» сводятся к перечню тропов и фигур: эпитетов, метафор, антитез, градаций...

Если оставаться в рамках этой программы, школьники обречены на «умение выразить временные, причинно-следственные, условные, определительные отношения с помощью синонимов», соединенное с полным непониманием богатства выразительных возможностей языка. Их ждет судьба того семинариста, который, по словам В. Г. Белинского, говорит и пишет, как олицетворенная грамматика, а его ни слушать, ни читать невозможно.

⁴³ А. М. Пешковский, Избр. труды, М., 1959, стр. 121, 122, 123, 124.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Н. И. ТОЛСТОЙ

ИЗ ОПЫТОВ ТИПОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СЛАВЯНСКОГО
СЛОВАРНОГО СОСТАВА. II

Предварительные замечания. Если исходить из того положения, что слово в лексикологическом (resp. семасиологическом) аспекте является единством лексем и семем, при котором лексема — звуковая оболочка слова, а семема — его содержание¹, то различие между лексикологией и семасиологией можно определить следующим образом: лексикология — дисциплина, рассматривающая словарный состав языка с его формальной стороны, т. е. лексемный инвентарь конкретного языка и структуру лексем (включая морфологический, словообразовательный аспект), семасиология же — дисциплина, рассматривающая словарный состав языка с его внутренней стороны, т. е. значение лексем (их предметную соотнесенность) и их взаимное соотношение.

В нашей первой статье мы сознательно стремились к распространению ряда методов и более общих и частных положений и понятий, апробированных в фонологии, на семасиологию, считая, что на данном этапе развития семасиология нуждается в подобном опыте. И здесь дело не только в принципиально важной тенденции установления изоморфизма разных уровней языка (фонологического, морфологического, семантического, словообразовательного) или изоморфности некоторых внутренних структурных отношений разных уровней, — задача прежде всего состоит в том, чтобы в семасиологии использовать до возможного предела более разработанную и более точную методику фонологических исследований, определяя тем самым ее универсальность (resp. неуниверсальность) для всех (разных) уровней языка. Соотношение между лексикологией в предложенном нами смысле этого слова и семасиологией можно в общем считать аналогичным соотношению фонетики и фонологии даже при целом ряде существенных и принципиальных различий.

При решении задач, относящихся к современному, а не историческому синхронному срезу, мы можем достаточно четко разграничить аспект фонетического (экспериментально-фонетического) и аспект фонологического анализа. Но и при исследовании современного синхронного среза такое разграничение не только не отрицает, а наоборот одновременно предусматривает взаимосвязь и внутреннее единство этих двух аспектов. Эта взаимосвязь возрастает тем более при анализе какого-либо исторического (или «доисторического») этапа, когда мы лишены возможности опираться на экспериментальную базу. Едва ли даже можно предположить раздельное параллельное существование двух разных дисцип-

¹ См.: Н. И. Толстой, Из опытов типологического исследования славянского словарного состава, ВЯ, 1963, 1.

лин — исторической фонетики и исторической фонологии², хотя, как отмечалось выше, на современно-синхронном уровне обособленное существование фонетики и фонологии оправдано и не вызывает никаких сомнений.

Словарный состав конкретного современного языка (или диалекта) можно исследовать в чисто семантическом аспекте (значение слов, их взаимосвязь, семантические поля), можно рассматривать в чисто лексическом аспекте (вопросы словообразования, «своя» и заимствованная лексика, идиоматика и т. п.). Семасиология и лексикология могут иметь и сравнительный план. Уже существует сравнительная семасиология и лексикология родственных языков, а для неродственных, помимо сравнительной семасиологии, которую, вероятно, лучше называть сопоставительной семасиологией, может существовать и сравнительная семасиология на словообразовательном и синтаксическом уровне. При этом, обращаясь к материалу родственных языков, мы можем в зависимости от нужд анализа рассматривать только план выражения или только план содержания, при сопоставлении неродственных языков конфронтируется чаще всего лишь план содержания. Если же считать конечной задачей сравнительной лексикологии и семасиологии по аналогии с конечной задачей сравнительной грамматики реконструкцию лексического состава и семантической структуры праязыка, то постоянный учет двух аспектов — чисто лексикологического и чисто семасиологического — окажется обязательным. Выявится необходимость последовательного включения (геср. исключения) одного из аспектов, а при операциях реконструкции часто установление одного из них на основе другого. В этих операциях нередко типологические показатели и критерии, выработанные на современном материале, будут определяющими.

Типология и реконструкция. Лексико-семантическая типология языков как универсальная дисциплина еще далека от определения своих основных задач и установления четких методов исследования. Сравнение с общей фонологией, выработавшей универсальный набор дифференциальных признаков для описания всего многообразия конкретных фонологических систем, окажется не в пользу семасиологии. Вопрос будет вновь упираться в несоизмеримо большее по сравнению с фонологическими единицами число семантических единиц, в их установление и принципы выделения, в принципы определения семантических дифференциальных признаков, в несводимость подавляющего числа семем к пучку дифференциальных признаков³, в проблему — в какой мере семема (геср. понятие) определяется лингвистическими (геср. психолингвистическими) или экстралингвистическими факторами (проблема слова и вещи). Для лексико-семантической типологии отнюдь не безразлично, как, какими языковыми средствами выражается тот или иной набор реалий, та или иная система понятий. Лингвистический анализ семантической стороны языка (так же как и других его сторон), должен опираться в первую очередь на формальные признаки, формальные показатели, ибо такой подход полнее гарантирует точность анализа (описательного и сравнительного) и последо-

² До сих пор наблюдается лишь одна, чрезвычайно положительная тенденция «фонологизации» исторической фонетики.

³ Понятие «дифференциальный признак» (ДП) в применении к семантике еще не уточнено. В принципе оно могло бы быть приравнено к понятию «предикат», применяемому в математической логике, или понятию «первичный семантический элемент для образования смысла», предложенному Т. П. Ломтевым. Далеко не каждое семантическое поле состоит из группы слов, значение которых может быть определено путем пучка ДП (или «предикатов»), образующих смысл (значение) без какого-либо специфического семантического «остатка».

вательность его шагов⁴. Поэтому плодотворна попытка А. В. Исаченко подойти к типологии славянского словарного состава со словообразовательной, в широком смысле этого слова, стороны⁵. В этом отношении на чисто лексемном уровне (если его воспринимать независимо от уровня семемного) славянские языки, безусловно, демонстрируют некоторое разнообразие. Но оно покажется в общем малозначительным на фоне разных индоевропейских словообразовательных моделей и типов, а тем более на фоне различных морфологических структур языков других семей. Для «чистой» семасиологии несомненный интерес представляют исследования, в которых выясняется, как на основе одних и тех же формальных средств, одних и тех же лексических (лексемных) и словообразовательных возможностей по-разному выделяются семемы и строятся различные семантические микроструктуры и семантические поля. Иными словами, как одними и теми же языковыми средствами достигается различная сегментация внеязыковой действительности⁶, сколь значительны эти различия и сколь они лимитированы, наконец, в какой зависимости находятся эти относительные различия и их лимитированность от формальных средств языка (численности их набора, их типов и т. п.) и самой внеязыковой действительности. В этом можно усмотреть известное преимущество материала близкородственных языков перед материалом языков с меньшей степенью родства и языков разноструктурных, хотя при иных, более широких задачах исследования (проблемы общей семасиологии, проблемы языковых союзов, языковых контактов и т. п.) положение окажется обратным. Следует тут же отметить еще одно ограничение: у нас нет достаточно экономных и надежных методов для изучения семантической системы языка в целом и мы вынуждены пока довольствоваться рассмотрением отдельных групп лексики («семантических полей»).

Подобно тому, как фонологическая типология дает ценные сведения для реконструкции отдельных фонологических систем, налагая запрещения на отдельные элементы и показатели при наличии других показателей, на некоторые сочетания элементов и их дистрибуцию, типологическое изучение лексики может нам предложить ряд ограничений в отношении набора, или просто — численности лексем, их корреляции и семантического наполнения, равно как и типология семантики может определить характер конфигураций семантических сеток, также с рядом запрещений и взаимоисключающих семем. Наконец, как и в фонологии, в лексикологии и семасиологии отдельная зафиксированная в каком-либо диалекте или ряде диалектов система может послужить исходной моделью (или основой для такой модели) при реконструкции прасославянского.

Употребляя слово «реконструкция», мы сознаем относительный характер этой операции и учитываем прежде всего различную степень «реконструируемости» и «реконструируемости», т. е. различную меру достигнутого или возможного приближения к реальному прошлому языковому состоянию. При этом различается реконструкция: 1) на уровне инвен-

⁴ В этом плане при сравнительно-типологических штудиях крайне важно установление определенных достаточно строгих условий исследования, как, например, условия, что одна семема должна манифестироваться одной простой лексемой и т. п. См.: Н. И. Толстой, указ. соч., стр. 36, где дан лишь предварительный и далеко не полный перечень таких условий. Дальнейшая разработка ряда подобных непротиворечивых условий — насущная задача компаративной лексикологии.

⁵ См.: А. В. Исаченко, К вопросу о структурной типологии словарного состава славянских литературных языков, «Slavia», XXVII, 3, 1958.

⁶ Не менее существенны, однако, для общей типологии семантики и ареальной лингвистики наблюдения над тем, как производится о д и н а к о в а я сегментация внеязыковой действительности различными формальными средствами (средствами языков разных групп, семей и систем).

таря; 2) на уровне соотношений инвентарных единиц (системы), что в свою очередь требует еще различения: а) территориального и б) хронологического аспекта, т. е. учета вероятной диалектной дифференцированности реконструируемого праязыка (одновременность ряда систем), а также процессов его дифференциации или интеграции (изменяемости, последовательности ряда систем во времени). При реконструкции, так же как и при рассмотрении современного состояния, следует различать план выражения и план содержания (в принципе возможна реконструкция и только одного из этих планов) ⁷.

Типология и экстралингвистическая ситуация. Влияние экстралингвистических факторов на словарный состав языка никогда не подвергалось сомнению. Поэтому едва ли нужно упоминать работы, посвященные этому вопросу, и приводить иллюстративный материал, вроде кочующего из одного начального руководства по общему языкознанию в другое примера с тремя десятками названий снега у эскимосов, и ему подобный. Естественно, что у жителей Сахары терминология, связанная с понятием снега, будет сведена к нулю, а в полярной зоне окажутся неизвестными термины, связанные с безводными пустынями и горячими песками. Между набором реалем (материальных предметов внешнего мира) и набором лексем конкретного языка (или диалекта) существует связь, но отнюдь не столь прямая и непосредственная, как может показаться на первый взгляд без достаточно внимательного рассмотрения этого факта. Лингвистическое явление, которое мы называем «различной сегментацией» внеязыковой действительности наблюдается не только в отношении абстрактных понятий (гносем), но и в отношении реалем, что особенно знаменательно. Для иллюстрации этого положения удобнее всего обратиться к материалу языков (предпочтительно даже диалектов одного языка), распространенных на территории, однородной в экстралингвистическом смысле (т. е. обладающей одинаковым набором реалем и их соотношений во внешнем мире). Как будет видно далее из конкретного примера, нами был избран определенный ареал — Припятское Полесье, в качестве территории с весьма однородным географическим ландшафтом, однородной флорой и хозяйственно-экономическим укладом жизни. «Полесье, — писал В. В. Пашкевич, — издавна получило классическую известность. Леса, болота, вот его характеристика в двух словах» ⁸. При этом следует подчеркнуть одно обстоятельство: выбор Полесья как некоего лингвистического полигона, на котором проводился ряд экспериментальных исследований и наблюдений, не был связан с известным предположением, согласно которому Полесье входило в состав славянской прародины (средней или поздней поры) или непосредственно к ней примыкало ⁹. Точно так же не воспринимался

⁷ В последнее время ставится задача реконструкции праславянского языка позднего периода на уровне инвентаря лексем, а не корней, с учетом их географического распространения и семантики. Тем самым первостепенное значение приобретают вопросы словообразования, — прежде всего структуры суффиксальных и префиксальных моделей, их прадиалектного распределения и семантической нагрузки. Исследование этих проблем будет, несомненно, означать новый этап в реконструкции праславянского языка и потому нельзя не приветствовать такие серьезные начинания, как создание «Праславянского словаря» под руководством Ф. Славского в Кракове и «Этимологического словаря славянских языков» под руководством О. Н. Трубачева в Москве [см.: «Słownik prasłowiański. Zeszyt próbny», Kraków, 1961 (ротапривт) и «Этимологический словарь славянских языков. Проспект. Пробные статьи», М., 1963].

⁸ См.: В. А. Михайловская, Флора Полесской низменности, Минск, 1953 (с указанием литературы), стр. 21. О Полесье см. также сб. «О лесах Полесья», Минск, 1951.

⁹ См. карты К. Яжджевского (K. J a ż d ź e w s k i, Atlas to the prehistory of the Slavs, Łódź, 1949), а также: К. M o s z y ŋ s k i, Pierwotny zasiąg języka prasłowiańskiego, Wrocław, 1957; см. рецензию на эту книгу В. Н. Топорова (ВЯ, 1958, 4) с литературой вопроса. Из новых работ см.: В. В. М а р т ы н о в, Проблема славянского этногенеза

как принципиально важный вопрос об автохтонности (resp. неавтохтонности) полесского населения. Для экспериментально-типологических исследований отдельного достаточно замкнутого диалектного континуума следовало было, вероятно, с равным успехом избрать другую территорию, например Закарпатье и Прикарпатье, Псковскую землю, или, наконец, область распространения словенских, македонских или родопских диалектов (т. е. территории, заведомо не связанные со славянской прародиной). Надо полагать, что результаты общетеоретического порядка оказались бы в общем идентичными.

Обращение к определенному территориально-ограниченному диалектному континууму — к сплошному диалектному ландшафту, а не к отдельным диалектам из разных языковых зон — объясняется стремлением использовать такой ландшафт как некий типологический аналог праславянского языкового существования. Это существование, как отмечал Н. С. Трубецкой и многие другие исследователи праславянского языка, представляется нам также в виде определенного диалектного континуума, в рамках которого происходили как дивергентные, так и конвергентные процессы. При реконструкции внутреннего механизма праславянского языка (его системы) нередко используют типологические критерии и показатели, почерпнутые из современных языков и диалектов. Не менее, однако, важным при восстановлении праславянского состояния («существования») может оказаться учет типологически сходных экстралингвистических факторов, структур и ситуаций.

Лимит места не позволяет даже кратко упомянуть проблемы, связанные с археологией и этнографией, — проблемы первостепенной важности для реконструкции прасостояния (прасуществования). Комбинированное использование данных, полученных методами археологии, этнографии и лингвистики (при почти определяющей роли последней дисциплины), позволило К. Мошинскому добиться значительных результатов¹⁰. Оставаясь в пределах исключительно лингвистических методов и материала, отметим, что данные литературных языков — прежде всего их внешняя функциональная сторона, сфера социального распространения, их взаимное соотношение и, наконец, связанная с этими факторами внутренняя структура (особенно план содержания) — типологически не адекватны или менее адекватны праславянскому состоянию, чем данные диалектов. Надо полагать, что для праславянского языка остается справедливым утверждение А. Мейе, согласно которому в лексическом отношении «каждый из индоевропейских говоров следует представлять себе вроде какого-нибудь современного литовского говора»¹¹.

Конкретный пример. Изложенные выше положения не могут быть с полной доказаны на одном примере. Вместе с тем рамки статьи препятствуют изложению более широкого материала¹². Если в нашей первой статье пример иллюстрировал различную дистрибуцию лексем на семантической сетке, то в настоящем «Опыте» мы обращаемся к случаю различной дистрибуции суффиксов в заданном семантическом пространстве.

и методы лингвогеографического изучения Припятского Полесья, «Советское славяноведение», 1965, 4; Ю. В. К у х а р е н к о, Древнее Полесье (по материалам археологических исследований). Автореф. докт. диссерт., М., 1965.

¹⁰ См. его посмертно изданный труд: К. М о с з у њ с к и, O sposobach badania kultury materialnej Prasłowian, Wrocław — Kraków — Warszawa, 1962.

¹¹ См.: А. М е й е, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, М. — Л., 1938, стр. 385.

¹² Некоторые из положений, выдвинутых в этой статье, возникли в результате моих наблюдений над славянской топографической и дендрологической диалектной терминологией, которые будут полностью изложены в готовящейся монографии «Славянская географическая терминология (семасиологические этюды)».

В «Программе для собирания диалектной лексики Полесья (Рельеф местности, лес, погода)» был предложен следующий ограниченный (и тем самым не претендующий на полноту охвата реалий) список деревьев и кустарников: 'сосна', 'береза', 'ель', 'ольха', 'осина', 'верба', 'липа', 'ива', 'дуб', 'граб', 'вяз', 'клен', 'тополь', 'ясень', 'берест', 'орешник', 'рябина', 'ракита', 'крушина', 'черемуха', 'лоза'. По этому списку в исследованных полесской экспедицией¹³ пунктах был собран материал, полное изложение которого потребовало бы много места. Поэтому мы ограничиваемся приведением лишь той его части, которая связана с семемой 'береза' и ее дериватами.

Если обратиться к материалу славянских литературных языков¹⁴, то он не будет отличаться большим многообразием в отношении различных словообразовательных моделей, их противопоставлений и деривационных потенций отмеченных лексем. В основном он будет сводиться к следующему¹⁵:

русский язык: *берёза*, *берёзка* (уменьш.), *берёзник* 'березовый лес', *березняк* 'молодой березовый лес';

белорусский язык: *бярэза*, *бярэзка* (уменьш.) 'береза', *бярэзіна* 'береза' *бярэзнік*, '1. березник, березняк; 2. березняк (хвост)';

украинский язык: *беріза*, *берізка*, *берізонька* (уменьш.) 'береза', *берізіна* 1. 'березняк'; 2. 'березник, березняк', *березняк* 'березняк', *березнячок* 'березнячок';

польский язык: *brzoza*, *brzózka* (уменьш.) 'береза', *brzezina* 1. 'березник, березовый лес'; 2. 'древесина березы, срубленные ветки березы'; 3. '(устар.) береза', *brzezinka* 'березнячок', *brzeźniak* 1. 'березняк, молодой березовый лес'; 2. 'древесина, ветки молодых берез';

чешский язык: *bříza*, *břízka* и *břízečka* (уменьш.) 'береза', *březina* (устар. *březovina*) 'березник, березовый лес', *břeží*, *březoví* 'березняк, молодой березовый лес, березовые ветки';

словацкий язык: *breza*, *briezka* и *brezička* (уменьш.) 'береза', *brezina*, *brezie* 'березник, березовый лес';

верхнелужицкий язык: *brěza*, *brězusa* и *brězučka* (уменьш.) 'береза', *brězyna* 'березняк, молодой березовый лес';

¹³ Полесская лингвистическая экспедиция, в состав которой входили сотрудники Института славяноведения АН СССР, Института языкознания АН БССР, МГУ и Житомирского педагогического института, работала летом 1962 г. и 1963 г., зимой и летом 1964 г. и летом 1965 г. на территории Белорусской ССР южнее и севернее линии Брест—Мозырь. Подробнее о работе экспедиции будет сообщено в сб. «Полесье» (в печати).

¹⁴ По славянским литературным языкам предварительная работа по интересующей нас теме произведена Л. М. Васильевым. См. его «Опыт структурно-сопоставительного анализа лексики современных славянских языков (некоторые названия деревьев и кустарников)» в кн. «Славянский филологический сборник», Уфа, 1962 и в кн. «Вопросы лексикологии и синтаксиса», Уфа, 1964.

¹⁵ Слова «в основном» нужно принимать как некоторую оговорку, относящуюся к тому факту, что славянские литературные языки (особенно в рассматриваемой сфере лексики) по-разному «нормированы»; в разных славянских литературных языках по-разному и с различной степенью строгости соблюдается размежевание литературной и диалектной лексики. Одни литературные языки более «открыты» для диалектной лексики, другие более «закрыты». Ниже материал приводится по тем словарям славянских литературных языков, которые, по нашему мнению, максимально приближаются к литературной норме: русский язык — С. И. О ж е г о в, Словарь русского языка, М., 1953; белорусский язык — «Беларуска-рускі слоўнік» (под ред. К. К. Крапівы, М., 1962; украинский язык — «Українсько-російський словник» (под ред. І. М. Кіпріченка), І, Київ, 1953; польский язык — «Słownik języka polskiego» (red. W. Doroszewski), I, Warszawa, 1958; чешский язык — «Slovník spisovného jazyka českého» (red. B. Havránek), 2, Praha, 1958; словацкий язык — «Slovník slovenského jazyka» (red. S. Peciar), I, Bratislava, 1959; верхнелужицкий язык — F. J a k u b a š, Hornjoserbsko-němski słownik, Budyšin, 1954; нижнелужицкий язык — E. M u k a, Słownik dołnoserbskeje rěcy, 1, Pr., 1921; болгарский язык — Л. А н д р е й ч и н, Л. Г е о р г и е в, Ст. И л ч е в, Н. К о с т о в, Ив. Л е к о в, Ст. С т о й к о в, Цв. Т о д о р о в, Български тълковен речник, София, 1955; македонский язык — «Речник на македонскиот јазик», кн. 1, Скопје, 1961; сербскохорватский язык — Л. Б а к о т и ћ, Речник српскохрватског књижевног језика, Београд, 1936; словенский язык — Š. S k e r l j, R. A l e k s i ć, V. L a t k o v i ć, Slovensko-srbskohrvatski slovar, Ljubljana — Beograd, 1964.

нижнелужицкий язык: *břaza, břazka* и *břazysa* (уменьш.) 'береза', *břazyna, břazynka* (уменьш.) 'березовые дрова, березняк', *břazň* 'прутья от молодой березы'.
 болгарский язык: *бреза* 'береза', *брезаѝк* 'густой березовый лес';
 македонский язык: *бреза* 'береза';
 сербскохорватский язык: *бреза* 'береза', *брезѝк* 'березник, березовый лес', *брезовина* 'березовые дрова';
 словенский язык: *bréza* 'береза', *brézje* 'березник, березовый лес'.

Диалектный материал (даже собранный на ограниченной территории) дает большее разнообразие типов и на инвентарном и на соотносительном уровне. Для его описания предлагается следующее микрополе-модель (сетка-модель):

	мл.	кр.	ср.	мат.	ств.	вет.
ед.						
вид						
мн.						
лес						

Условные обозначения: мл. — мелкий (молодой); кр. — крупный (старый); ср. — средний; ед. — единичность; вид — вид (общее название); мн. — множество, совокупность; лес — лес, сплошной массив, мат. — материал; вет. — ветки; ств. — ствол.

Внутри клеток микрополя, помимо суффиксов, даются еще обозначения \emptyset — нулевой суффикс; *S* — синтагма, сочетание «прилагательное + существительное».

Распределение суффиксов в отдельных полесских говорах можно представить следующим образом:

	мл.	кр.	ср.	мат.	ств.	вет.
ед.	-ка		\emptyset			
(1) вид	-ка		\emptyset	\emptyset		
мн.	-и н ка		-и н а			
лес			<i>S</i>			

дер. Олтуш, Малорытский р-н (Западное Полесье)¹⁶

	мл.	кр.	ср.	мат.	ств.	вет.
ед.	-и н ка		$\frac{-ина}{\emptyset}$	-ина	-ина	
(2) вид			\emptyset			
мн.			$\frac{\emptyset}{-инá}$			
лес		-инá	-инá			

дер. Сварынь, Дрогичинский р-н (Западное Полесье).

¹⁶ Последовательность полесских пунктов (1—9) соответствует их расположению с запада на восток.

	мл.	кр.	ср.	мат.	ств.	вет.
ед.		-инина	<u>-инина</u> -ина			
(3) вид			-ина	-ина		
мн.	-инкá		-инá (-инн'е)	-инá (-инн'е)		
лес	<u>-нячок</u> -няк		<u>-инá</u> -няк			

дер. Симоновичи, Дрогичинский р-н (Западное Полесье). Сообщил Ф. Д. Климчук.

	мл.	кр.	ср.	мат.	ств.	вет.
ед.	-и н к а	-ина	-ина	-ина	-ина	
(4) вид			-ина			
мн.			-инá	-инá		
лес	-няк	-инá	-инá			

дер. Спорово, Березовский р-н (Западное Полесье).

	мл.	кр.	ср.	мат.	ств.	вет.
ед.	-ка		∅			
(5) вид	-ка		∅	∅		
мн.	-ничок	-инá	-ник			
лес	-ничок	-инá	-ник			

дер. Городное, Столинский р-н (Центральное Полесье).

	мл.	кр.	ср.	мат.	ств.	вет.
ед.	-инна ¹⁷		-ина		-ина	
(6) вид			∅	∅ ¹⁸		
мн.	-ничок		-ник			
лес	-ничок		-ник			

дер. Хоромск, Столинский р-н (Центральное Полесье).

¹⁷ Существительные муж. рода — *дуб*, *граб*, *в'яз* приобретают суффиксы *-ок*, *-очок*.

¹⁸ 'сосновое дерево' — материал выражается лексемой *соснина*.

	мл.	кр.	ср.	мат.	ств.	вет.
ед.	-ка		-ина		-ина	
(7) вид	-ка		∅	∅		
мн.	-ничок		-ник			
лес	-ничок		-ник			

дер. Дяковичи, Житковичский р-н (Восточное Полесье).

	мл.	кр.	ср.	мат.	ств.	вет.
ед.	-инка	-ице	-ина	-ина		
(8) вид	-ка		∅	$\frac{-ина}{\emptyset}$		
мн.	$\frac{-ка}{-ничок}$	-инá	$\frac{\emptyset}{-ник}$	$\frac{\emptyset}{-ник}$		
лес	-ничок	-инá	-ник			

дер. Зосинцы, Ельский р-н (Восточное Полесье).

	мл.	кр.	ср.	мат.	ств.	вет.
ед.	-ка		∅	∅		
(9) вид	-ка		∅	∅		
мн.	-ничок		-ник	∅		S
лес	-ничок		-ник			

дер. Лукоеды (Киров), Брагинский р-н (Восточное Полесье). Сообщила Т. В. Назарова.

	мл.	кр.	ср.	мат.	ств.	вет.
ед.	-ка	-иско -ице	∅			
(10) вид	-ка		∅	∅		
мн.	-инá		-инá	-инá	-инá	-ўл'а
лес			-няк			

дер. Баранинцы, Ужгородский р-н (Закарпатье). Сообщил П. П. Чучка.
Таблицы 8, 9 и 10 даются для сравнения с полесским материалом.

	мл.	кр.	ср.	мат.	ств.	вет.
ед.	-ка		∅			
(11) вид	-ка		∅	-ина		-ина
мн.					-ина	-ина
лес			S			

дер. Быстрица, Богородчанский р-н (Восточное Прикарпатье). Сообщила В. В. Усаева.

	мл.	кр.	ср.	мат.	ств.	вет.
ед.	-ka					
вид	-inka		-ina	-ina		
(12) мн.	-inka		-ina			
	-ina					
лес	-ina		-ina			

дер. Доманевек, Ленчицкий повет (Северо-западная Малопольша).

По книге: M. S z y m c z a k, Słownik gwary Domaniewka w powiecie Łęczyckim, I, Wrocław — Warszawa — Kraków, 1962.

Построение микрополя и конфронтация материала. Принципы конструирования поля изложены в первой статье в разделе «Некоторые правила построения микрополей». Так как при графическом изображении поля мы пользуемся двухмерным пространством, порядок вертикальных рубрик несколько условен: к рубрике, отведенной для «беспризнакового» вида, должны были на равных основаниях примыкать как рубрика с ДП 'молодой (мелкий)', так и рубрика с ДП 'старый (крупный)'. В принципе семантическое поле следует воспринимать как пространство многомерное.

Расположение вертикальных и горизонтальных рубрик производится таким образом, чтобы возможно большее число признаков, не различающихся (т. е. не противопоставленных ни в одной из «семантических позиций») в большинстве отдельных систем (говоров), находилось рядом. В противном случае можно было бы отказаться от построения микрополя и ограничиться составлением матрицы идентификации. Нами используется термин «неразличение», «неразличающийся» вместо встречающегося уже в научной литературе применительно к подобным случаям термина «нейтрализация», «нейтрализующийся»¹⁹, потому что под нейтрализацией мы понимаем нерелевантность какого-либо дифференциального признака в определенной «семантической позиции» при обязательной его релевантности в других позициях, в другом смысловом контексте. В этом же плане определяется нейтрализация и в фонологии. «Неразличение» же можно сопоставить с известным в сравнительной фонологии фактом, когда в одной системе два звука, например *e* открытое и *e* закрытое, являются двумя фонемами (французский язык), а в другой системе одной фонемой (русский язык). В этом случае мы говорим не о нейтрализации (например, о нейтрализации *e* открытого и *e* закрытого в русском языке), а лишь о широте звукового диапазона фонемы. Точно так же в семантике о неразличении мы можем судить, исходя не из данной семантической системы, а лишь по другой наложенной на нее системе (по системе-эталону), где такое различие реализовано. Другими словами, в синхронном плане (и в сопоставительном также) неразличение ряда семантических ДП есть проблема объема — емкости семемы, выраженной одной лексемой.

Некоторые исследователи допускают, что план содержания может быть иногда определен на основании внеязыковых физических параметров, дискретно сегментирующих внеязыковую действительность (выделяющих

¹⁹ Например: Г. В. Г р и н к о, Народные названия растений в молдавских говорах Котовского района МССР. Автореф. канд. диссерт., Кишинев, 1962.

объекты). Исходя из этого положения, они утверждают, что «противопоставление объектов может быть нейтрализовано в плане выражения: двум и более объектам может соответствовать один термин»²⁰. Вероятно, в ряде случаев, как, например, при описании поля цветообозначений²¹, семантическое пространство, вернее его объем, может быть успешно задано внеязыковыми физическими параметрами (длины волн цветового спектра и т. п.). Аналогично положение при изучении народных названий растений, когда в основу плана содержания кладется ботаническая классификация. Однако, во-первых, возникает вопрос, адекватна ли такая классификация физических объектов плану содержания конкретного языка и, во-вторых, очевидным оказывается тот факт, что в большинстве других случаев (например, случаи с абстрактными понятиями и т. п.) определение плана содержания без обращения к плану выражения (т. е. без использования конкретного языка) невозможно.

Термин «нейтрализация» в лексике может быть применен, вероятно, для тех случаев, когда одна и та же семемная клетка покрывается двумя разными лексемами (например, в табл. 8, дер. Зосинцы в клетке квадрата с ДП мн. и ср., в квадрате с ДП мат. и вид и в квадрате с ДП мл. и мн., но не в квадрате с ДП ед. и кр., в табл. 10, дер. Баранинцы, где просто одна семема будет выражена двумя лексемами: *березиско* и *березище*). Другими словами, нейтрализация возможна тогда, когда, помимо контекстов («семантических позиций»), в которых допустимо употребление только одной из двух названных лексем, будут контексты, в которых обе лексемы могут употребляться с равным значением. Такой случай в иных терминах можно определить как частичную синонимию. Употребление обеих лексем во всех контекстах с равным значением можно определить как полную синонимию (например, в той же табл. 10 в квадрате с ДП ед. и кр. — *березиско* и *березище*). Наконец, следует дать еще одно пояснение к графическому представлению поля. Если клетка-квадрат поля разделена на два отсека, в которых отмечены две разные лексемы (суффикса), это означает, что квадрату поля (данному минимальному отрезку семантического пространства) одинаково присущи и та и другая лексема (и тот и другой суффикс).

Семантическое поле строится на основе амплитуды колебания опорной лексемы, например, лексемы *березина*, затем после заполнения клеток поля конкретным материалом корень-основа может быть исключен, если ряд других лексем (*жвоина*, *осина*, *ольшина*, *дубина* и т. п.) будет обладать аналогичными деривационными потенциями и аналогичным распределением на сетке микрополя (т. е. той же конфигурацией). Таким образом, для определенного семантического класса слов, каждой конкретной лексической системы (говора), устанавливается общий (одинаковый) словообразовательный инвентарно-дистрибутивный суммарный показатель. Расположение составляющих этого показателя на заданном семантическом пространстве (сетке микрополя) мы называем конфигурацией составляющих. Конфигурация может быть разной при одинаковом инвентаре и одинаковой при разном инвентаре. Такие случаи, однако, редки. Чаще всего, как видно из примеров, встречаются различия одновременно на инвентарном и на дистрибутивном уровнях. Таким образом, учитываются: а) инвентарные различия; б) дистрибуционные различия; в) инвентарно-дистрибуционные различия. Эти различия и дают нам искомые типологические показатели. Однако мы можем для каждой конкретной системы (конкрет-

²⁰ См. там же, стр. 7.

²¹ См.: В. А. Моско в и ч, Опыт квантитативной типологии семантического поля, ВЯ, 1965, 4.

ного говора) установить еще один показатель, который следовало бы определить как лексическую емкость (число исходных лексем²² с одинаковым деривационным рядом) того или иного словообразовательного набора (с одинаковой конфигурацией или с различной конфигурацией).

Если обратиться к предложенному выше списку деревьев и кустарников, состоящему из 21 исходной лексемы, и установить по этому списку и показателям заданного семантического пространства (конструированного микрополя) словообразовательные потенции каждой отдельной лексемы²³, то выяснится, что они различны для разных лексем. По этим различным деривационным показателям (вернее по их числу) лексемы разобьются на несколько групп — классов.

	∅	-іна	-інка	-нік	-нічок	-ок	-очок
сосна	<i>сбсна</i>	<i>сосніна</i>	<i>соснінка</i>	<i>соснінік</i>	<i>соснінічок</i>	—	—
береза	<i>бэр'за</i>	<i>бэрзайна</i>	<i>бэрзайнка</i>	<i>бэрзайнік</i>	<i>бэрзайнічок</i>	—	—
ель	<i>йэлка</i>	—	—	—	—	—	—
ольха	<i>ол'ха</i>	<i>ол'шійна</i>	<i>ол'шійнка</i>	<i>ол'шійнік</i>	<i>ол'шійнічок</i>	—	—
осіна	<i>осіна</i>	<i>осініна</i>	<i>осінінка</i>	<i>осінінік</i>	<i>осінінічок</i>	—	—
верба	<i>вэрба</i>	<i>вэрбйна</i>	<i>вэрбінка</i>	<i>вэрбнік</i>	<i>вэрбнічок</i>	—	—
липа	<i>ліпа</i>	—	—	—	—	—	—
іва	<i>іва</i>	<i>івіна</i>	<i>івінка</i>	<i>івінік</i>	<i>івінічок</i>	—	—
дуб	<i>дуб</i>	<i>дубйна</i>	<i>дубінка</i>	<i>дубнік</i>	<i>дубнічок</i>	<i>дуббк</i>	<i>дуббчок</i>
граб	<i>ґраб</i>	—	—	<i>ґрабнік</i>	<i>ґрабнічок</i>	<i>ґраббк</i>	<i>ґраббчок</i>
вяз	<i>в'яз</i>	<i>в'язйна</i>	<i>в'язінка</i>	—	—	—	—
клен	<i>кл'он</i>	<i>кл'онйна</i>	<i>кл'онінка</i>	—	—	—	—
тополь	<i>тол'б-пол'</i>	—	—	—	—	—	—
ясень	<i>јасен'</i>	—	—	—	—	—	—
берест	—	—	—	—	—	—	—
орешник	—	<i>оршйна</i>	<i>оршійнка</i>	<i>ор'шійнік</i>	<i>ор'шійнічок</i>	—	—
рябина	—	<i>рабіна</i>	<i>рабінка</i>	<i>рабнік</i>	<i>рабнічок</i>	—	—
ракіта	<i>рокіта</i>	<i>рокітйна</i>	<i>рокітінка</i>	<i>рокітнік</i>	<i>рокітнічок</i>	—	—
крушина	—	<i>крушйна</i>	<i>крушійнка</i>	<i>крушнік</i>	<i>крушнічок</i>	—	—
черемуха	<i>т'ерэмха</i>	<i>т'ерэмшйна</i>	<i>т'ерэмшійнка</i>	<i>т'ерэмшнік</i>	<i>т'ерэмшнічок</i>	—	—
лоза	<i>ловя</i>	<i>ловйна</i>	<i>ловінка</i>	<i>ловнік</i>	<i>ловнічок</i>	—	—

Дер. Хоромск (ср. табл. 6).

Таблица дериватов дает возможность выделить классы лексем. Например, класс А — *сбсна*, *бэр'за*, *ол'ха*, *осіна*, *вэрба*, *іва*, *рокіта*, *т'ерэмха*, *ловя*; класс Б — *дуб*, *ґраб*, *в'яз* (с подклассами); класс В — *оршйна*, *рабіна*, *крушйна*; класс Г — *кл'он*; класс Д — *йэлка*, *ліпа*, *тол'бпол'*. Приведенный пример отличается довольно простым разбиением на классы, что в общем не столь характерно для многих других диалектов.

Естественно, что состав классов (соответственно и лексическая емкость их словообразовательных наборов), так же, как и их число, может быть

²² Термином «исходная лексема» предлагается обозначать лексему с «нулевым» суффиксом (*береза*, *дуб* и т. п.) или, при отсутствии «нулевого» суффикса, с суффиксом, не обладающим дополнительными семантическими признаками (т. е. обозначающим «беспризнаковый» вид).

²³ При полевой работе материал собирается по определенной программе, в которой вопросы распределены так, чтобы можно было получить ответ для каждой клетки микрополя и установить релевантные и нерелевантные ДП (см.: Н. И. Толстой, указ. соч., стр. 37, Правило IV). Для этой цели, помимо вопросника, предлагается еще список заданных контекстов (например, контексты: «сплошная береза (в лесу)», «обрубок (кусочек) березы», «лавка из березы», «одна (одинокая) береза» и т. п.).

различным в разных диалектах²⁴, при этом каждый класс будет обладать своей конфигурацией дериватов. Однако чаще всего, как и в приведенной таблице, конфигурации отдельных классов конкретного микрополя окажутся не принципиально иными, а лишь «усеченными» (или «неполными») по отношению к конфигурации класса лексем с максимальной деривационной потенцией (к «полной» конфигурации). Другими словами, конфигурация любого класса может быть получена из полной путем последовательного исключения из микрополя отдельных суффиксальных моделей.

Понятия словообразовательной потенции и словообразовательной продуктивности (распространенности) характеризуют сочетаемость словообразовательных элементов и применяются к разным компонентам словообразовательной модели. Так, определяя продуктивность (распространенность) конкретного аффикса, выясняют, с какими лексемами (основами) он сочетается²⁵. Наоборот, выявляя деривационную потенцию исходной лексемы (основы), устанавливают, с какими аффиксами она сочетается²⁶.

При определении лексической емкости обращаются сначала к деривационной потенции одной из лексем, составляющих класс, т. е. выявляют, с какими суффиксами сочетается исходная лексема, а затем на основании этого показателя устанавливается распространенность («продуктивность») определенного деривационного ряда, т. е. определяется, какие еще лексемы сочетаются с теми же суффиксами. Следует, однако, учитывать, что такая операция производится нами в рамках заданного (т. е. ограниченного) семантического пространства (конкретного микрополя).

Показатели лексической емкости могут быть использованы при сравнительно-типологических исследованиях. В каждой отдельной системе (говоре) лексическая емкость каждого словообразовательного набора может быть вычислена абсолютно или относительно к общему числу лексем заданного списка; затем емкости отдельных систем (говоров), расположенные в убывающей (resp. возрастающей) последовательности, могут быть сравнены между собой.

Конкретный языковой материал, организованный и ограниченный микрополем-моделью, может конфронтроваться в трех планах: а) чисто семемном плане; б) семемно-лексемном плане; в) семемно-лексемно-словообразовательном плане.

Как видно из названий, каждый последующий план содержит в себе и предшествующие планы. Для первого, чисто семемного плана безразлично, какой лексемой выражается семема, — важно лишь выполнение одного условия: лексема должна быть «простой»²⁷. Конфронтуются исключительно конфигурации лексем каждого конкретного поля; релевантным оказывается только соотношение пустых и полных клеток. Однако возможна и следующая детализация, приближающая конфронтацию ко второму плану — семемно-лексемному: учет того, одной (одинаковой) или разными лексемами (в остальном опять безразлично какими)

²⁴ Более подробное описание явления оставляем для другой статьи. Отметим лишь, что возможны и случаи «выпадения» лексем из общего ряда деривационно однородных лексем (из класса), случаи «индивидуальной» конфигурации, или присутствия у одного из дериватов такого семантического признака, который неизвестен всему ряду (классу). В этих случаях мы должны признать наличие класса, состоящего из одного члена. Например, в прикарпатском селе Рудники (Дрогобычский р-н) дериваты с суффиксом *-ина* означают 'рубленные ветки' или 'куст' (*бері́зана, л'ішчѐна, крушѐна* и т. д.) и лишь *бўчѐна* (дериват от *бук*) значит 'буковые орешки' (сообщила В. В. Усачева).

²⁵ Ср., например, предложенный для полевой работы метод А. С. Герда (ВЯ, 1964, 3, стр. 78—83).

²⁶ См.: І. І. К о в а л и к, *Словотвір і лінгвогеографія*, «Праці Х республіканьської діалектологічної наради», Київ, 1961.

²⁷ См. Н. И. Толстой, указ. соч., стр. 36, Правило I.

заполняется та или иная группа клеток микрополя, иными словами, учет так называемого «неразличения» и различения. Такая конфронтация может производиться как на материале родственных, так и на материале неродственных языков²⁸, хотя само конструирование микрополя, как уже отмечалось, возможно лишь на материале родственных языков, так как оно базируется на формально-генетическом тождестве лексем.

Следует четко разграничивать две принципиально отличные операции: 1) конструирование микрополя-модели и 2) конфронтацию и интерпретацию материала. Конструирование общего эталона (микрополя-модели), на основе которого производится сравнение, может быть осуществлено различными средствами. Можно, как отмечалось, взять в основу эталон с внеязыковыми — физическими параметрами (например, шкалу цветовой гаммы), можно в качестве эталона взять одну из реально существующих языковых систем, можно сконструировать модель на основе статистических параметров, можно, наконец, сконструировать эталон при помощи опорной лексемы. Все это лишь создание и н с т р у м е н т а для сравнения, но не само сравнение. Сравнение (конфронтация) материала — операция автономная по отношению к построению микрополя-модели (сетки-эталона). В предлагаемом нами способе создания микрополя на основе опорной лексемы (т. е. лексемы с максимальной амплитудой колебания) часто возникает необходимость использования большого материала, почти равного по объему и по содержанию тому, который потом привлекается для сравнения. Это объясняется тем, что микрополе-модель выводится индуктивно из языкового (диалектного) материала и лишь после того, как оно выведено, дедуктивно накладывается на тот же материал в целях конфронтации на одном основании. Естественно, что не следует путать операции индуктивного и дедуктивного характера и цели, с ними связанные.

Для второго, семемно-лексемного плана важно также, какой лексемой выражается семема. Помимо релевантной для чисто семемного плана общей конфигурации лексем на сетке-эталоне, релевантными можно считать и конфигурации отдельных лексем. Конфротируется материал только близкородственных языков, так как необходимо генетическое тождество лексем, прежде всего — опорной лексемы. Неопорные лексемы одного поля могут быть приняты в виде опорных для ряда других полей: таким образом, возможно установление семантических связей ряда полей и представление известной иерархии признаков семантического пространства.

Для третьего, семемно-лексемно-словообразовательного плана важно не только, какой лексемой выражена семема, но и необходимо условие, чтобы все лексемы были дериватами от одного корня-основы. Так, лексемный ряд *сѡсна*, *хвѡја*, *хвѡјка*, *бор*, *смолѡна* и т. п. может быть рассмотрен только во втором, семемно-лексемном плане, а ряд *хвѡја*, *хвѡјка*, *хвѡјѡна*, *хвѡјѡнѡк* и т. п. — в третьем, семемно-лексемно-словообразовательном.

Третий план обращен на изучение плана содержания словообразования, на установление дистрибуции аффиксов на семантической сетке,

²⁸ Интересная картина выявится, вероятно, в результате конфронтирования диалектов неблизкородственных языков в зонах языковых контактов и языковых союзов (например, балканского языкового союза, в альпийской, средиземноморской, карпатской зоне, в зоне славяно-финских и славяно-тюркских контактов на русском Севере, в Поволжье и т. п.) При билингвизме следует ожидать наличия одного плана содержания при двух планах выражения или приближения к этому состоянию (ср. некоторые наши соображения в ответе на вопрос «Как се установява границата между билингвизма и взаимните влияния в славянските езици?», сб. «Славянска филология», I, София, 1963, стр. 326—327), при контактировании — большую расчлененность (дробность) семантического пространства (семантической сетки) и тем самым и большую на него лексемную нагрузку.

на рассмотрение словообразовательной системы сквозь призму заранее заданного, ограниченного семантического пространства. При этом для суффиксальной дистрибуции можно сделать тот же вывод, что был уже сделан нами для лексической дистрибуции: значение суффикса зависимо от характера его альтернативы с другими суффиксами — изменение альтернатив ведет к изменению значения.

Наконец, представим сводную таблицу дистрибуции суффиксов, составленную на основе приведенных выше микрополей (микрополей разных диалектов):

	мл.	кр.	ср.	мат.	ств.	вет.
ед.	-ка -инка	-ина -инина -ище -иско	-ина ∅	-ина ∅	-ина	
вид	-ка -инка		-ина ∅	-ина ∅		-ина
мн.	-ина -инá -инка -инкá -ничок -ка	-инá	-ина -инá -инн'е -ник ∅	-инá -ник ∅	-ина -инá -инн'е	-ина -улл
лес	-няк -ничок	-инá	-ина -инá -ник -няк			

Данные этой таблицы позволяют установить амплитуду колебания отдельных суффиксов и их междиалектную синонимичность.

Некоторые практические выводы для лингвогеографии. В программах, предназначенных для сбора материала по отдельным славянским атласам (национальным, региональным, зон межъязыковых контактов), вопросам словообразования отводится очень скромное место или они вовсе остаются не включенными в программу. Обычно же в пределах лексической (или общей) части вопросника предлагается выявить отдельные лексемы, которые могут иметь различные аффиксы (при этом словообразовательная дифференциация рассматривается в одном ряду с лексемой, а иногда и с фонетической дифференциацией)²⁹. Недостатки большинства карт, трактующих словообразовательные явления, — того же характера, что и недостатки многих лексических карт, отмеченные нами в первой статье³⁰. При заранее вопросником заданном значении, часто предельно конкретизированном (при подходе от «значения» к слову), могут возникнуть случаи неполной или неточной интерпретации семантического объема слова, вы-

²⁹ К такому типу относится лемковский атлас З. Штибера (см.: Z. Stieber, Atlas językowy dawnej Łemkowszczyzny, I—VIII, Łódź, 1956—1964). См., например, карту на слово *brzoza* 'береза' (IV, карта № 171), где отражены лексемы I *bereza*, II *byreza*:(-y^{er}-), III *b'ereza*, IV *berest*, V *berest* || *bereza*, VI *by^{er}ry^ezyna*, VII *ber(e)zyn'a*. Такого же типа карты № 172 (*jawor*), № 175 (*klon*), № 177 (*czeremcha*), № 179 (*wierzba*), № 180 (*kalina*) и др. Аналогичным образом даются словообразовательные карты в кельском атласе К. Дейны [см.: K. Dejna, Atlas gwarowy województwa Kieleckiego, 1—3, Łódź, 1962—1964]. См., например, карты № 393 (*jarzębina*), № 394 (*olcha*), № 395 (*osika*) и др.].

³⁰ См.: Н. И. Толстой, указ. соч., стр. 39.

раженных конкретной лексемой: в таких случаях лексемам как бы приписываются семантические ДП, предусмотренные программой, но на самом деле им не присущие, ибо их семантический объем шире и в его пределах заданные вопросником ДП не различаются.

Подобной неполноты (или неточности) интерпретации семантического объема слова можно избежать при картографировании ряда слов одного семантического поля или картографировании всего поля (в принципе из карт ряда слов одного семантического поля можно создать одну сводную — карту поля).

Так, например, в диалектологическом атласе белорусского языка³¹ даны три карты — карта № 269 «общее название сжатого поля», в которой приводятся лексемы *ржышча, ржэўнік, пажня, жніўнік, сцёран* и др., карта № 270 «общие названия сжатого поля, образованные от корня-рж» (в ней ставится задача выявить изоглоссы разных словообразовательных моделей — *ржышча, ржэўнік, ржэйска, ржынне* и др.), карта № 271 «названия сжатого поля, на котором росла рожь», в которой снова выступают лексемы *ржышча, ржэўнік, ржынне, ржэйска, жніўнік, пажня, сцёран* и др. В результате сравнения этих карт выявляется, что во многих белорусских диалектах существует неразличение клеток «сжатое поле вообще» и «сжатое ржаное поле» (аналогично в ряде диалектов и для «сжатых полей других культур»). Карта с фиксацией этого явления в атласе отсутствует³², но ее со значительной долей достоверности можно вывести из карт №№ 269, 271, 272 (по комментариям) и 273 (по комментариям). Если бы в атласе была дана лишь карта № 271, мы могли бы посчитать, что слова *ржышча, ржэўнік, ржынне* и др. означают, как указывается в заголовке карты, только «сжатое поле, на котором росла рожь». К сожалению, во многих атласах (и программах) изолированные вопросы дают повод для подобного превратного толкования материала, т. е. для ошибочного отождествления заданного программой значения слова с его истинным значением.

Целесообразнее всего, вероятно, было бы построить программу с полным списком рядом культур, засеваемых (или сажаемых) и убираемых на одном поле. Такой список был бы не многим обширнее того, который приведен в белорусской программе³³, но он бы дал возможность, подобно рассматриваемому нами списку деревьев, выявить разные структурные типы микрополя не только в лексическом и семантическом, но и в словообразовательном плане. Как явствует из комментариев к другим картам белорусского атласа (к карте № 272 «название сжатого поля, на котором рос ячмень» и карте № 273 «название сжатого поля, на котором рос овес»), явление неразличения не распространяется не только на «поле, на котором росла рожь», но и на ячменное поле (*ржышча, жн'ёўн'ік, пажн'а, сц'бран' и др.*³⁴), на овсяное поле (*ржэўнік, жн'ёўн'ік, пажн'а и др.*), и, как можно предполагать, на поля, с которых убраны другие культуры. Судя по данным белорусского атласа и по материалу, собранному участницей полесской экспедиции Л. Т. Выгонной-Силкиной, явление неразличения охватывает в разных диалектах различные семантические клетки данного микрополя. Поэтому ситуация структурных различий в восточнославянских диалектах несколько сложнее, чем ее отмечает Л. П. Жуковская, говоря только о случаях «отсутствия единого термина для обозначения сжатого поля независимо от произрастающих на нем ранее культур в одних говорах (в них имеются только частные названия, например: *ржыце, или ржэўнік — ржанік — ржань — жнивье после ржи, пшенице — жнивье после пшеницы, овсянице — после овса, яровице — после яровой пшеницы и других яровых культур, клеверыце — после клевера и т. д.) и наличие такого общего названия в других говорах (*жнівё, жнівёе, ржице*) и др.»³⁵.*

Неразличению, или явлению «перестановки лексем» в первую очередь и в большей степени подвергаются общее, родовое название и видовое название, стоящие первыми в ряду подобных (ср. *стерня* и *ржице*), а затем, уже в меньшей мере, неразличение распространяется на видовые названия, занимающие второе, третье и т. д. место. Первенство в ряду определяется, в общем, чисто экстралингвистическими, хозяйственными и т. п. факторами (наибольшая полезность, максимальная распространенность и т. п.). того же характера явление, по которому в западном Полесье черника называется и *черница*

³¹ См. «Дыялекталагічны атлас беларускай мовы», Мінск, 1963.

³² Лингвогеографические исследования подобного рода уже проводятся. Среди них можно отметить хотя бы упоминавшуюся работу Г. В. Гринко.

³³ См.: «Праграма на вивучэнню беларускіх гаворак і збіранню звестак для складання Дыялекталагічнага атласа беларускай мовы», Мінск, 1950, стр. 92.

³⁴ См.: «Дыялекталагічны атлас беларускай мовы», том комментариев, стр. 854.

³⁵ См.: Л. П. Жуковская, Типы лексических различий в диалектах русского языка, ВЯ, 1957, 3, стр. 109—110.

и *јаўода*, при наличии родового названия *јаўода*; во многих местах Белоруссии белый гриб (боровик) называется просто *гриб* (*grin*) и т. д.³⁶.

Такие неточности оказываются иногда отнюдь не безобидной данью атомистическому принципу, довольно прочно укоренившемуся в лингво-географической практике. Эта практика в ряде случаев ведет к появлению произвольных, в каком-то смысле «ложных» изоглосс, ибо, если бы учитывался полный семантический объем лексемы, изоглосса бы приняла иное направление, иную форму³⁷.

В программах для русского, украинского и белорусского атласов разделы «Словообразование» отсутствуют. Из известных нам восточнославянских вопросников такой раздел существует только в двух изданиях — «Програма для збирання матеріалів до діалектологічного атласа українських говорів в Закарпатській області УРСР» (Ужгород, 1960) и «Програма збирання матеріалів для „Карпатского диалектологического атласа“» (Ин-т славяноведения АН СССР, М., 1964, ротапринт). В закарпатской программе содержатся, в основном, вопросы, связанные с суффиксацией отдельных лексем, часто без указания их значения (вероятно, предполагается, что искомые лексемы с разными суффиксами должны выражать одну и ту же семему³⁸). Карпатская программа в разделе «Словообразование» стремится исходить из отдельного словообразовательного форманта (суффикса, префикса), однако она при этом не может обойти проблемы значения отдельных лексем³⁹. Обе программы не ставят себе задачи

³⁶ Подробно такие случаи будут рассмотрены в подготовленной мною статье «О лексико-семантических явлениях при корреляции рода и видового ряда в славянских языках».

³⁷ Экспериментальное картографирование по разным принципам проведено в еще не опубликованной работе Г. П. Клепиковой «Из опытов картографирования славянской лексики», выполненной на материале «Карпатского диалектологического атласа» (число населенных пунктов — 70). Г. П. Клепикова обратилась к лексеме *різати* и к конкурирующим с ней на заданном семантическом пространстве лексемам. Заданное семантическое пространство, выражающее в целом понятие «резать, сечь, пилить» распалось в результате применения процедуры, предложенной нами в первой статье, на восемь клеток-отсеков: 1. «резать вообще (ножом и т. п.)»; 2. «резать (хлеб)»; 3. «резать (мясо, сало)»; 4. «резать (скот)»; 5. «пилить вообще»; 6. «пилить поперек (дрова, дерево)»; 7. «пилить вдоль (дрова, дерево)»; 8. «рубить топором (ветки, сучья)». При картографировании каждой клетки отдельно (по принципу — употребляется лексема *різати* или другая лексема?) получалась определенная изоглосса, не совпадающая с изоглоссой другой клетки. Наконец, иная изоглосса с замкнутой конфигурацией, выделяющей отдельные диалектные группы, определилась при учете полного семантического объема лексемы *різати* в каждом говоре.

³⁸ В соответствии с этим подобраны и сформулированы вопросы. Например: «913. Цвіркун чи цвіркач, цвирчок, свирчок, свирдан, дзвір?»; 914. Мурашка чи мур'ашка, мурийашка, мурашчок, мор'анка, муравгл'а, мурінгл'а?»; 915. Йадро чи мн'яздро, мн'яздро, мн'язгро, мн'аклина, мн'акотина, мн'асо?»; 916. Вечірниці, вечерниці, вечірниці чи вечірки, вечерки, вечеркы?» (стр. 65).

³⁹ Это видно хотя бы из следующего примера: Вопрос № 472 — «Употребляются ли существительные м. р. (? — Н. Т.) с суффиксом *-ин(а)*: *березина*, [березина] «бревно», [бруслина] «бересклет», [буковина] «буковый лес», [верхнина] || [поверхнина] «сметана; верхний слой чего-либо», [вечина] «большинство», *височина*, *ворина* || [вирлина] «жердь», [вуйчина] «тетка», *гадина*, *година*, *глибочина* [гложина] «вид растения», *городина* || [городнина] «огородные культуры», *гущавина*, *далечина*, *дичина* || [дывачина] «дичь», [джорина] «шкварки», *долина*, *домовина*, *драговина*, [драчина] «шиповник», *зеленина*, [кирвавина] «кровь», [киртина] «крот; кучка земли над норой крота», [кирточина] «нора крота», *купина* «растение; куча», *ліщина*, [луговина] «кусты в пойме реки; ива», *лупина* «кожура», *миришина* «падаль», *моркви́на* «ботва моркови», *низина* «род вышивки», *новина*, *оборожина*, *озимина*, *оскоми́на*, [паузина] || [лузина] «жердь», [парина] || [паренина] «язьб», *паутина*, [переслопина] «седловина (горы)», *підгорлина*, *подина*, *полонина*, *похребтина*, [пуклинина] «расселина», [пухленаина] || [пухлина] «опухоль», *родина*, [роковина] «дары священнику», *сивина*, [скорущина] «рябина», *стернина*, [стотина] «одна сотая часть» (также: *восьмина*, *десятина*), [стрина] «тетка», *судина*, *теплина*, *торбина*, *тростина*, *трясовина*, *татчина*, *царина*, *цілина*, *четина*, *широчина*, [язвина] «язва», *ялина*, *ярина*). Вероятно, картографирование собранного по этому

охватить словообразовательную систему сравниваемых говоров в целом или в основных ее чертах и сосредоточены на наиболее релевантных единичных показателях (различия в рамках закарпатского диалектного континуума — Закарпатская программа, или схождения в рамках южнославянско-карпатского ареала — Карпатская программа).

Интерес к проблемам словообразовательной дифференциации славянского языкового мира и к возможностям его отображения на картах оживился в связи с началом работы над «Общеславянским лингвистическим атласом». В отличие от большинства национальных славянских программ-вопросников, «Вопросник общеславянского атласа»⁴⁰ имеет специальный раздел, посвященный словообразованию, и этим знаменует несомненно некоторый прогресс славянской лингвогеографии.

Составлению вопросника предшествовала небольшая дискуссия об объеме и способах подачи словообразовательных явлений в «Общеславянском лингвистическом атласе» (ОЛА), в которой приняли участие Ф. Буффа, Я. Горецкий, Р. Гжегорчикова и Я. Пузынина, С. Шлиферштейн и Г. Курковская, М. Карась, Чехословацкая диалектологическая комиссия и др.⁴¹ Ф. Буффа и Чехословацкая диалектологическая комиссия предлагали в разделе вопросника, посвященном словообразованию, «исходить из словообразовательных типов, т. е. из объединения определенного значения и определенного формального средства выражения»⁴². Такой подход по сути дела мало чем отличается от традиционного лексического картографирования отдельного слова. Р. Гжегорчикова и Я. Пузынина рекомендовали «не растворять» словообразовательный вопросник в лексическом и построить его в одних случаях по отдельным категориям (понимая под категорией словообразовательно-семантический тип, например *nomina agentis*, *nomina loci* и т. п.), в других — по отдельным суффиксам с определенным, заранее за ним закрепленным значением. Так, например, для интересующего нас суффикса *-ina* предлагается выделить четыре значения («функции»): а) абстрактность (*тишина*), б) собирательность и сингулятивность (*горошина*); в) материал (*баранина*); г) ономастичность (*Киевщина*)⁴³. Ясно, что здесь отражены не все значения («функции») суффикса *-ina* (отсутствует, например, аугментативное *носина* и другие более «дробные», но важные для славянской языковой дифференциации значения), очевидно, что собирательность и сингулятивность следовало бы разделить и т. п. — такая детализация выполнима довольно легко. Труднее преодолеть другое препятствие — конфронтировать разную распределенность и синхронную продуктивность суффиксов в лексической сфере в разных славянских языках (к этому могут быть добавлены также и различия в семантике). Поэтому в лингвогеографии трудно отказаться от рассмотрения словообразования сквозь призму заданного семантического пространства и от учета деривационных потенциалов отдельных лексем. Это обстоятельство верно заметил М. Карась, полагающий, что «все же вопросник по формантам представляется более практичным». «Конечно, и здесь, — поясняет М. Карась, — надо выделить постоянное, обязательное для исследователя количество слов-соответствий, что позволит избежать неясных и двусмысленных ответов. В этом проявляется своего рода „лек-

вопросу материала без учета лексической представленности суффикса (употребление суффикса в разных группах лексик) будет затруднительным или вовсе невозможным.

⁴⁰ См.: «Вопросник общеславянского лингвистического атласа», кн. I—III, Warszawa, 1963 (ротапринт).

⁴¹ См. библиографию статей, посвященных ОЛА, в брошюре «Работа по подготовке Общеславянского лингвистического атласа», Прага, 1963.

⁴² См. ВЯ, 1961, 4, стр. 91.

⁴³ См.: R. Grzegorzyczkowa, J. Puzynina, Zagadnienia słowotwórstwa rzeczowników w atlasie ogólnosłowiańskim. «Poradnik językowy», 1, 1961, стр. 16.

сичность « словообразовательного вопросника»⁴⁴. По нашему представлению, наиболее продуктивен способ выявления словообразовательных связей сквозь призму заданного семантического пространства, — при его применении характеризуется не какой-либо отдельно взятый формант при отдельно взятом значении, а ряд словообразовательных формантов, распределенных на семантической сетке.

Принципы построения словообразовательной части «Вопросника общеславянского атласа» нуждаются в более четком определении и требуют более упорядоченного выбора славянского диалектного материала (списка диалектных черт и явлений).

Часть вопросника под рубрикой «Словообразовательные явления» делится на разделы: Substantiva, Adjectiva, Adverbia и Verba. Самый обширный раздел — Substantiva распадается на 12 рубрик, долженствующих отразить ряд основных «категорий» (согласно польской терминологии): «1. названия производителей действия; 2. экспрессивные названия; 3. уменьшительные названия; 4. названия сына и жены...; 5. названия жителей по местности; 6. названия мест разного рода; 7. собирательные названия; 8. единичные названия; 9. названия материалов; 10. названия частей орудий; 11. отвлеченные (абстрактные) названия; 12. словообразованные отдельные слов». На практике же все дело сводится к ряду лексических и семантических вопросов, построенных по известным принципам «от слова к значению» и «от значения к слову» и связанных определенным набором конкретных лексем. Рубрика «Собирательные названия» содержит 17 вопросов⁴⁵: «березняк, березник 412, буковый лес 402, дубовый лес, дубняк 397, еловый лес, ельник 387, пихтовый лес 391, сосновый лес, сосняк 382, колосья 618, диал. колосье 619, кусты 372, диал. кустье 373, листья 366, листва 367, перья 308, перо 309, цветы 458, цвет 459; собирательные названия молодых животных 316». Рубрика «Единичные названия» требует уже выявления других лексем. Она выглядит следующим образом: «брусника 442, груша (плод) 480, груша (дерево) 481, ежевика 436, земляника 440, зерно 669, малина 434, слива (плод) 485, слива (дерево) 486, соломина 666, терн (плод) 430, травинка 681, черника 438, яблоко 476»⁴⁶. Наконец начало рубрики «Названия материалов» представлено в таком виде: «а) древесина деревьев: береза 413, бук 403, дуб 398, ель 388, пихта 392, сосна 383»⁴⁷. Если к этим перечням прибавить включенные в раздел фонетики и лексики общие (видовые) названия деревьев — березы (411), сосны (381), ели (386), пихты (389), дуба (395), бука (401), граба (404), ясени (405), клена (406), липы (407), тополя (415), ольхи (418), и др., то в вопроснике ОЛА окажется почти весь перечень вопросов, необходимых для заполнения клеток предложенного нами микрополя. П о ч т и весь перечень, но не в е с ь. Нет, например, крайне важного для дифференциации славянского диалектного континуума вопроса о единичности (этот ДП выявляется на другом материале), существенного вопроса о пейоративности и аугментативности (он тоже поставлен на другом мате-

⁴⁴ См. ВЯ, 1962, 6, стр. 75—78.

⁴⁵ В вопроснике ОЛА порядок вопросов от 1 до 3454 расположен для удобства беседы с информатором по большим тематическим группам, внутри которых есть вопросы фонетические, морфологические, словообразовательные и др.

⁴⁶ См. «Вопросник общеславянского лингвистического атласа», М., 1965, стр. 41—42.

⁴⁷ «Вопросник общеславянского лингвистического атласа», стр. 56. К сожалению, в последнем московском варианте вопросника оказались исключенными вопросы с важным ДП «ветки», имевшиеся в предыдущем варшавском варианте: «ветви пихты 428, ель (еловое дерево) 423, ельник (еловые ветки) 424, пихта (пихтовое дерево) 427» («Вопросник общеславянского лингвистического атласа», кн. I, Warszawa, 1963, стр. 54).

риале). Отсутствие нескольких звеньев микросистемы не дает возможности представить ее сполна. В результате в «Вопроснике общеславянского атласа» сохраняется традиционный атомарно-лексический подход к материалу, не позволяющий рассматривать словообразовательные явления несколько шире и автономнее.

Некоторые практические выводы для исторической семасиологии и этимологии. Если разграничивать две дисциплины — историю литературного языка и историю языка как такового (т. е., по сути дела, историческую диалектологию), то во втором случае при лексико-семантических исследованиях наряду с эгзегетической препарацией диалектно окрашенных текстов приходится в большей или меньшей мере заниматься реконструкцией микросистемы (обычно с учетом состояния в современных диалектах). При этимологических исследованиях, обращенных к дописьменному периоду, реконструкция становится основным способом установления лингвистических фактов. О значении изучения современного, преимущественно диалектного, состояния для реконструкции уже говорилось в разделе «Типология и реконструкция», поэтому ограничимся здесь лишь некоторыми общими положениями и иллюстрациями из приведенного выше конкретного примера.

П о л о ж е н и е I. Для каждого микрополя можно отметить ограниченность набора лексем — типологический лексемный максимум и минимум, подобно тому как в универсальной фонологии установлен возможный максимум и минимум фонем.

П о л о ж е н и е II. Для каждого микрополя можно отметить ограниченность охвата семем (семемных клеток) одной и той же лексемой, т. е. можно определить максимальный и минимальный лимит семемной нагрузки каждой конкретной лексемы.

П о л о ж е н и е III (вытекающее из положения II). В рамках конкретного поля (поля отдельного диалекта) невозможна манифестация одной и той же лексемой двух или более семем, чьи ДП взаимоисключаются⁴⁸.

П о л о ж е н и е IV. Для каждого микрополя можно отметить разные амплитуды (максимальные и минимальные) колебания различных лексем на семантической сетке.

В говорах Полесья лексемный минимум дериватов от *береза* (соответственно *хвоя*, *ольха* и т. д.) представлен в типах дер. Олтуш (1) (*бербза*, *бербзка*, *берэзіна*, *берэзінка*) и дер. Лукоеды (9) (*бербза*, *барѣдоака*, *берэзн'ік*, *берэзн'ічок*), а максимум в дер. Зосинцы (8) (*бербза*, *бербзка*, *берэз'інка*, *берез'ініе*, *берэз'іна*, *берез'ініа*, *березн'ік*, *берэзн'ічок*). В тех же говорах минимум семемной нагрузки ложится на лексемы (суффиксы) *березіце* и *березіско*, довольно устойчива лексема *берэзка*, не выходящая за пределы крайних левых, в основном верхних, вертикальных клеток, а лексема *берэз'іна* обладает максимальной семемной нагрузкой и максимальной амплитудой колебания⁴⁹, однако она ни в одном случае не занимает более трех клеток подряд по горизонтали и более трех клеток подряд по вертикали (чаще всего соотношения по горизонтали и вертикали — 2 : 2, 3 : 1, 2 : 3 и т. п.), т. е. семантика лексем в каждом конкретном случае достаточно компактна. С этим связано и третье положение: невозможность

⁴⁸ К взаимоисключающим признакам в фонологии можно отнести «глухость» и «звонкость», «компактность» и «диффузность» и т. п., не совместимые в одной фонеме; в семантике — «единичность» и «множество», «положительное качество», «отрицательное качество» и т. п.

⁴⁹ Отметим, что понятие «семемная нагрузка» относится к языку (конкретному диалекту), а «амплитуда колебания» к языку описания ряда диалектов, т. е. к метаязыку.

энантисемии в пределах одного диалекта, одной системы. В тех диалектах, где суффикс *-ина* означает единичность, он нигде не распространяется на клетки, идущие ниже второй горизонтали, т. е. не приобретает ДП множественности [ср. диалект дер. Сварынь (2) и дер. Дяковичи (7)] и, наоборот, означая множество, отсутствует в ряде единичности [ср. диалект дер. Олтуш (1), диалект дер. Баранинцы (10)]. Наконец, если клетки с суффиксом-*ина* сконцентрированы в правой части сетки [диалект дер. Быстрица (11)], то в левой части сетки мы их не обнаруживаем. Интересно микрополе диалектов дер. Симоновичи, где суффикс-*ина* выступает при обозначении вида — *берёзіна* (ср. русск. литерат. *осина* и западнополеское *осá* — *осіна*), а единичность обозначается дубликацией суффикса: *-ишина*.

В принципе для праславянского языка трудно предположить развитие такой богатой синонимии, какой в сущности не обладает ни один из современных славянских литературных языков или диалектов, но которая имплицитно выводится при сведении значений отдельных праславянских лексем к инвариантным. Амплитуда колебания лексемы дает сведения об их вероятной семантической устойчивости или неустойчивости. При значительной амплитуде колебания часто невозможно (и не нужно!) сводить различные значения к инвариантному (как в случае с *-ина*, имеющим одиночное, и *-ина*, имеющим множественное значение) — их следует относить к разным типам полей, для которых в общем можно наметить и определенные географические зоны.

Таким образом, определяя праязыковое состояние, мы должны считаться с несколькими факторами, из коих особенно важными окажутся: допустимость различной дистрибуции на семантической сетке одних и тех же лексем (суффиксов) в связи с диалектным членением (или на чисто вероятностной основе), учет типологических возможностей и показателей (максимальная нагрузка лексем на семантической сетке, максимальная семемная нагрузка для каждой конкретной лексемы, амплитуда колебания лексемы, т. е. ее семантическая устойчивость или подвижность), равно как и учет морфологических (словообразовательных и др.) особенностей и изменений в хронологическом плане, наряду с проблемой «своей», исконной, и заимствованной лексики, не говоря уже о столь «классических» этимологических задачах, как сравнение с материалом других родственных, а иногда и неродственных языков (для славянских с другими индоевропейскими, а также угро-финскими и тюркскими). Но и при решении таких задач важно видеть определенное преимущество в конфронтации отдельных микросистем, а не изолированных единиц. Это положение в наше время можно уже считать тривиальным.

В. В. ЛОПАТИН

АДЪЕКТИВАЦИЯ ПРИЧАСТИЙ В ЕЕ ОТНОШЕНИИ
К СЛОВООБРАЗОВАНИЮ

1. Проблема адъективации причастий в русском языке, или «перехода причастий в прилагательные», освещалась неоднократно, но преимущественно в диахронно-историческом плане. Это явление рассматривается обычно как постепенное накопление у причастий адъективных значений — значений постоянного, статичного признака и ослабление грамматических черт глагольности (значений времени, вида, залога), приводящее в большей или меньшей степени к отрыву такого причастия от системы форм глагола.

Обычно исследователи очень осторожно подходят к вопросу о возможности возникновения нового слова на почве адъективации, о лексическом отрыве адъективированного причастия от соответствующего причастия и от системы форм глагола. В. В. Виноградов указывает, например, что при адъективации причастий «полный распад формы на омонимы осуществляется не часто»¹. Существует, однако, и другая точка зрения, согласно которой адъективированные причастия представляют собой «лексико-грамматические омонимы» к причастиям и, следовательно, адъективация является одним из способов словообразования без использования специальных словообразовательных элементов².

В какой же мере можно говорить применительно к адъективации о словообразовании? Можно ли рассматривать адъективацию как особый способ словообразования прилагательных с синхронной точки зрения при описании словообразовательной системы языка, понимаемой как совокупность словообразовательных типов³?

Необходимо иметь в виду, что, в отличие от других явлений «переходности» между частями речи (субстантивации прилагательных и причастий, адвербиализации различных форм), при адъективации не происходит формального изменения слова — остаются неизменными парадигма склонения и синтаксические функции слова, поскольку как парадигма, так и синтаксические функции причастия и прилагательного одинаковы⁴.

¹ В. В. Виноградов, Русский язык, М.—Л., 1947, стр. 284. См. также: И. А. Краснов, Переход причастий в прилагательные в современном русском литературном языке. Автореф. канд. диссерт., М., 1955, стр. 15; М. Ф. Лукин, Переход причастий в прилагательные и существительные в современном русском литературном языке. Автореф. канд. диссерт., Киев, 1965, стр. 16—17.

² См.: Л. И. Удалова, Адъективация действительных причастий в русском литературном языке XVIII—XX вв. Автореф. канд. диссерт., М., 1964, стр. 3—4, 18.

³ О таком понимании синхронической словообразовательной системы см.: В. В. Лопатин, И. С. Улуханов, Построение раздела «Словообразование», в кн.: «Основы построения описательной грамматики современного русского литературного языка», М., 1966, стр. 50.

⁴ Поэтому представляется неудачной попытка Л. И. Удаловой (указ. соч., стр. 3—4) рассматривать адъективацию причастий в русском языке как разновидность конверсии, поскольку конверсия обычно понимается как словообразование при помощи изменения парадигмы.

Меняется лишь (в наиболее ярких случаях) грамматическая семантика, причастие теряет грамматические значения глагола.

II. Естественно, что при синхроническом подходе к адъективированным причастиям могут рассматриваться как адъективированные только такие образования, которые одновременно употребляются в системе языка и как «полюценные» причастия и, следовательно, словообразовательно мотивированы причастием. Только в этих случаях можно говорить о живых словообразовательных связях подобных адъективированных образований с причастиями.

С этой точки зрения, во-первых, не могут считаться адъективированными такие типы образований, которые являются причастными лишь генетически, а в современном языке обособлены от системы причастий как семантически — способностью выражать только адъективное значение статичного признака, так и формально — суффиксами, чуждыми современным причастиям. К ним относятся типы отглагольных прилагательных с суффиксами *-уч/-ач-* (*летучий, сыпучий, лежачий, ходячий*) и *-л* (*заглохлый, облезлый, лянялый, полинялый*).

Во-вторых, при синхроническом анализе должны быть отделены от системы причастий такие типы образований, которые внешне (формально) совпадают с причастиями, но в силу определенных грамматических признаков — прежде всего в силу несоответствия их значения некоторым грамматическим значениям глаголов, с которыми они соотносительны, — неспособны употребляться как причастия и потому являются в системе языка прилагательными. Причастные суффиксы являются в этих типах уже суффиксами прилагательных, только омонимичными суффиксам причастий. Об адъективации применительно к ним можно говорить лишь в историческом аспекте.

Сюда относятся следующие факты:

1. Образования с суффиксом страдательных причастий прошедшего времени *-н/-ен/-т-*⁵ и результативным значением от глаголов несовершенного вида. В литературе часто указывается, что причастные образования типа *вареный, сушеный, долбленный, золоченый, мороженный, краденый, рваный, крытый, колотый* и т. п. являются в сущности прилагательными и употребляются преимущественно как прилагательные. Основная причина этого заключается, на наш взгляд, в грамматических свойствах таких «причастных» образований, а именно, в несоответствии их значения видовому значению структурно мотивирующих глаголов: значению незавершенного действия в глаголах (*варить, рвать, крыть* и т. п.) противопоставлено перфектное, результативное значение в причастных образованиях⁶. Слова *вареный, мороженный, балованный, рваный, крытый* и т. п. близки по значению к причастиям от соответствующих глаголов совершенного вида — *сваренный, замороженный, избалованный, порванный, покрытый*; в семантике обоих рядов образований преобладает результативность⁷. Уже это свойство позволяет считать подобные образования не причастиями, а отглагольными прилагательными, поскольку

⁵ Т. е. с суффиксальной морфемой, представленной тремя алломорфами. О принципах идентификации словообразовательных элементов см.: В. В. Л о п а т и н, И. С. У л у х а н о в, указ. соч., стр. 52.

⁶ Общее значение образований типа *вареный* формулируется в Академической грамматике так: «подвергшийся какому-либо действию, выражающий результат какого-либо действия в соответствии с производящей глагольной основой» («Грамматика русского языка», I, М., 1952, стр. 354).

⁷ Ср. также: «Парадигматической можно считать... только форму страдательного причастия прошедшего времени от глаголов с о в е р ш е н н о г о вида» (А. В. И с а ч е н к о, Грамматический строй русского языка в сопоставлении со словацким. Морфология, ч. II, Братислава, 1960, стр. 566).

ку для причастий характерно сохранение грамматических значений глагола (ср. действительные причастия прошедшего времени, всегда сохраняющие видовое значение своего глагола: *писавший* и *написавший*, *варивший* и *сваривший* и т. п.)⁸.

Думается, что подобные отглагольные прилагательные не могут рассматриваться как причастия и при наличии пояснительных слов — например, обстоятельственных сочетаний (*жаренный на масле*, *печенный в золе картофеля*) или творительного косвенного объекта (*крытый железом сарай*, *шитый золотом кафтан*, *груженный углем вагон*)⁹. Такие факты свидетельствуют лишь о сохранении некоторых особенностей глагольного управления у отглагольных прилагательных (ср. также хотя бы словосочетания с отглагольными прилагательными на *-мый*: *оробелый с испугу*, *закоптелый в пороховом дыму* и т. п.¹⁰). Обычно наиболее сильно проявляется глагольность в семантике страдательных причастий, употребленных с творительным субъекта действия; однако подобные сочетания с отглагольными прилагательными типа *вареный* в современном языке не употребляются.

2. Образования от переходных глаголов с суффиксом страдательных причастий настоящего времени *-ем/-им-* и значением способности (не-способности) подвергаться действию, обозначенному основой глагола. Относящиеся к этому типу образования от глаголов совершенного вида (*ощутимый*, *применимый*, *устранимый*, *неуловимый*, *непоправимый* и т. п.) являются прилагательными уже потому, что причастия настоящего времени от таких глаголов, в силу их грамматической семантики, вообще не образуются. Но возникает вопрос о принадлежности к прилагательным относящихся к этому типу образований от глаголов несовершенного вида, от которых страдательные причастия настоящего времени возможны (*несгибаемый*, *незабываемый*, *невыносимый*, *непереводимый*, *непроходимый*, *непробиваемый*, *неузнаваемый*, ср. *неделимый фонд*, *ткани с несмываемой отделкой* и т. п.¹¹). Этот вопрос, как и в предыдущем случае, решается при обращении к видовому значению таких образований. Прилагательные этого типа, образованные от глаголов несовершенного вида, обычно отражают грамматическое значение совершенного вида: например, *несгибаемый* — это «такой, который нельзя согнуть», *незабываемый* — «такой, который нельзя забыть» и т. д.¹² Общее словообразовательное значение прилагательных этого типа не зависит от видового значения мотивирующих глаголов.

⁸ В некоторых случаях прилагательные типа *варёный* обособлены от системы причастий и своим ударением: ср., например, *варёный*, *сушёный*, *зружёный*, и *сваренный*, *засушенный*, *нагруженный*; *литый*, *витый* и *налитый*, *увитый*, *свитый*; но *краденый*, *крашеный*, *битый* и т. д.

⁹ Принятая в настоящее время и не всегда последовательно соблюдаемая орфографическая норма, связанная с разграничением написаний с одним и двумя *н* в образованиях рассматриваемого типа в зависимости от наличия пояснительных слов, серьезно запутывает вопрос о возможном причастном характере подобных образований.

¹⁰ См.: И. П. Чиркина, Словосочетания с отглагольными прилагательными с суффиксом *-л-* в роли главного слова и их влияние на построение адъективных словосочетаний, «Уч. зап. [Свердловск. гос. пед. ин-та]», 16, 1958, стр. 30.

¹¹ Подобные прилагательные обычно употребляются с отрицательным префиксом *не-*; по ср.: «этот текст легко *переводим*» (из устной речи), «Многие эпизоды зазвучали совсем по-иному, стали и *узнаваемыми* и одновременно какими-то другими» (Изв. 16 VII 1963).

¹² На этот факт указывает В. Ф. Иванова (см.: «Отглагольные прилагательные с суффиксом *-м-* в современном русском литературном языке». Автореф. канд. диссерт., Л., 1952, стр. 10—11). Трансформация в глагол несовершенного вида возможна лишь для некоторых из образований данного типа, и только за счет изменения залоговой характеристики — перевода глагола в соответствующий возвратный: так, *несгибаемый*, *непереводимый* — то же, что *несгибающийся*, *непереводящийся*.

Вообще, несоответствие видового значения глагола и отглагольного образования — это признак, свойственный образованию прилагательных, а не причастий: ср. еще результативное значение прилагательных с суффиксом *-л-* от глаголов несовершенного вида (*тухлый, лежалый, линиялый*), а также значение длительного, постоянного действия у прилагательных с суффиксом *-тельн-* от глаголов совершенного вида (*описательный, употребительный, освежительный* и т. п.).

3. Отглагольные образования с суффиксом страдательных причастий *-ем/-им-*, лишенные грамматического значения страдательности и обычно синонимичные действительным причастиям настоящего времени от соответствующих глаголов. К ним относятся главным образом образования от непереходных глаголов, от которых страдательные причастия вообще невозможны (прилагательные типа *неиссякаемый, негораемый, неувядаемый, нестолкаемый, зависимый*, ср. синонимичные действительные причастия — *неиссякающий, зависящий* и т. д.), и от некоторых переходных и косвенно-переходных глаголов: ср. *значимый* — то же, что и *значащий, угрожаемый* — то же, что и *угрожающий*.

Помимо рассмотренных случаев, вне системы причастий в современном языке находятся также довольно многочисленные изолированные образования, лишенные словообразовательной связи с глаголами, от которых они исторически образованы (чаще всего из-за исчезновения из языка самих этих глаголов): ср. *предыдущий, неимущий, вопиющий, сведущий; неменяемый, одержимый, ископаемый, окаянный, прирожденный, врожденный, расхлябанный, изможденный, излюбленный, напыщенный, сокровенный; вылитый* («очень похожий»), *предвзятый* и т. д. В отдельных случаях образования, являющиеся по форме страдательными причастиями, соотносительны в современном языке только с глаголами на *-ся* и, следовательно, не могут рассматриваться как закономерные причастия, например: *условленный, растерянный, помешанный, пресыщенный* (ср. *условиться, растеряться, помешаться, пресытиться*). Некоторые из подобных образований соотносительны только с существительными на *-ние*, например: *образованный* (о человеке), *иступленный, изнеможенный, ухищренный* (ср. образование, *иступление, изнеможение, ухищрение*)¹³.

Не имеют соотносительных глаголов и многочисленные, принадлежащие к продуктивным словообразовательным типам, сложения и сращения с опорным причастием: *металлорежущий, почвообрабатывающий, свеженачищенный, дорогостоящий, вышеуказанный, долгожданный, густонаселенный* и т. п.

Все указанные группы слов могут рассматриваться с синхроническо-словообразовательной точки зрения только как прилагательные.

III. Рассмотренные выше явления, лишь по форме подобные причастиям, но в сущности относящиеся к образованию прилагательных (суффиксации и сложению), следует отличать от закономерно проявляющейся у определенных разрядов причастий способности выражать адъективные значения — значения статичного признака. С этой точки зрения могут быть указаны определенные типы (модели) адъективных значений, возникающих у различных разрядов причастий в зависимости от их грамматических свойств. Эти типы кратко рассматриваются ниже.

¹³ Генетически причастия с суффиксом *-нн/-енн/-т-* тесно связаны с отглагольными существительными на *-ние/-тие*; эта связь сохраняется в ряде случаев и в современном языке. Развитие адъективных значений у причастий этого типа объясняется иногда тем, что семантически такие причастия мотивируются соответствующими словами на *-ние/-тие* (ср. *утомленный, истощенный* и т. п.). См.: В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 281.

1. Действительные причастия настоящего времени (суффикс *-ущ/-ащ-*) могут приобретать адъективное значение «производящий какое-либо действие», обычно с оттенком «способный производить действие» или «служащий, предназначенный для выполнения действия». Развитие у данного разряда причастий этого адъективного значения обусловлено способностью причастий настоящего времени выражать грамматическое значение «расширенного» настоящего, а отсюда — значение вневременного действия, понимаемого как свойство. Это адъективное значение приобретается причастиями от непереходных глаголов, а также переходных — при устранении переходного значения, достигаемом употреблением причастия без прямого дополнения (обычно и без других подчиненных слов)¹⁴. Ср., например, с оттенком «способный производить действие»: *мыслящее существо* (о человеке), *вращающиеся печи*, *плавающий автомобиль*, *светящиеся авиабомбы*, *хрустящие хлебцы*, *летающая лисица* и т. п. С оттенком «служащий, предназначенный для выполнения действия»: *руководящие органы*, *торгующие организации*, *пишущая машинка*, *страхующая веревка*, *разыгрывающий игрок* и т. п. Такие причастия, особенно со вторым оттенком значения, широко употребительны в составе устойчивых номинаций, очень продуктивны в технической терминологии, например: *режущий инструмент*, *подсушивающая машина*, *бетонирующий комбайн*, *несущие конструкции*, *винты*, *передающая камера*, *обеспыливающая установка*, *перекрывающее устройство*, *следящая система*, *шагающий экскаватор*, *моющие средства*, *красящие вещества*, *записывающая аппаратура*; ср. также военные термины: *поддерживающая артиллерия*, *отравляющие вещества*, *дегазирующий раствор*, *изолирующая одежда* и т. д.

Причастия данного типа употребительны и в качественном значении, обычно с оттенком «способный производить действие», например: *волнующее событие*, *впечатление*, *потрясающий успех*, *отталкивающий вид*, *угрожающее положение*, *думающий*, *знающий человек* и т. п. Качественное значение подобных причастий особенно часто носит окказиональный характер, например: «Справедливо говорят о *гипнотизирующей*, *обволаживающей* силе музыки Вагнера. Ни один композитор до Вагнера не обращивался на восприятие слушателя... такими *пронзающими* мелодиями» (А. В. Луначарский, Путь Рихарда Вагнера); «Она ощущала за рассказами постоянная *тревожащий* и *влекущий* соблазн неведомой ей жизни» (Ю. Нагибин, На тихом озере); «Тайга — с безмерными вещами, с добром, чей мед всегда *горчащ*» (Р. Казакова, Тайга строга...); «Этот рост особенно *впечатляющ*» (Изв. 28 III 1964); «В стране, самой *читающей*» (Сов. культ., 29 II 1964, заголовок); «И это самое трудное, самое *обязывающее* и самое почетное рабочее место — жизнь» (ВМ 21 XII 1963).

Действительные причастия настоящего времени с адъективным значением и приставкой *не-* имеют обычно оттенок значения «неспособный производить действие»: *нержавеющая сталь*, *небьющаяся посуда*, *неувадающий талант*, *неиссякающий интерес*; ср.: «чужой, строгий, *неузнающий* взгляд» (В. Чивилихин, Про Клаву Иванову) и т. п.

По своей семантической функции данный тип причастий с адъективным значением синонимичен некоторым суффиксальным типам прилагательных, мотивированных глаголами (реже — отглагольными существительными со значением действия), — прилагательным с суффиксами *-тельн-*, *-льн-*, отчасти *-н-* и *-ущ/-ащ-*. Ср., например: *перекрывающее* и *перекрывающее* (устройство), *поясняющие* и *пояснительные* (слова), *освежающий* и *освежительный* (напиток), *решающий* и *решительный* (момент), *пронзающий* и *пронзительный*, *ошеломляющий* и *ошеломительный*,

¹⁴ См.: В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 277.

значащий и значительный; фильтрующие и фильтровальные (материалы); режущий инструмент и резательный станок, мотально-резальный станок; формирующая и формовочная (машина), фиксирующий аппарат и фиксационная машина; летающая мышь и летучая мышь, плавающий (автомобиль) и плавучий и т. д.; ср. также функционально-семантическое тождество прилагательного и причастия в контекстах вроде: «Возбуждение переходит от чувствующих центров к двигательным» (о производственной гимнастике, телепередача 28 X 1964).

В терминологических сочетаниях типа *режущий инструмент, красящие вещества причастия* с адъективным значением употребляются только без подчиненных слов; при необходимости же уточнить действие указанием на его характер или на объект в терминологии используются словообразовательные модели прилагательных — сложений и сращений с опорным причастием: *металлорежущий станок, кормоперерабатывающая машина, топливоподающая система, быстросваривающаяся каша, легковоспламеняющаяся жидкость* и т. п. Эти типы сложений и сращений с опорным причастием не менее продуктивны в современном языке, чем рассматриваемый тип причастий с адъективным значением.

Большая продуктивность, в особенности в технической терминологии, действительных причастий настоящего времени с адъективным значением, а также связанных с ними сложений и сращений с опорным причастием является, несомненно, новацией русского языка советской эпохи¹⁵.

К рассматриваемой группе причастий с адъективным значением относятся и действительные причастия настоящего времени от деноминативных глаголов на *-ствовать*, особенно широко употребительные в современной публицистической речи: *фашиствующий, хулиганствующий, либеральствующий, эстетствующий, интеллигентствующий, лакействующий* и т. п.; ср. также: «Давным-давно опера из аристократических салонов *гурманствующих* итальянцев вышла на просторы общественной жизни» (Сов. культ. 17 XII 1963); «не случайно именно *филистерствующие* буржуа встретили живопись импрессионистов в штывки» (Л. Волинский, Зеленое дерево жизни); «*меценатствующие* болельщики» нетерпимо относятся к поражениям «своих» команд» (Изв. 17 VI 1964). Исследователи справедливо отмечают, что значение подобных причастий — «действительный признак, мыслимый вне категории времени и вида»¹⁶, что они «очень близки по своему значению к прилагательным» и «к причастным образованиям типа *мыслящий, читающий...* в качественном значении»¹⁷ (значение вневременного действия, как было указано выше,

¹⁵ В русском языке XIX в. действительные причастия с подобным значением употреблялись редко; в немногочисленных случаях синонимами типа *увеличивающее* и *увеличительное* (стекло), *мыслящие* и *мыслительные* (способности) «параллельное употребление прилагательного и действительного причастия оканчивалось победой прилагательного: причастие утрачивало адъективное значение» (Е. А. Земская, Изменения в системе словообразования прилагательных, «Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX в. Изменения в словообразовании и формах существительного и прилагательного», М., 1964, стр. 410). Интересно, что в работе Г. О. Винокура о словообразовании в технической терминологии рассматриваемый тип причастий с адъективным значением не отмечен, а сложные термины с опорным действительным причастием типа *металлорежущие станки* названы «фактами, не укладывающимися в привычные рамки русского словообразования» (Г. О. Винокур, О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии, «Труды ИФЛИ», V, 1939, стр. 50). Из более поздних работ на это явление обращено внимание в диссертации И. А. Краснова, который, правда, характеризует его как не очень продуктивное, как только начинающий развиваться процесс (И. А. Краснов, Переход причастий в прилагательные... Канд. диссерт., М., 1955, стр. 263 и сл.).

¹⁶ Е. А. Земская, указ. соч., стр. 433.

¹⁷ Н. М. Козулин, Русские отыменные образования причастного типа, ВЯ, 1960, 1, стр. 67.

свободно приобретает действительными причастиями настоящего времени, в особенности причастиями от непереходных глаголов, какими и являются глаголы на *-ствовать*). Новые причастия данного типа могут возникать самостоятельно, вне других глагольных форм. По нашему мнению, из этого не следует, что подобные причастия уже представляют собой особый, не зависящий от глагола тип суффиксальных прилагательных, образуемых от основ существительных с помощью суффикса *-ствующий*¹⁸. Надо учитывать следующие факты¹⁹:

а) Причастия на *-ствующий* в семантико-словообразовательном отношении ничем не обособлены от деноминативных глаголов на *-ствовать*; основные характерные для них словообразовательные значения присущи и этим глаголам. Как причастия, так и глаголы могут иметь не только значение «поступать подобно тому, как поступает лицо, названное в основе» (в этом случае глагол мотивируется существительным со значением лица), но и значение «совершать действие, связанное с предметом, явлением или характерное для предмета, явления, названного в основе» (мотивирующее существительное — неодушевленное): например, *атомствующий* (ср. *атом*), *богемствующий* (ср. *богема*), *американствующий* (ср. *Америка*), *европействующий* (ср. *Европа*, например: «Кряжистый купеческий род Рогожиных далек от новшеств *европействующего* быта», Л. Гроссман, Достоевский); ср. также глаголы *роскошествовать*, *злбствовать*, *благополучествовать* и т. п.

б) Тип деноминативных глаголов на *-ствовать* с указанными значениями очень продуктивен, и нет оснований говорить о большей продуктивности причастий на *-ствующий* по сравнению с глаголами на *-ствовать*. Следовательно, отсутствие фиксации того или иного глагола этого типа не может быть доказательством невозможности его образования — хотя бы как полноправной единицы речи, или как «потенциальной» единицы языка. Характерно к тому же, что большинство подобных новообразований — как собственно глагольных, так и причастных — принадлежат к окказионализмам и, значит, являются только фактами речи. Глаголы данного типа на *-ствовать* употребляются в различных формах, в том числе возможны и причастия прошедшего времени. Ср., например: «Все от колхозной работы увиливаешь? *Тунейдствуешь?*» («Крокодил», 1964, 7); «А мой Ваня только начинал ходить. Мама и сестренки нянчились с ним, пока я *богемствовала*» (О. Морозова, Одна судьба); «но никогда Марджанов не *новаторствовал* ради эпатажного эффекта» («Театральная жизнь», 1963, 23); «*Славянофильствовавшая* молодежь готовилась выступить с серией статей, в которых чаадаевские идеи были бы... в корне раскритикованы» (А. Лебедев, Чаадаев).

Таким образом, ни с семантико-словообразовательной точки зрения, ни по своей продуктивности причастия на *-ствующий* не обособлены от глаголов на *-ствовать*. Необходимо, конечно, учитывать, что модель деноминативных глаголов на *-ствовать* часто реализуется в форме действительных причастий настоящего времени с адъективным значением. Тем не менее причастный характер подобных образований, их связь с системой глагольного словообразования несомненны²⁰. Это очевидно в

¹⁸ Такой вывод сделан в статье Е. А. З е м с к о й «Об основных процессах словообразования прилагательных в русском литературном языке XIX в.», ВЯ, 1962, 2, стр. 49—50.

¹⁹ Ниже речь идет только об образованиях на *-ствовать* и на *-ствующий* с оттенком отрицательно оцениваемого действия. Принадлежность к причастиям образований на *-ствующий* без этого оттенка (ср., например, старое *правительствоющий сенат* или новое *начальствующие кадры*, *шефствующие организации*) возражений не вызывает.

²⁰ См. также: Н. С. А в и л о в а, Об одном продуктивном словообразовательном типе глаголов в русском литературном языке XIX—XX веков, сб. «Образование новой стилистики русского языка в пушкинскую эпоху», М., 1964, стр. 385—386.

тех случаях, когда рядом с окказионально образованным причастием на *-ствующий* употребляется и соответствующий глагол на *-ствовать*, например: «игрок, возвращая броском мяч *шаманствующему* тренеру, дает присягу сражаться с противником не на живот, а на смерть. Конечно, *шаманствовать...*, как говорится, методика не наша» («Юность», 1965, 4).

2. Действительные причастия прошедшего времени (суффикс *-вш-/-ш-*) способны приобретать адъективное значение «находящийся в состоянии, возникшем в результате действия, обозначенного основой глагола». Переходность глагола, а также отнесенность действия в прошлое, вне его связи с настоящим (у глаголов несовершенного вида) исключают возможность развития адъективных значений у данного разряда причастий²¹. Указанное адъективное значение может развиваться только у причастий с суффиксом *-вш-/-ш-* от непереходных глаголов совершенного вида со значением длительного результативного состояния: в семантике таких глаголов видовые и залоговые значения наиболее слабы; например: *засохший, промокший, прогоркший, поблекший, побелевший, наболевший, помолодевший, обледеневший, заплесневевший*; ср. также: «Даша посмотрела на свои ... тоненькие, гибкие, хоть и *загрубевшие* пальцы» (Г. Николаева, Битва в пути); «и была пустынная площадь с бронзовым *позеленевшим* Овидием» (Ю. Нагибин, Хождение за четыре моря).

То же значение выражают отглагольные прилагательные с суффиксом *-л-* (только исторически являющиеся причастиями), также мотивированные основами непереходных глаголов с лексическим значением состояния²²: *засохлый, прогорклый, поблеклый, позеленелый, загрубелый, заплесневелый* и т. п. Ср.: «Они, как мячи, упруго прыгали по *заиндевевшим* кочкам» (О. Форш, Горячий цех); «сторож принял медведя за свинью и колотил *заиндевелого* зверя палкой» (К. пр. 10 X 1963); «он целое лето был в тайге, вышел, *одичавший*, от женщины совершенно отвык» (К. Ваншенкин, Большие пожары); «С утра Даша мчалась на *одичалое, заросшее* клевернице» (Г. Николаева, Битва в пути); «Третий период был выигран динамовцами. Их *запоздалый* ответный штурм внес оживление в ход матча. И только» (Сов. спорт 13 X 1965, статья с заголовком «*Запоздавший* ответ»).

Адъективное значение результативного состояния могут приобретать и причастия с суффиксом *-вш-/-ш-* от глаголов на *-ся* (этим они отличаются от прилагательных с суффиксом *-л-*, для которых невозможны мотивирующие глаголы на *-ся*), например: «солнце такое сильное, что его отражает даже побелевшая, *растрескавшаяся* земля» (В. Семин, Сто двадцать километров до железной дороги); «длинный, плохо подстриженный тип... в пропотевшей, *помявшейся* шведке» (там же); ср. *совершенно разошедшаяся* мебель и т. п.

3. Страдательные причастия настоящего времени (суффикс *-ем-/-им-*) могут получать адъективное значение «подвергающийся какому-либо действию», с возможным оттенком «способный подвергаться действию»²³ (значение, соответствующее адъективному значению действительных при-

²¹ См.: В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 276; И. А. Краснов, Переход причастий в прилагательные... Автореф. канд. диссерт., стр. 10.

²² См.: И. П. Чиркина, Особенности отглагольных прилагательных с суффиксом *-л-* в современном русском языке, «Р. яз. в шк.», 1956, 1, стр. 17.

²³ В причастиях данного типа «способный подвергаться действию» — лишь возможный (и не всегда реализующийся) семантический оттенок при основном и обычном адъективном значении «подвергающийся действию»; в этом их отличие от прилагательных с омонимичным суффиксом *-ем-/-им-*, рассмотренных выше (раздел II, п. 2), в которых «способный подвергаться действию» — основное словообразовательное значение типа.

частей настоящего времени, рассмотренному выше). Такое адъективное значение возможно в этих причастиях только при устранении творительного субъекта действия, например: *уважаемый товарищ, нескрываемый ужас, рекомендуемая литература, арендуемые земельные участки* и т.д.; ср. в качественном употреблении: «Одно из самых „посещаемых“ мест на ВДНХ сегодня — агрохимическая лаборатория» («Неделя», № 3, 12—18 I 1964); «ЮНЕСКО подсчитало, что самое исполняемое произведение в мире — „Танец с саблями“... Хачатуряна» (Сов. культ. 4 I 1966).

Подобные причастия распространены также в научно-технической терминологии. Ср., например, технические термины: *контролируемые процессы, приборы, сменяемые части машин, фондируемая продукция*; военные термины: *поддерживаемое соединение, пилотируемые воздушные средства, буксируемая гидроакустическая станция, возимые (подвижные) запасы*; лингвистические термины: *изменяемые, склоняемые, спрягаемые части речи, согласуемые слова, членимые слова, говоримая речь* (в смысле «устная»), *произносимые звуки речи* (как предмет изучения) и т. п.

4. Страдательные причастия прошедшего времени (суффиксы *-нн/-енн/-т-*) от глаголов совершенного вида способны выражать адъективное значение «подвергшийся какому-либо действию и содержащий результат этого действия», которое приобретает обычно при одиночном употреблении причастия, без пояснительных слов, часто — в составе словосочетаний терминологического характера. Среди этих причастий можно выделить две группы:

а) Причастия от префиксальных глаголов совершенного вида: *объединенный институт, усиленный наряд, направленное радиоизлучение, сгущенное молоко, замороженные продукты, очищенные томаты, покрашенная рубашка; истощенный человек, прославленный артист, утраченные иллюзии* и т. п. Ср. в качественном употреблении: «Впереди растилалось... обледенелое, скользкое, серо-белое *накатанное шоссе*» (К. Симонов, Жена приехала); «на краю стола и на стуле ...лежат любимые, отобранные из самых *отобранных книги*» (В. Солоухин, Терновник); «эти дороги самые *неизвестные*» (ВМ 17 XII 1963).

б) Причастия от беспрефиксальных двувидовых глаголов (главным образом глаголов на *-овать*): *иллюстрированный журнал, изолированная комната, форсированный марш, калиброванный снаряд, стандартизированное оборудование, плиссированная юбка, консервированные продукты, газированная вода, эмалированная посуда, нормированный язык* и т. д.; ср. также *раненый солдат (ранить — двувидовой глагол)*.

IV. Исходя из рассмотренных групп причастий, можно сделать вывод, что типичные адъективные значения, принимаемые различными разрядами причастий, сводятся к двум:

а) для причастий настоящего времени — значение действия, понимаемого как свойство, иногда с оттенком способности выполнять это действие или подвергаться ему, а также с оттенком предназначенности для его выполнения;

б) для причастий прошедшего времени совершенного вида — значение свойства, возникшего как результат совершенного действия.

Возможность приобретения обоих значений заключена в самой грамматической природе причастий, в грамматических глагольных значениях, которыми они обладают. Первое из указанных двух значений непосредственно вытекает из значения «расширенного» настоящего времени — значения вневременного действия, понимаемого как непроцессуальный признак. Второе значение — перфектное, результативное — не менее органично свойственно прошедшему времени глаголов совершенного вида. Оба значения закономерно возникают не только у причастий, но и у всех

глагольных форм. Поэтому нельзя говорить об отрыве таких причастий от системы глагола, и, следовательно, возникновение у причастий адъективных значений нельзя считать образованием новых слов. В любом случае это — лишь реализация возможных значений в рамках категории глагольности, возникающая в определенных синтаксических условиях — при устранении контекстуальных примет²⁴, указывающих на конкретный характер протекания действия: на его временную ограниченность и на отношение к другому предмету как субъекту или объекту (залоговая отнесенность).

Такому пониманию явления адъективации причастий не противоречит синонимичность некоторых причастий с адъективным значением суффиксальным типам прилагательных (см. выше в разделе о действительных причастиях). Из этого факта вряд ли можно сделать вывод о том, что такие причастия являются уже прилагательными. Следует лишь иметь в виду, что некоторые адъективные словообразовательные значения могут выражаться как суффиксальными прилагательными, так и определенными типами причастий.

Не противоречит такому пониманию адъективации и качественный характер адъективного значения некоторых причастий, с вытекающими отсюда свойствами, приближающими эти причастия к прилагательным (возможность образования краткой формы, наречий на *-о- / -е-*, сочетания со словами, обозначающими степень качества, и реже — образование степеней сравнения, способность употребляться в качестве однородных членов наряду с качественными прилагательными). Дело в том, что качественность адъективного значения причастий обычно индивидуальна, присуща лишь отдельным словам; она не поддается обобщению, типизации и часто выступает как окказиональное свойство, выявляющееся только в конкретном контексте. Адъективные значения в их типичном виде (результативность, предназначенность для выполнения действия и т. д.) относительны; качественность же вторична и «наслаивается» на относительность в некоторых причастиях²⁵. Качественность и относительность значения отдельных слов не может быть основанием и для разделения суффиксальных типов отглагольных прилагательных (ср., например, типы прилагательных с суффиксами *-тельн-, -н-*). Вопрос качественности-относительности адъективного значения причастий — это преимущественно вопрос полисемии причастия, а не омонимии причастия-прилагательного, т. е. вопрос семасиологический, а не словообразовательный²⁶.

Конечно, адъективные значения отдельных причастий (как качественные, так и относительные) могут в процессе употребления лексически обособляться, из-за чего возникают омонимы к причастиям. Такими омо

²⁴ Такими приметами являются не только пояснительные слова, подчиненные глаголу, но и широкий контекст — например, повествование, целиком отнесенное в план прошлого или ограниченное узкими временными рамками настоящего.

²⁵ Отчасти это связано с проблемой переносных значений. Так, причастия с переносными (метафорическими, метонимическими) значениями, как правило, более качественны, чем с прямыми номинативными значениями: ср., например, *леденящий ветер, холод и леденящая весть, леденящий ужас; истасканные туфли и истасканный человек; освежающий напиток и освежающее впечатление; заболоченные участки земли и «люди заболоченной мысли»* (К. пр. 26 XII 1963); ср. также *потрепанный одежда и потрепанный вид, измученный человек и измученные глаза, взволнованный человек и взволнованный вид; рыдающие, лающие звуки и т. п.*

²⁶ И. А. Краснов, занимаясь вопросами адъективации, вызванной лексическими сдвигами в причастиях, справедливо подчеркивает: «Круг таких причастий (причастий на *-ий* с адъективным значением. — В. Л.), вовлеченный в сферу индивидуального употребления, очень широк, и чтобы выбрать из него слова, получившие новое, качественное значение, нужны специальные исследования, что является задачей семасиологов и лексикологов» (И. А. К р а с н о в, указ. диссерт., стр. 270).

ними, развившимися из причастий, являются в современном языке, например, *следующий* (день, год), *текущий* (счет, интересы), *вызывающий* (тон), *выдающийся* (ученый), *начинающий* (учитель, писатель), *блестящий* (доклад), *квалифицированный* (работник), *одушевленный* (как грамматический термин) и др. Подобные слова, возникшие лексико-семантическим путем, уже в значительной степени обособились семантически не только от причастий, но и от соответствующих глаголов. Но это явление также не имеет отношения к синхроническому словообразованию; оно может изучаться только в историко-лексикологическом аспекте.

Таким образом, адъективация причастий с синхронической точки зрения — это прежде всего наличие некоторых адъективных значений в рамках категории причастия, не приводящее к появлению новых слов — прилагательных. Постепенное же обособление новых омонимов на почве развития адъективных значений отдельных причастий — явление лексическое и носящее диахронический характер.

Отсюда можно сделать практический вывод, что адъективация причастий не должна рассматриваться в описательной грамматике как особый способ словообразования прилагательных. Типичные адъективные значения, присущие разным разрядам причастий, могут быть рассмотрены при описании грамматических значений причастия как особой морфологической категории.

Очевидно, что аналогичный подход может быть применен и к явлению «адвербиализации» деепричастий.

В. З. ПАНФИЛОВ

К ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ НИВХСКОГО ЯЗЫКА

I. Типологические исследования начинают занимать в последнее время все более значительное место в советском и зарубежном языкознании; интенсивно разрабатываются как теоретические основы типологических исследований (вопрос о соотношении априорно-дедуктивных и индуктивных методов при создании теории языковых типов, о наборе типологических признаков и их месте при определении принадлежности того или иного конкретного языка к определенному языковому типу и т. п.), так и конкретная проблематика, связанная с установлением типологической характеристики отдельных языков. При этом все еще недостаточный уровень разработанности общих принципов типологических исследований, а также таких центральных понятий, как понятие о слове и словосочетании, сказывается и на решении вопросов о типологической характеристике ряда конкретных языков. В частности, вот уже в течение длительного времени продолжает оставаться предметом дискуссии вопрос о наличии особого морфологического типа инкорпорирующих языков и о принадлежности к этому типу некоторых палеоазиатских языков. Ряд авторов рассматривает некоторые из этих языков как инкорпорирующие, поскольку, по их мнению, сочетания определения и определяемого, прямого дополнения и сказуемого и некоторые другие сочетания с зависимыми членами образуют в этих языках нечто подобное сложному слову. К числу инкорпорирующих языков некоторыми авторами, в частности Е. А. Крейновичем, причисляется также и нивхский язык.

В третьем номере журнала «Вопросы языкознания» за 1966 год опубликована статья Е. А. Крейновича «Об инкорпорировании и примыкании в нивхском языке»¹, посвященная этой проблеме, где высказаны новые соображения для доказательства выдвигавшегося им ранее тезиса о нивхском языке как представителе инкорпорирующего типа. В своих выводах Е. А. Крейнович прежде всего отмечает, что наиболее характерной особенностью нивхского языка, как и других языков инкорпорирующего типа, является наличие «ярко выраженной вариантности» строевых единиц этих языков — фонем, морфем и слов. Однако вариантность строевых единиц языка не может быть признана специфической особенностью какого-либо одного из морфологических типов языков: едва ли можно найти язык, в котором фонемы, морфемы и другие языковые единицы не имели бы вариантов; что же касается степени вариативности языковых единиц, то флективные языки в этом отношении во всяком случае не уступают тем языкам, которые Е. А. Крейнович причисляет, в основном, по этому признаку к «инкорпорирующим». Из предыдущего изложения статьи (см. стр. 36—39), а также из пункта 3 выводов (стр. 49) следует, что эти языки тем не менее рассматриваются Е. А. Крейновичем как инкорпорирующие на том основании, что в них слова имеют свободные и несво-

¹ Ссылки на страницы этой статьи далее приводятся в тексте.

бодные варианты. Так как этот последний тезис является центральным в системе доказательства Е. А. Крейновича, следует остановиться на нем подробнее.

Е. А. Крейнович различает два вида несвободных вариантов слов: фонетические и морфологические варианты. Несвободные фонетические варианты слов возникают вследствие того, что в нивхском языке в определенных и объектных словокомплексах (определение + определяемое, прямое дополнение + сказуемое) начальные щелевые и смычные в определенных комбинаторных условиях чередуются. Несвободные морфологические варианты, исключая существительные, образуются «в результате утраты свободными словами своих аффиксов» (стр. 37)², когда они попадают в те же «словокомплексы». Е. А. Крейнович далее пишет, что существительные, в основном, имеют только фонетические варианты, «в других же частях речи несвободные варианты слов представлены как раз морфологическими вариантами...» (стр. 37)³. По мнению Е. А. Крейновича, между свободными и несвободными вариантами слов существует следующее принципиальное различие: «Свободные варианты слов выражают при- сущее им значение вне всякой зависимости от контекста, представляя собой законченные и целостные звуковые сигналы, несущие информацию о том или ином явлении действительности. Несвободные варианты слов зависят целиком от контекста и без него не представляют собой слов (т. е. законченных и целостных звуковых сигналов). Свободные варианты слов реализуются на лексическом и синтаксическом уровнях, а несвободные — на синтаксическом» (стр. 39). Е. А. Крейнович в этой связи утверждает также, что «несвободные варианты слов вне синтаксического уровня не представляют собою лексических единиц, адекватных свободным вариантам слов. Таким образом, несвободные варианты слов находятся в отношении дополнительной дистрибуции к свободным вариантам слов» (стр. 49).

На основании приведенных выше положений Е. А. Крейновича можно было бы предполагать известное сближение двух точек зрения на природу так называемого инкорпорирования в нивхском языке, которые высказывались ранее Е. А. Крейновичем и автором настоящей статьи, поскольку в отличие от предшествующих своих работ и в том числе его статьи 1958 г. по этому вопросу⁴, Е. А. Крейнович определяет здесь компоненты инкорпорированного комплекса не как основы, а как несвободные варианты сл о в. Однако в статье 1966 г. Е. А. Крейнович подвергает критике высказанную нами точку зрения, согласно которой компоненты «инкорпорированного комплекса» представляют собой слова, а не основы слов, и утверждает, что во всех этих случаях компоненты «инкорпорированного комплекса» представляют собой или корневые основы, или вторичные основы, если они получают показатели тех или иных грамматических значений (стр. 38, 39, 40, 47, 50). Е. А. Крейнович возражает также против того нашего положения, что «инкорпорированные комплексы» нивхского языка представляют собой словосочетания, и продолжает отстаивать свою точку зрения, согласно которой в этих случаях представлены сложные слова, хотя технический прием словосложения и используется здесь

² Ср. также: «Несвободные варианты таких слов (местоимений и глаголов. — В. П.) образуются вследствие того, что свободные слова (? — В. П.) утрачивают один из своих аффиксов и предстают в усеченном виде, либо утрачивают все свои аффиксы» (стр. 38—39).

³ Заметим попутно, что можно найти целый ряд примеров «несвободных фонетических вариантов» и среди глаголов (ср., например, глаголы, начинающиеся со щелевых: *ʒud'* «мыть кого-либо, что-либо», *oʒla d'ud'* «мыть ребенка» и т. п.). Примеры такого рода приводятся и в статье Е. А. Крейновича (см. стр. 38, 44).

⁴ Е. А. Крейнович, Об инкорпорировании в нивхском языке, ВЯ, 1958, 6,

для выражения синтаксических отношений (стр. 40, 42, 45, 50). Трудно согласиться с этими высказываниями Е. А. Крейновича: во-первых, вариантами слов, независимо от того, определяются ли они как свободные или несвободные, не могут быть основы слов. Здесь можно говорить лишь о том, что в каких-то случаях вариант слова совпадает с основой, но не является основой; во-вторых, если в составе инкорпорированных комплексов представлены варианты слов, хотя бы и несвободные, «инкорпорированные комплексы» должны рассматриваться как словосочетания, а не как сложные слова⁵. При ближайшем рассмотрении оказывается фактически необоснованным и весьма противоречивым само положение Е. А. Крейновича о наличии в нивхском языке свободных и несвободных вариантов слова.

Прежде всего это касается понятия несвободного морфологического варианта слова. Известно, что к морфологическим вариантам слова могут быть отнесены только такие формы этого слова, которые имеют одно и то же значение. Этого нельзя сказать о формах слова, которые рассматривает в качестве несвободных морфологических вариантов Е. А. Крейнович: все эти формы слова, которые по Е. А. Крейновичу, возникают в результате опущения тех или иных аффиксов свободного морфологического варианта, имеют иные значения, чем их свободные варианты. Так, например, если взять глагольные формы, то форма глагола на *-d'* и другие многочисленные формы глагола⁶ являются финитными формами глагола, будучи членами парадигмы наклонения. В отличие от этого формы глагола, употребляющиеся в функции определения (мы их рассматриваем как причастные формы глагола), не являются финитными формами глагола и не характеризуются категорией наклонения. Как мы уже отмечали ранее, в функции определения может употребляться также и глагольная форма на *-d'*⁷. Однако в этих случаях она имеет иное значение, чем глагольная форма, не включающая суффикса *-d'*. Так, например, имеем: *муд'* «умирать», *му н'ивх* «умирающий человек», *муд' ны* «вещи умершего». В последнем случае, хотя глагол в форме на *-d'* и выступает как определение, он употребляется здесь вместо существительного, т. е. заместительно (ср. *му н'ивх ны* «вещи умершего человека») ⁸. То же самое

⁵ Такого рода противоречия в понимании природы «инкорпорированных комплексов» и их компонентов характерны и для предшествующих работ Е. А. Крейновича. Ср.: «К синтетическим чертам нивхского языка мы относим слияние именных и глагольных основ друг с другом: прямого дополнения с сказуемым и определения с определяемыми словами. Слияние воедино нескольких именных и глагольных основ образует довольно сложные словосочетания» [Е. А. Крейнович, Нивхский (гиляцкий) язык, сб. «Языки и письменность народов Севера», ч. III, М.—Л., 1934, стр. 183; разрядка здесь и далее наша.— В. II.]; «Чередования согласных звуков способствуют сцеплению основ основами в целые синтетические сочетания, свидетельствуя этим самым об отношении слов друг к другу в предложении...» (Е. А. Крейнович, Фонетика нивхского (гиляцкого) языка, М.—Л., 1937, стр. 28).

⁶ Это обстоятельство приходится подчеркивать, так как Е. А. Крейнович, утверждая, что глагол употребляется в функции определения в усеченном виде как основа, всегда указывает в этой связи на то, что он не имеет в этих случаях суффикса *-d'*. Но здесь с тем же основанием можно было бы говорить об «усечении» и других суффиксов наклонения глагола.

⁷ См.: В. З. Панфилов, Проблема слова и «инкорпорирование» в нивхском языке, ВЯ, 1960, 6, стр. 56.

⁸ Е. А. Крейнович, признавая в статье 1966 г. возможность использования в функции определения глаголов и указательных местоимений в форме на *-d'*, утверждает, однако, что в этом случае мы имеем основу другого слова, а не то же самое слово, как в случае, когда они используются в этой же функции без суффикса *-d'* (стр. 39, примеч. 1). В нивхском языке при субстантивации глаголов в форме на *-d'* действительно образуются новые слова, однако в приведенных случаях мы имеем не субстан-

следует сказать и об употреблении указательных и некоторых определенных местоимений в форме на *-d'* и без этого суффикса: эти формы имеют различные значения, и, в частности, употребляясь в функции определения, форма на *-d'* этих местоимений также имеет субстантивное значение, в то время как форма без суффикса *-d'* этого значения не имеет. Ср., например: *hy haq* «эта шапка», *hyd' haq* «этого (человека) шапка» и т. п.

В нивхском языке, как и во всяком другом языке, действительно есть морфологические варианты слов, т. е. такие различные формы слов, которые имеют одно и то же значение и в которых, следовательно, те или иные морфемы уже не передают свойственного им значения (I тип) или различие в морфемном составе которых не сопровождается различием в значении (II тип). Так, к первому типу морфологических вариантов слова могут быть отнесены, например, такие случаи, когда некоторые наречия имеют параллельные формы, включающие какой-либо из падежных суффиксов, ср.: *n'in'aq*, *n'in'aqxir* «немного» (*-xir* — суффикс твор. падежа); *pladr*, *pladrtox*, *pladrkir*, *pladrux* «вдруг» (*-tox* — суффикс дат.-напр. падежа, *-kir* — суффикс твор. падежа, *-ux* — суффикс местн.-исх. падежа); *tukttox*, *tukt* «сюда» (*k* < *ng* — исторически суффикс местн.-исх. падежа, *-tox* — суффикс дат.-напр. падежа); *aguin*, *ain* «там далеко» (*e* < *ng* — исторически суффикс местн.-исх. падежа, *-uin* — суффикс местн. падежа). Ко второму типу морфологических вариантов относятся такие случаи, когда одна и та же форма слова может быть образована при помощи различных аффиксов. Так, например, форма предельн. падежа в нивхском языке (его амурском диалекте) образуется при помощи трех различных суффиксов: *-m'xa* ~ *-puxa*, *-toxo* ~ *-roxo* ~ *-doxo* и *-m'yky* ~ *-puyky*. Вопрос о морфологических вариантах в нивхском языке пока еще не может считаться в достаточной мере разработанным, однако уже сейчас можно сказать, что это явление в нивхском языке как языке агглютинативного типа развито в гораздо меньшей степени, чем, например, в языках флективных.

Что касается вопроса о фонетических вариантах слова, то в нивхском языке действительно в зависимости от комбинаторных условий слова приобретают различный фонетический облик. Однако, во-первых, это касается только таких слов, которые начинаются со смычных или щелевых (при этом также не всех: так, существительные, начинающиеся со щелевых, не имеют такого рода фонетических вариантов)⁹; во-вторых, решая вопрос о фонетическом варьировании слова в нивхском языке, нельзя не учитывать той точки зрения, согласно которой к фонетическим вариантам слова не относятся случаи, имеющие регулярный характер в данном языке и связанные с правилами соединения слов в речи¹⁰. С этой точки зрения, все случаи варьирования фонетического облика слова, которые рассматриваются Е. А. Крейновичем как фонетические варианты слова, таковыми не являются. И даже не принимая этой точки зрения, необходимо по крайней мере выделить два типа фонетических вариантов слова

тивадию, а заместительное употребление глаголов в форме на *-d'* (см. об этом подробнее: В. З. П а н ф и л о в, Грамматика нивхского языка, ч. 1, М.—Л., 1962, стр. 64—68). Тем более это верно в отношении указательных местоимений: в случаях *hy haq* «эта шапка» и *hyd' haq* «этого шапка» представлено, конечно, одно и то же слово, а не разные слова. В противном случае лишается всякого основания утверждение самого Е. А. Крейновича о том, что в первом случае местоимение дается в усеченном виде.

⁹ См. подробнее: В. З. П а н ф и л о в, Грамматика нивхского языка, ч. 1, стр. 15—16.

¹⁰ См.: А. И. Смирницкий, К вопросу о слове (проблема «тождества слова»), «Труды Ин-та языкознания [АН СССР]», IV, 1954, стр. 32—34; О. С. А х м а н о в а, Очерки по общей и русской лексикологии, М., 1957, стр. 195—196.

в нивхском языке: 1) фонетические варианты слова, обусловленные фонетическими правилами соединения слов в предложении и носящие регулярный характер; 2) фонетические варианты слова, не обусловленные фонетическими правилами соединения слов в предложении и не носящие регулярного характера. К последнему типу фонетических вариантов слова, например, относятся: *ангур/мангур* «сильно»; *ллили/лэлэ* «очень»; *н'рша-кльк/н'рша-клькри* «сразу», *н'аур/н'ар* «крыса»¹¹ и т. д.

Далее, как показывает анализ, утверждение Е. А. Крейновича о том, что выделяемые им типы несвободных морфологических и фонетических вариантов слова находятся в отношении дополнительной дистрибуции к свободным вариантам слова, не совпадает с действительностью. Говоря о том, что фонетические варианты слова находятся в отношении дополнительной дистрибуции, Е. А. Крейнович, насколько об этом можно судить, имеет в виду, во-первых, фонетическое окружение и, во-вторых, синтаксическую позицию этих вариантов, иначе: если «несвободные фонетические варианты» встречаются только в «инкорпорированных комплексах», то «свободные фонетические варианты» слов выступают только вне «инкорпорированных комплексов» (см. стр. 37). Однако при определенных фонетических условиях свободный фонетический вариант слова может выступать также в составе так называемого «инкорпорированного комплекса». Так, например, если, следуя за Е. А. Крейновичем, считать «свободным фонетическим вариантом» *тыф* «дом», а несвободными фонетическими вариантами того же слова *-дыф*, *-рыф*, то в «инкорпорированном комплексе» *н'аур тыф* «дом крысы» это слово выступает в виде свободного фонетического варианта *тыф* (ср. в иных комбинаторных условиях — *ытык рыф* «дом отца», *ыкын дыф* «дом старшего брата» — то же слово выступает в виде «несвободных фонетических вариантов»).

Под дистрибуцией «свободных и несвободных морфологических вариантов слова» Е. А. Крейнович имеет в виду их позицию соответственно вне «инкорпорированного комплекса» и в его составе (см. стр. 37—39). Анализ соответствующих фактов показывает, однако, что выделяемые Е. А. Крейновичем «несвободные морфологические варианты» слова в нивхском языке выступают не только в составе «инкорпорированного комплекса», но также и вне его. При наличии у имени двух определений, выраженных, например, качественными глаголами, лишь одно из этих глагольных определений включается в состав «инкорпорированного комплекса»; второе же глагольное определение, непосредственно не примыкающее к определяемому, остается вне «комплекса» (например, *пила ур-ла дыф* «большой хороший дом», где первое глагольное определение *пила* «большой», с точки зрения Е. А. Крейновича, являющееся, как и последующее определение, несвободным морфологическим вариантом, находится вне «комплекса»)¹². Более того, как мы уже отмечали ранее¹³, в некоторых особых случаях «несвободный морфологический вариант» глагольного слова, т. е. глагол, не оформленный суффиксом *-d'*, может использоваться в функции сказуемого, свойственной «свободному морфологическому варианту» этого слова, например: *ны ныт ан'т'ый ивн нар-мад' - напа q'au* «назавтра опять их ждет — все еще нет» (*q'au* «нет» — глагол с отрицательным значением «нет, не имеется», выступая в функции сказуемого, дается в форме, совпадающей с основой); *Чи йангур лыт тыв-*

¹¹ См. также: В. З. П а н ф и л о в, Грамматика нивхского языка, ч. 2, М.—Л., 1965, стр. 178—182.

¹² Наличие такого рода случаев вынужден признать и Е. А. Крейнович (см. стр. 40); подробнее об этом см. ниже, стр. 60—62.

¹³ См.: В. З. П а н ф и л о в, Проблема слова и «инкорпорирование» в нивхском языке, стр. 56; е г о ж е, Грамматика нивхского языка, ч. 2, стр. 119—120.

на? «Ты как сделал дом?» (*мыт* «сделал» — глагол, выступает в функции сказуемого, хотя и занимает позицию определения, и дается в форме, совпадающей с основой). Таким образом, «несвободный морфологический вариант» глагола может выступать вне инкорпорированного комплекса, т. е. в функции, которая, по мнению Е. А. Крейновича, свойственна только его «свободным морфологическим вариантам».

С другой стороны, «свободные морфологические варианты» выступают также и в составе «инкорпорированного комплекса». Так, например, глагол в форме на *-d'* может быть употреблен в функции определения (см. *муд' ны* «вещи умершего»).

Касаясь вопроса о том, находятся ли в отношении дополнительной дистрибуции «свободные и несвободные морфологические варианты слов», нет необходимости рассматривать существительные или числительные, поскольку, как это признает и Е. А. Крейнович (стр. 39—41), и те и другие в составе «инкорпорированного комплекса» выступают в той же форме, что и вне его (ср. *ытык* «отец»; *ытык вид'* «отец идет»; *ытык во* «деревня отца», *ытык нынд'* «искать отца»; *ытыкху вид'* «отцы идут»; *ытыкху во* «деревня отцов» и т.п.)¹⁴.

С теоретической точки зрения, как и с точки зрения своей фактической обособности, вызывает сомнения противопоставление «свободных» и «несвободных» вариантов слов как реализуемых на разных языковых уровнях, а именно «свободного варианта слова» как реализуемого на лексическом и синтаксическом уровнях и «несвободного варианта слова» как реализуемого только на синтаксическом уровне. Совершенно очевидно, что варианты одной и той же языковой единицы не могут реализоваться, а следовательно, и принадлежать к различным языковым уровням. Выдвигая это положение, Е. А. Крейнович исходит из того, что значение «свободного варианта слова» выявляется и вне контекста, в то время как значение его «несвободного варианта» выявляется только в контексте. В подтверждение этого положения Е. А. Крейнович ссылается на тот, сам по себе бесспорный факт, что «несвободные варианты слова» могут совпадать с «вариантами» других слов (например, глагол *ршад'* «жарить» имеет «несвободный вариант» *т'ад'* (*т'ус т'ад'* «мясо жарить»), который совпадает со «свободным вариантом слова» *т'ад'* «дышать»; глагол *хэд'* «сказать кому-нибудь» имеет «несвободный вариант» *к'эд'* (*п'ранр к'эд'* «своей сестре сказать»), совпадающий со «свободным вариантом» глагола *к'эд'* «ставить сеть» и т. д. Однако этот факт ни в коей мере не может служить доказательством выдвинутого

¹⁴ Тезис о наличии «свободных» и «несвободных» вариантов слова Е. А. Крейнович распространяет на чукотский и корякский языки, как и положение о том, что эти варианты слова находятся в отношении дополнительной дистрибуции. Однако применение понятия «морфологический вариант слова» по отношению к тем формам слова этих языков, одни из которых выступают в составе «инкорпорированного комплекса», а другие вне этого комплекса, также неправомерно, ибо эти формы имеют различное значение: зависимые компоненты «инкорпорированных комплексов» выступают вне этих комплексов обычно в тех случаях, когда на них падает логическое ударение.

Поскольку же «свободные и несвободные морфологические варианты» слова в этих языках используются в одном и том же синтаксическом окружении параллельно, нет оснований считать, что они находятся в отношении дополнительной дистрибуции друг к другу. Вместе с тем нельзя не учитывать того существенного различия, которое имеется между структурой «инкорпорированных комплексов» в корякском и чукотском языках, с одной стороны, и в нивхском, с другой стороны. Это различие, в частности, состоит в том, что в первых языках зависимый компонент «инкорпорированного комплекса» не получает показателей грамматических категорий (см. об этом подробнее: В. З. Панфилов, К вопросу об инкорпорировании, ВЯ, 1954, 6; е го же, Об определении понятия слова, сб. «Морфологическая структура слова в языках различных типов», М.—Л., 1963, стр. 142—146).

Е. А. Крейновичем положения. Дело в том, что в нивхском языке можно выделить два основных типа омонимии, а именно полную омонимию, когда то или иное слово совпадает с каким-либо другим словом во всех своих формах, и частичную омонимию, когда какое-либо слово совпадает с другим словом только в части своих форм (омоформы). Иначе говоря, если пользоваться терминологией Е. А. Крейновича, в нивхском языке имеет место не только омонимия «несвободных» вариантов слов, но и омонимия слова во всех его «свободных» и «несвободных» вариантах, и таким образом в этом отношении между «несвободными» и «свободными» вариантами слова не существует принципиального различия. Так, например, полными омонимами или омонимами в их «свободных» формах являются: *ршуд'* «1) точить что-либо, 2) следовать за кем-либо, догонять кого-либо, 3) собирать что-либо, разбросанное на большом пространстве, 4) идти на лыжах»; *фид'* «1) сверлить что-либо, 2) носить обувь, 3) находиться в чем-либо, 4) ослабевать, стихать»; *рад'* «1) светить, 2) пить что-либо, 3) ставить ловушку, 4) попасть в кого-либо»; *ршад'* «1) колоть дрова, 2) жарить что-либо»; *год'* «1) болеть, 2) злиться на кого-либо, 3) плыть к другому берегу в море, идти в доме от одной стены к другой»; *магд'* «1) приставать к берегу, 2) готовить якулу»; *гос* «1) ворона, 2) прут, на который нанизывается корюшка»; *пук* «1) носок у обуви, 2) гриб, 3) морда осетровых и лососевых рыб»; *пых* «1) кукушка, 2) постоянно». Число подобных примеров можно было бы значительно увеличить, а также дополнительно привести материалы относительно полисемии слов нивхского языка в их «свободных» и «несвободных» вариантах. Однако уже приведенные материалы достаточно ясно говорят о том, что в нивхском языке значения «свободных» вариантов также выявляются в контексте, как и значения их «несвободных» вариантов. В связи с этим вряд ли возможно усматривать специфику нивхского языка именно как языка инкорпорирующего в том, что в нем значения «несвободных» вариантов слов выявляются только в контексте.

Нивхский язык не представляет собой исключения в том отношении, что в нем различные значения одного и того же слова или значения омонимичных слов в их «свободных» и «несвободных» вариантах реализуются или выявляются в контексте. Если бы это было не так, то не имела бы никакого реального основания одна из структуральных методик установления и дифференциации различных значений слова по его сочетаемости с другими словами.

II. Итак, утверждая, с одной стороны, что компоненты «инкорпорированных комплексов» представлены «несвободными вариантами слов», Е. А. Крейнович вместе с тем рассматривает их как основы, а весь «инкорпорированный комплекс» не как словосочетание, а как сложное слово, являющееся единицей синтаксического уровня. В связи с этим Е. А. Крейнович считает ошибочными не только высказанное нами положение о том, что «инкорпорированный комплекс» в нивхском языке представляет собой словосочетание, а его компоненты обладают всеми существенными признаками слова, но и те определения слова и словосочетания, которые даются в наших работах. Эти определения следующие: «Слово как лексико-грамматическая языковая единица характеризуется в отличие от морфемы (или компонента сложного слова) относительно самостоятельным значением и способностью выразить понятие в линейном синтагматическом ряду, а в отличие от словосочетания (свободного) — семантической цельностью (значения структурных компонентов слова и в том числе компонентов сложного слова не выделяются в синтагматическом ряду и ни один из них в отдельности не может выразить понятия); в отличие от морфемы (или компонента сложного слова) — способностью всту-

пать в синтаксические связи в составе предложения, а в отличие от свободного словосочетания — синтаксической цельностью (ни один из структурных компонентов слова и в том числе ни один из компонентов сложного слова не может иметь синтаксических связей в составе предложения); в отличие от морфемы (или компонента сложного слова) слово выступает как член своего собственного парадигматического ряда»¹⁵. «Таким образом, в отличие от сложных слов свободные словосочетания, в том числе и те, моделям которых следуют сложные слова, характеризуются следующими признаками: 1) каждый из его членов сохраняет свое лексическое значение и тем самым способен самостоятельно выражать какое-либо понятие; 2) каждый из его членов находится в определенных синтаксических отношениях с другими членами словосочетания и сохраняет способность иметь подобные отношения со словами-членами других словосочетаний; 3) каждый из его членов выступает как член своего собственного парадигматического ряда, т. е. как одна из возможных форм слова»¹⁶.

Приведя лишь первую часть данного нами определения слова (кончая словами «семантической цельностью»), Е. А. Крейнович, опровергая его, пишет: «Можно ли считать, что в нивхском языке слово способно выразить понятие т о л ь к о (разрядка наша.— В. II.) в линейном синтагматическом ряду? Ведь слова выражают понятия и на лексическом уровне вне синтагматического ряда» (стр. 45). Такая критика приведенного выше определения слова вызывает по крайней мере недоумение, так как здесь совсем не говорится о том, что «слово способно выразить понятие т о л ь к о (разрядка наша.— В. II.) в линейном синтагматическом ряду».

«Доказав» путем такой простой процедуры неудовлетворительность данного нами определения слова, далее Е. А. Крейнович вместо того, чтобы показать, что компонентам «инкорпорированного комплекса» не свойственны те признаки слова, которыми с его точки зрения в действительности должно обладать слово, пытается доказать, что компоненты «инкорпорированного комплекса» не имеют тех признаков слова, которые даются в нашем определении этой языковой единицы, основывающемся на семантической, морфологической и синтаксической характеристике слова. По мнению Е. А. Крейновича, ошибочен наш тезис о том, что каждый из знаменательных компонентов «инкорпорированного комплекса», как и любой из членов словосочетания, «сохраняет свое лексическое значение и тем самым — способен самостоятельно выражать какое-либо понятие»¹⁷, ибо «несвободные варианты слов не способны самостоятельно выражать значения, а это доказывает, что они не обладают функцией номинации, характеризующей слова (имеются в виду слова, относящиеся к знаменательным частям речи)» (стр. 47).

Но, во-первых, выдвигая семантический признак, мы строго разграничиваем значение слова и то понятие, которое может быть выражено этим словом, что видно и из тех определений слова и словосочетания, которые приводились выше. Для Е. А. Крейновича это различие, по-видимому, не существует, так как если в нашем определении говорится о том, что каждый из знаменательных компонентов способен выразить понятие, то он утверждает, что «несвободные варианты слов не способны самостоятельно выражать з н а ч е н и я» (стр. 47; разрядка наша.— В. II.); во-вторых, это утверждение Е. А. Крейновича противоречит его же высказываниям о том, что «в составе словокомплексов (т. е. „инкорпорирован-

¹⁵ В. З. П а н ф и л о в, Грамматика нивхского языка, ч. 2, стр. 28.

¹⁶ Там же, ч. 1, стр. 33.

¹⁷ Там же.

ных комплексов". — В. П.) эти корневые алломорфы реализуют свойственное им лексическое значение» (стр. 46), или о «наличии у слова двух морфологических вариантов (т. е. „свободного“ и „несвободного“. — В. П.), выражающих одно и то же лексическое значение» (стр. 49; разрядка наша. — В. П.). Очевидно также, что если несвободные варианты слова в составе «инкорпорированного комплекса» выражают свойственное им лексическое значение, они не могут не обладать и номинативной функцией.

Несомненно также, что каждый из таких знаменательных компонентов «инкорпорированного комплекса» сохраняет способность выразить понятие. Это проявляется в том, что на каждом из них можно сделать логическое ударение, т. е. в том, что каждый из них может выступить в роли логического предиката суждения¹⁸. В нивхском языке существуют различные способы выражения логического предиката в структуре предложения. Как нами уже отмечалось, универсальным средством такого выражения является интонация¹⁹. Однако грамматическим показателем логического предиката в нивхском языке являются также специальные морфемы и служебные слова; значительно реже в этой функции используется инверсия²⁰. Так, в предложении с модальным значением простой достоверности в качестве показателя логического предиката суждения используется специальная морфема *-та ~ -ра ~ -да*, которая может быть присоединена к любому члену предложения (исключая определение), выражающему логический предикат. Так, например, имеем: *Хэвгунда палдох вид'* «Именно Хэвгун в лес пошел» (*Хэвгунда* «именно Хэвгун», *-да* — предикативный суффикс); *Хэвгун палдохта* «именно в лес», *-дох* — суффикс дат.-напр. падежа, *-та* — предикативный суффикс); *Хэвгун тукира ичд'* «Хэвгун именно осетра поймал» (*тукира* «именно осетра», *-ра* — предикативный суффикс). Е. А. Крейнович выражает сомнение в правильности последнего примера, так как, во-первых, в опубликованных нами в качестве приложения ко второй части «Грамматики нивхского языка» фольклорных текстах нет случаев, когда бы прямое дополнение оформлялось суффиксом *-та ~ -ра ~ -да*, а, во-вторых, при проверке этого примера у нивхов Охотского берега Сахалина они указывали Крейновичу, что «правильно говорить иначе: они повторяли сказанное предложение, инкорпорируя в глагол прямое дополнение без суффикса *-ра*. Для данного случая, — продолжает далее Е. А. Крейнович, — относящегося к амурскому диалекту, это выглядело бы так: *Хэвгун туки-худ'* „Хэвгун осетра убил“» (стр. 46). По поводу этого высказывания Е. А. Крейновича следует сказать следующее. Нет ничего удивительного в том, что в тех фольклорных текстах, которые опубликованы нами, нет случаев, когда бы прямое дополнение было оформлено суффиксом *-та ~ -ра ~ -да*: в них нет и многих других форм, и они отнюдь не представляют собой полного корпуса нивхского языка. Во-вторых, как это известно Е. А. Крейновичу, нами приводятся примеры, записанные от нивхов — представителей амурского диалекта во время неоднократных экспедиций в районы их заселения, и эти примеры следовало бы проверять у представителей именно этого диалекта, а не у нивхов Охотского

¹⁸ См.: В. З. Панфилов, Проблема слова и «инкорпорирование» в нивхском языке, стр. 53; е го же, Грамматика нивхского языка, ч. 1, стр. 29—30; е го же, Грамматика и логика, М.—Л., 1963, стр. 15 и сл.

¹⁹ См.: В. З. Панфилов, Грамматика и логика, стр. 20—21; е го же, Грамматика нивхского языка, ч. 2, стр. 98, 103; ср.: В. Н. Савельева, [реп. на кн.:] В. З. Панфилов, Грамматика нивхского языка, ч. 1 и 2, ВЯ, 1966, 1, стр. 124—125.

²⁰ См.: В. Н. Савельева, указ. соч., стр. 125.

побережья Сахалина. Что касается представителей амурского диалекта нивхского языка, то они не только понимают такие формы, но и сами употребляют эти формы в повседневной речи, что подтвердила также и дополнительная проверка, которую по нашей просьбе провел с нивхами (представителями амурского диалекта) — студентами пед. ин-та им. А. И. Герцена преподаватель нивхского языка, нивх по национальности Ч. М. Таксами. При этом следует также иметь в виду, что если предложенье характеризуется модальностью не простой, а, например, категорической достоверности, то, если логический предикат выражается не сказуемым, а иным членом, при нем ставится служебное слово *habar* или *haγutlɛ*. Например: *Хэвгун habar палдох вид'* «Конечно, Хэвгун в лес пошел»; *Хэвгун палдох habar вид'* «Хэвгун, конечно, в лес пошел»; *Хэвгун тукки habar иγд'* «Хэвгун, конечно, осетра поймал».

Таким образом, прямое дополнение может сочетаться и с другими предикативными показателями, а не только с суффиксом *-та ~ -ра ~ -да*.

Нами уже отмечалось, что «возможны и такие случаи, когда интонация (логическое ударение) выступает единственным показателем логического предиката, а предикативные морфемы теряют свою значимость предикативного показателя» и в этой связи приводился пример, когда логический предикат выражается определением²¹. К этому следует добавить, что то же явление наблюдается и в других случаях, когда логический предикат выражается иными членами предложения (прямым и косвенным дополнением, а также обстоятельством). В результате имеем, например, следующие параллельные случаи: *Хэвгун тукки ра иγд'* и *Хэвгун тукки худ'ра* «Хэвгун поймал именно осетра» — в первом случае прямое дополнение, выражающее логический предикат, выделяясь интонацией, оформляется еще предикативным суффиксом *-ра*, а во втором случае то же прямое дополнение выделяется только интонацией, а предикативный суффикс, теряющий свое значение предикативного показателя, присоединяется к сказуемому. Однако и в этом случае прямое дополнение как компонент «инкорпорированного комплекса», выражающий логический предикат, несомненно, полностью сохраняя свое лексическое значение, самостоятельно передает понятие.

Касаясь морфологической характеристики зависимых компонентов «инкорпорированного комплекса», Е. А. Крейнович утверждает, что они представляют собой основы слов, а не слова в той или иной форме. Однако это утверждение находится в явном противоречии с тем фактом, что зависимые «компоненты инкорпорированного комплекса» характеризуются почти всеми грамматическими категориями соответствующих частей речи и получают соответствующее оформление в составе «инкорпорированных комплексов». Чтобы избежать противоречия, Е. А. Крейнович объявляет все соответствующие грамматические показатели словообразующими. «Уже в своих первых работах по нивхскому языку мы указывали, — пишет он, — что прямое дополнение может сливаться с глаголом не только в виде чистой основы, но и при оформлении ее некоторыми словообразовательными компонентами — послелогоми, суффиксом мн. числа, соединительными суффиксами» (стр. 43; разрядка наша. — В. П.).

Развивая эти положения, Е. А. Крейнович утверждает далее, что «имя существительное, в роли прямого дополнения оформленное показателем мн. числа, соединительным суффиксом или послелогом, образует

²¹ В. З. Панфилов, Грамматика и логика, стр. 21.

вместе с ними вторичную основу (разрядка наша. — В. П.), а не парадигматический ряд имени существительного» (стр. 47)²².

Касаясь в этой же связи вопроса о морфологической характеристике глагольного определения в составе «комплекса», Е. А. Крейнович полагает, что «корневая морфема глагола, оформленная показателями каузативного залога или времени, преобразуется вместе с этими показателями в основу соответствующего глагола: *п'рынивах* „пришедший человек“, *п'рынынивах* „человек, который придет“, *п'рыгунивах* „человек, которого привели“ и т. д.» (стр. 47). Отметим здесь, что ссылка Е. А. Крейновича на свои предшествующие исследования по этому вопросу оказывается неточной, так как ни в одной из этих работ он не рассматривал суффикс мн. числа, соединительные суффиксы, послелогои или временные и залоговые показатели как словообразовательные. Так, в «Фонетике нивхского (гиляцкого) языка» (стр. 32), на которую он ссылается по этому поводу, сказано лишь следующее: «Прямое дополнение, распространенное числительным, суффиксом множественного числа, соединительным суффиксом, послелогом и др., также соединяется с глаголом». Что касается глагольных определений, то Е. А. Крейновичем ранее вообще не отмечалось, что они могут оформляться временными или залоговыми суффиксами. Более того, ни в одной из ранних работ Е. А. Крейновича суффикс мн. числа, соединительные суффиксы, послелогои или временные и залоговые суффиксы не рассматриваются им как словообразовательные. В очерке «Нивхский (гиляцкий) язык» все они даются не в разделе словообразования, а некоторые из них прямо квалифицируются как формообразующие: Ср.: «З а с т а в и т е л ь н а я ф о р м а г л а г о л а выражается посредством суфф. *гу ~ ку*, помещаемого после основы глагола»²³; «К именам существительным в качестве о к о н ч а н и й (разрядка наша. — В. П.) присоединяются также следующие ч а с т и ц ы...», и в этой связи Е. А. Крейнович называет частицы *-ке ~ -ге ~ -гэ ~ -хэ, -ко ~ -го ~ -го ~ -хо, -лара* и некот. др.²⁴ В одной из своих поздних статей, указывая на факт оформления существительного некоторыми морфологическими показателями в тех случаях, когда оно выступает как зависимый «компонент инкорпорированного комплекса», Е. А. Крейнович определяет суффикс мн. числа как окончание²⁵.

Е. А. Крейнович вынужден в настоящее время определять все эти морфемы как словообразовательные только потому, что признание их в качестве формообразующих никак не согласуется с квалификацией «зависимых компонентов инкорпорированного комплекса» как основ, а не форм слов. Конечно, нельзя отрицать того, что могут быть разные точки зрения по вопросу о границах словообразования и формообразования и, в частности, по поводу характера таких морфем, как залоговые. Однако едва ли могут быть два мнения относительно того, что морфологические показатели числа у существительных или тем более соединительные суффиксы, указывающие на синтаксические отношения членов предложения, являются формообразующими, а не словообразовательными морфемами.

²² Заметим, кстати, что мы нигде не утверждаем, что и м я с у щ е с т в и т е л ь н о е в составе «инкорпорированного комплекса», оформленное теми или иными грамматическими показателями, образует вместе с этими показателями парадигматический ряд имени существительного, как это пишет Е. А. Крейнович. В соответствующих случаях мы говорим о том, что каждый из знаменательных компонентов «инкорпорированного комплекса» выступает как член своей парадигмы, т. е. как одна из форм слова.

²³ Е. А. Крейнович, Нивхский (гиляцкий) язык, стр. 209.

²⁴ Там же, стр. 199.

²⁵ Е. А. Крейнович, Об инкорпорировании в нивхском языке, стр. 25.

Критикуя высказанную нами точку зрения, согласно которой зависимые компоненты инкорпорированного комплекса являются не основами, а словами и выступают как члены парадигмы, Е. А. Крейнович пишет: «В. З. Панфилов отождествляет таким образом суффиксы несинтаксического и синтаксического формообразования, относя первые к парадигматическому ряду, что недопустимо, так как суффиксы синтаксического формообразования члены „словосочетаний“ (т. е. словокомплексов) не имеют» (стр. 47)²⁶. Таким образом, отождествление синтаксического и несинтаксического формообразования выражается в том, что понятие парадигмы нами распространяется не только на синтаксическое, но и на несинтаксическое формообразование. Е. А. Крейнович вправе, конечно, использовать понятие парадигмы только в отношении синтаксического формообразования. Однако едва ли есть основания требовать, чтобы и другие ученые следовали в этом за ним, и обвинять всех, кто придерживается иной точки зрения, в смешении синтаксического и несинтаксического формообразования²⁷. К тому же, некоторые типы зависимых компонентов «инкорпорированного комплекса» изменяются не только по категориям несинтаксического формообразования, что не отрицает и Е. А. Крейнович, но и по одной из категорий синтаксического формообразования. Так, глагольное определение, которое, по мнению Е. А. Крейновича, дается в усеченном виде, и изменяется по числам в зависимости от числа определяемого. В нивхском языке ед. число имеет нулевой показатель, а мн. число образуется двояким способом: или путем присоединения специального суффикса мн. числа, или путем удвоения. Обоими этими способами может быть образовано мн. число существительных²⁸. Что касается глагольного определения, то форма мн. числа образуется здесь путем удвоения²⁹, например: *пила дыф* «большой дом» (*пила* «большой» в форме, совпадающей с основой, *тыф* ~ *дыф* «дом»), *пилабила дыфку* «большие дома» (*пилабила* «большие» образовано удвоением основы *пила* «большой»; *-ку* — суффикс мн. числа) *п'ры н'ивх* «пришедший человек» (*п'ры* «пришедший» в форме, совпадающей с основой, *н'ивх* «человек»), *п'рыфры н'ивугу* «пришедшие люди» (*п'рыфры* «пришедшие» образовано путем удвоения основы; *-гу* — суффикс мн. числа). Таким образом, зависимый компонент определительного «инкорпорированного комплекса», выраженный глагольным словом, не только получает показатели таких грамматических категорий, как вид, время, залог, а также некоторых других грамматических значений (значений ослабления или усиления действия, значения выделительности, выражае-

²⁶ Как можно заключить из этого высказывания, соответствующие морфемы, о которых шла речь выше, здесь рассматриваются Е. А. Крейновичем уже не как словообразовательные, а как формообразующие, точнее говоря, как морфемы несинтаксического формообразования.

²⁷ Достаточно обратиться хотя бы к «Словарю лингвистических терминов» Ж. Марузо (М., 1960, стр. 201, примеч. 1), чтобы установить, что «в современном языковедении под парадигмой подразумевается совокупность словоизменительных форм определенной лексической единицы...», а не только совокупность форм синтаксического словоизменения (формообразования).

²⁸ См. об этом подробнее: В. З. Панфилов, Грамматика нивхского языка, ч. 1, стр. 93—97.

²⁹ Прием удвоения используется также для выражения многократности действия искаченных глаголов и усиления действия качественных глаголов (см. подробнее: В. З. Панфилов, Грамматика нивхского языка, ч. 2, стр. 73—74, 82—83, 134—137). Однако, если требуется выразить оба значения у качественных глаголов, то форма выражения усиления действия образуется у них иным способом, например: *Имү биль-бильбахугир пьүзд'гу* «Они бросают очень большими камнями» (мн. число причастия *бильбиль* «очень большими», являющегося определением к существительному *бахугир* ~ *пяхугир* во мн. числе, образовано путем удвоения, а форма выражения усиления действия — путем озвончения начального смычного основы; ср. *пила* «большой»).

мого суффиксом *-ла*), но и согласуется с определяемым в числе ³⁰. Следовательно, утверждение Е. А. Крейновича о том, что глагольное определение в составе «инкорпорированного комплекса» выражено основой слова, лишено основания: во всех этих случаях глагол, выражающий определение, несомненно выступает как член ряда парадигм (времени, вида, залога, числа), нередко иных, чем те, к которым принадлежит определяемое слово. В самом деле глагольное определение изменяется по ряду глагольных категорий, не свойственных именному определяемому, а это последнее в свою очередь характеризуется такой именной категорией, как падеж, не свойственной глагольному определению. Ср., например, с одной стороны: *п'ры н'ивх* «пришедший человек», *п'рыны н'ивх* «человек, который придет», *п'рыгыт н'ивх* «пришедший человек» (*-гыт* — показатель вида законченного действия), *п'рыиви н'ивх* «в данный момент приходящий человек» (*-иви* — суффикс вида продолженного действия), а с другой стороны, *п'ры н'ивх* «пришедший человек», *п'ры н'ивхдох* «к пришедшему человеку» (*-дох* — суффикс дат.- напр. падежа), *п'ры н'ивхуин* «у пришедшего человека» (*-уин* — суффикс местн. падежа) и т. п. ³¹.

Как уже отмечалось выше, «несвободные» варианты слов выступают не только в составе «инкорпорированных комплексов», но и вне их в той же самой синтаксической функции. Это имеет место в тех случаях, когда, например, к одному определяемому относится несколько однородных определений, а к одному сказуемому — несколько прямых дополнений или когда одно определение относится к двум или более определяемым, а также в некоторых других случаях ³². Вместе с тем подобные случаи свидетельствуют о том, что каждый из компонентов «инкорпорированного комплекса» сохраняет свою синтаксическую самостоятельность в том смысле, что каждый из них может иметь синтаксические связи со словами вне

³⁰ См. подробнее: В. З. П а н ф и л о в, Грамматика нивхского языка, ч. 2, стр. 136—138.

³¹ Е. А. Крейнович в своей статье «Об инкорпорировании и примыкании в нивхском языке» утверждает, что глаголы в той форме, которую они имеют, выступая в функции определения, нами рассматриваются как причастия только на основе их перевода на русский язык (стр. 46—47, примеч. 18, примеч. 21) и именуется причастиями «в соответствии со своим (нашим. — В. П.) стремлением доказать, что слово в нивхском языке примыкает к другому слову» (стр. 46) и т. п. Приведенные здесь, а также в работе «Грамматика нивхского языка», ч. 2 примеры достаточно убедительно говорят о том, что глагол в функции определения, во-первых, обладает всеми существенными признаками слова, во-вторых, изменяется по всем глагольным категориям, кроме наклонения. Это, а также их синтаксическая функция (функция определения), а не перевод на русский язык и дает нам основание рассматривать их как глагольные формы, а именно, как причастные формы глагола, и нужны серьезные научные аргументы, опровергающие эту точку зрения, а не голословные утверждения. Е. А. Крейнович далее в этой связи заявляет: «Исходя из этого же перевода в категории причастий, не существующей в нивхском языке, устанавливается даже „действительное и страдательное значение причастий“» (стр. 43, примеч. 18; имеется в виду «Грамматика нивхского языка»). Очевидно, однако, что при установлении действительного и страдательного значения этих глагольных форм в нивхском языке учет их контекстуального значения (а следовательно, и перевода на русский язык) неизбежен. К тому же в нивхском языке эти значения дифференцируются еще и по синтаксическим связям соответствующих слов, а в некоторых случаях распознаются по их формам (см.: В. З. П а н ф и л о в, Грамматика нивхского языка, ч. 2, стр. 63—64).

Е. А. Крейнович имел бы полное право упрекать меня в ошибке, если бы я на основании лишь перевода на русский язык выделял действительные и страдательные причастия как особые формы, но этого в моей работе не делается. То же самое можно сказать и о его утверждении, что «в основе рассуждений об инфинитиве, которого нет в нивхском языке, также лежит перевод на русский язык» (стр. 47, примеч. 18).

³² См. об этом подробнее: В. З. П а н ф и л о в, Грамматика нивхского языка, ч. 2, стр. 134—138.

«инкорпорированного комплекса». Наличие такого рода случаев в настоящее время признает и Е. А. Крейнович (стр. 40, 43)³³.

При этом, касаясь в этой связи истории вопроса, он пишет следующее: «...в своих статьях и учебниках на нивхском языке мы при помощи дефиса соединяли сливающиеся члены предложения — определение с определяемым и прямое дополнение с глаголом. Однородные определения, не стоящие непосредственно перед определяемым словом, и однородные дополнения, не стоящие непосредственно перед переходным глаголом, мы не соединяли с другими словами при помощи знака дефиса, располагая их тем самым вне комплекса... и тогда и сейчас для нас было ясно, что такие структуры, сложившиеся в результате развития языка, представляют собой особую область исследования... Таким образом, уже из наших давних публикаций явствовало, что однородное дополнение и однородное определение как бы обособляются от комплекса. Учтя эти материалы, В. З. Панфилов сделал из них вывод, что комплексов в нивхском языке вообще не существует и что все эти компоненты представляют собою не основы слов, а законченные слова» (стр. 43). Этот исторический экскурс Е. А. Крейновича нуждается по меньшей мере в некоторых уточнениях. Здесь верно лишь то, что в ряде своих публикаций Е. А. Крейнович действительно не соединял при помощи дефиса прямые дополнения, непосредственно не примыкающие к сказуемому³⁴. Можно к этому добавить, что в первых публикациях по нивхскому языку определение и прямое дополнение вообще писались Е. А. Крейновичем отдельно от определяемого и сказуемого, не соединяясь с ними дефисом, и что нередко подобным же образом раздельно писались компоненты сложного слова. Вместе с тем следует отметить, что в позднейших публикациях Е. А. Крейновичем при помощи дефиса соединялись не только определения и определяемое, прямое дополнение и сказуемое, но также и компоненты сложного слова, поскольку сложные слова не ограничивались им от «инкорпорированных комплексов» и словосложение вообще не выделялось как средство словообразования³⁵.

³³ Е. А. Крейнович, однако, продолжает отрицать, что одно определение к двум или более определяемым также не образует «инкорпорированного комплекса» с определяемым, к которому оно непосредственно примыкает. Нами в этой связи указывалось, в частности, что определение в этих, как и во всех других случаях (где Е. А. Крейнович усматривает «инкорпорированные комплексы»), выступает как слово, а не как основа и имеет синтаксические связи со словами вне «инкорпорированного комплекса» (см.: В. З. П а н ф и л о в, К вопросу об инкорпорировании, стр. 20). Отмечалось также, что, если определение относится к двум или более определяемым, то, хотя наличествуют соответствующие комбинаторные условия, соответствующих чередований начального согласного первого определяемого не происходит, как, например, в случае *малгола тыфко фабрикаю* «многочисленные дома и фабрики». Е. А. Крейнович, касаясь этого вопроса, пишет: «По поводу этого аргумента против инкорпорирования в нивхском языке достаточно указать, что нивх в приведенном примере произнесет эти слова только как *малгол'а-дыфко*, и наличие словокомплекса в этом случае определяется не только чередованиями, но и опущением суффикса -*д'* в слове *мал'вод'*, *мал'вол'ад'* „быть многочисленным“» (стр. 46). В примечании же Е. А. Крейнович добавляет: «...он (В. З. Панфилов. — В. П.), вероятно, умышленно сохранил начальное *т* слова *тыфко* „домов“, хотя следовало бы дать *д*, после чего заключил, что тут отсутствует комбинированное чередование и это доказывает, что *малгола тыфко* не образует комплекса» (стр. 46, примеч. 17). Конечно, если нивху предложить произнести словосочетание *малгола дыфко* «многочисленные дома», то он, действительно, произнесет определяемое со звонким смычным. Однако речь идет не об этом словосочетании, а о словосочетании *малгола тыфко фабрикаю* «многочисленные дома и фабрики», где определение *малгола* «многочисленные» относится к двум определяемым и в этом случае нивх произнесет его, не озвончая начального смычного слова *тыфко* «дома». Е. А. Крейнович в связи с этим примером продвигает также и такую операцию. Приведа цитату из моей работы 1963 г. о том, что «...при анализе вопросов, составляющих суть проблемы инкорпорирования, фонетическая сторона соответствующих явлений в принципе не может иметь решающего значения» (Письмо в редакцию, ВЯ, 1963, 6, стр. 157), Е. А. Крейнович утверждает, что «он (В. З. Панфилов. — В. П.) подтверждает эту мысль примером, о котором шла речь выше и который приводится в работе 1954 г. («К вопросу об инкорпорировании»). Однако в работе 1963 г. не делается ни одной ссылки на указанную работу 1954 г., и, в частности, на приведенный выше пример. В работе 1963 г. это положение о значимости фонетической стороны явлений, отмечаемых при «инкорпорировании», обосновывается целым рядом принципиальных соображений и, если Е. А. Крейнович считает их ошибочными, ему следовало бы говорить о них, а не по поводу вымышленной им ссылки на предшествующие работы.

³⁴ См., например: Е. А. К р е й н о в и ч, Нивхский (гиляцкий) язык, стр. 199.

³⁵ См., например, его работы «Нивхский (гиляцкий) язык» (стр. 188, 196 и др.) и «Фонетика нивхского языка» (стр. 29, 30 и др.), где сложные слова приводятся в качестве примеров инкорпорированных комплексов.

Однако тот факт, что в некоторых его публикациях прямое дополнение, непосредственно не примыкающее к сказуемому, не соединялось при помощи дефиса, отнюдь не свидетельствует о том, что Е. А. Крейнович не рассматривал однородное дополнение и однородное определение, непосредственно не примыкающие соответственно к определяемому и сказуемому, как компоненты инкорпорированных комплексов и что В. З. Панфилов в своих выводах в этом вопросе лишь следовал за ним. Обратимся к фактам. В своем очерке «Нивхский (гиляцкий) язык» (стр. 194—195) Е. А. Крейнович пишет: «Слияние частей предложения происходит в вышеуказанном порядке, а именно: 1) о п р е д е л е н и я к подлежащему сливаются с подлежащим; 2) о п р е д е л е н и я к прямому или косвенному дополнению сливаются с дополнением; 3) прямое дополнение вместе с относящимися к нему о п р е д е л е н и я м и сливаются с сказуемым. Исключения из этих правил нам неизвестны» (разрядка наша. — В. П.). В другом месте той же работы (стр. 209) Е. А. Крейнович утверждает: «Прямое дополнение не сливается с глаголом только в том случае, если оно подчинено глаголу в заставительной форме». В «Фонетике нивхского языка» (стр. 28—29), выделяя «два основных типа синтетических сочетаний основ», «один тип при имени существительном (определяемом подлежащем или дополнением), другой при глаголе-сказуемом», Е. А. Крейнович утверждает далее, что «с одним определяемым может быть слито несколько определений», и в приводимых им примерах все определения пишет через дефис³⁶.

Рассматривая далее глагольный «комплекс», Е. А. Крейнович приводит среди многих других два примера [*ночат мэн к'ууо пун'д'го-бот* «тогда оба стрелы и луки держат» и *Н'и п'ятхин п'ямхин-ху-милк-нант виивунт* (с. д.) «я моего (своего) отца и мою (свою) мать убившего злого духа искать идущу»], в каждом из которых со сказуемым соединяется через дефис только то прямое дополнение, которое непосредственно помещается перед ним³⁷. Однако этот факт не говорит о том, что прямые дополнения, которые в этих примерах пишутся не через дефис, Е. А. Крейнович рассматривал как находящиеся вне комплекса. Обобщая все случаи соединения определений с определяемыми и прямых дополнений со сказуемыми, Е. А. Крейнович квалифицирует их как различные типы «синтетических сочетаний основ» и дает схему такого рода сочетаний, в которой мы находим и все те случаи, когда к одному определяемому относятся несколько определений, а к одному сказуемому несколько прямых дополнений³⁸.

Анализ определительных и объектных «инкорпорированных комплексов» в нивхском языке показывает, таким образом, что каждый из образующих их компонентов обладает всеми существенными признаками слова — семантическими, синтаксическими и морфологическими. Вместе с тем бесспорно, что сочетания определения и определяемого, прямого дополнения и сказуемого образуют тесные фонетические единства, о чем, в частности, свидетельствуют чередования начальных согласных соответственно определяемого и сказуемого, имеющие место в определенных комбинаторных условиях. Ясно, однако, что в этом отношении нивхский язык не представляет собой чего-то специфического: такого рода явления типа сандхи имеют место во многих языках, как, например, в ненецком³⁹, французском, кельтских языках и др. Однако для исследователей этих языков не встает даже вопрос о том, не возникает ли нечто подобное сложному слову в тех случаях, когда в потоке речи слова не выделяются, не

³⁶ Правда, следует отметить, что в большинстве примеров, приводимых Е. А. Крейновичем в подтверждение этого положения, мы не находим таких случаев, когда бы к определяемому действительно относились несколько определений. Так, в первых двух из трех примеров, где Е. А. Крейнович находит два определения *ган-чаро(м)баур* «мыс отдыха собак», *оу лагу-дну-них* «детский учитель», *чай-хавуны-д'иур* «дрова для согревания чая», мы имеем на самом деле сложные слова, а в третьем примере определяемому *т'иур* ~ *д'иур* имеет только одно глагольное определение *хавуны* (причастная форма глагола *хавуд'* «согреть что-либо» в форме будущего времени), так как слово *чай* «чай» является дополнением к этому последнему слову; в примере *хун-тлеулан-чирш-п'и-н'иуэнгун* (с. д.) «на этом белом холме находящиеся люди», где Е. А. Крейнович находит четыре определения, на самом деле имеется лишь одно определение к слову *н'иуэнгун* «люди», а именно *п'и* «находящиеся»; в примере *шаоу-урлан-к'уз-вара-каргин-д'онгри* (с. д.) «каргина коса, подобно хорошо выстроганному древку стрелы», где Е. А. Крейнович находит пять определений к слову *т'онгри* ~ *д'онгри* «голова; коса», на самом деле есть лишь два определения, а именно *каргин* «каргина» и *вара* «подобная» (заметим в скобках, что оба эти определения Е. А. Крейнович дает через дефис) и т. п.

³⁷ Е. А. Крейнович, Фонетика нивхского языка, стр. 33.

³⁸ Там же, стр. 34—35.

обособляются друг от друга в фонетическом отношении, ибо слово есть не фонетическая, а лексико-грамматическая языковая единица. Можно, однако, поставить вопрос, не создает ли наличие чередований по границе слов в нивхском языке особого синтаксического приема построения словосочетаний, поскольку эти чередования имеют место лишь на границе определения и определяемого, прямого дополнения и сказуемого, но их нет на границе подлежащего и сказуемого или косвенного дополнения и сказуемого. Иначе говоря, не означает ли это, что чередование начального согласного сказуемого или его отсутствие является показателем того, имеем мы дело с сочетанием прямого дополнения и сказуемого или же подлежащего и сказуемого? Как уже отмечалось, чередованиями в нивхском языке охвачены только целевые и смычные, а это означает, что если сказуемое или определяемое начинается с сонанта или гласного, то в соответствующих словосочетаниях никаких чередований не происходит и, следовательно, в этих случаях мы не имеем фонетических показателей их синтаксической связи. Очевидно, однако, что тот или иной синтаксический прием должен иметь место во всех соответствующих случаях, т. е. во всех словосочетаниях одного и того же типа. Таким синтаксическим средством, позволяющим отличить прямое дополнение от подлежащего или определение от определяемого в нивхском языке, является устойчивый порядок слов (подлежащее — прямое дополнение — сказуемое; определение — определяемое) и именно порядок слов во всех случаях показывает, что является подлежащим, а что — прямым дополнением и т. д. Чередования начальных согласных здесь выступают как дополнительное средство их разграничения и не создают особого синтаксического приема построения словосочетаний, как полагает Е. А. Крейнович.

Итак, в тех случаях, где некоторыми исследователями нивхского языка усматриваются так называемые инкорпорированные комплексы, мы имеем на самом деле словосочетания «определение + определяемое» и «прямое дополнение + сказуемое». Эти словосочетания построены путем примыкания, поскольку их зависимые члены не имеют каких-либо иных показателей их связи с господствующими членами, кроме порядка слов. Исключение в этом отношении представляют собой лишь те определительные словосочетания, где определение выражено глагольным словом, которое, не согласуясь с определяемым в падеже, согласуется с ним в числе. Т. о. характер сочетаний определения с определяемым и прямого дополнения со сказуемым в нивхском языке не является чем-то специфическим и не дает оснований относить этот язык к инкорпорированному типу.

Данные внутренней реконструкции позволяют сделать вывод о том, что нивхский язык некогда в своем развитии переживал этап, на котором он характеризовался чертами изолирующего типа языков; в его же современном состоянии нивхский язык представляет собой язык агглютинативного типа. Агглютинативные черты нивхского языка проявляются, в частности, в характере морфологической структуры слова и в некоторых особенностях грамматических категорий⁴⁰. Существенным в этой связи представляется тот факт, что нивхский язык обнаруживает значительную близость в материальном и типологическом отношении с алтайскими языками — яркими представителями агглютинативного типа языков⁴¹.

³⁹ См.: Н. М. Терещенко, Материалы и исследования по языку ненцев, М.—Л., 1956, стр. 22, 23 и сл.

⁴⁰ См. об этом подробнее: В. З. Панфилов, О происхождении склонения в нивхском языке, ВЯ, 1963, 3; Н. Н. Коротков, В. З. Панфилов, К типологии грамматической категории, ВЯ, 1965, 1.

⁴¹ См.: В. З. Панфилов, Грамматика нивхского языка, ч. 1, стр. 211—214. Подробный разбор этих соответствий см. у Т. А. Бертагаева (ИАН ОЛЯ, 1966, 4).

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Т. М. ЛАЙТНЕР

ОБ АЛЬТЕРНАЦИИ *e ~ o* В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ
ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ

Основная цель данной статьи состоит в объяснении альтернации *e ~ o* в формах *сёстрин ~ сёстры*, *грéзить ~ грéза* и т. д. на основе теории порождающей фонологии. Статья состоит из двух вводных частей, посвященных ранним этапам истории русского языка, и одной основной части, в которой синхронно анализируется соответствующий раздел грамматики современного русского литературного языка. В приложении обсуждается материал, лишь косвенно относящийся к основному предмету исследования.

А. Доисторический этап

На наиболее ранней ступени развития в проторусском языке имелось восемь гласных сегментов и три отдельных типа дифтонгов: дифтонги на *i*, *u*, дифтонги на *n*, *m* и дифтонги на *r*, *ʌ*¹. Из этих восьми гласных четыре были ненапряженными, четыре напряженными, четыре диффузными (высокими) и четыре недиффузными, четыре — низкими по тону (задними) и четыре ненизкими²:

Гласные сегменты проторусского языка (каждый сегмент в двух вариантах — напряженном и ненапряженном):

{ Сегмент	<i>u</i>	<i>i</i>	<i>o</i>	<i>e</i>	
Диффузный	+	+	—	—	
Низкий	+	—	+	—	[1]

Применение комплекса правил, приводимых в приложении (раздел 1), дает возможность специфицировать в этих основных гласных сегментах избыточные признаки: бемольный (округленный) и компактный (низкий). После применения этих правил избыточности сегменты [1] представляются в более специфицированном виде.

Соответствие между исходной и фонетической репрезентацией гласных в проторусском языке:

¹ См.: R. Jakobson, *Remarques sur l'évolution phonologique du russe comparée à celle des autres langues slaves*, «Selected writings», I, The Hague, 1962, е го же, *On Slavic diphthongs ending in a liquid*, там же.

² В данной статье использована система признаков, предложенная Р. Якобсоном и др. См.: R. Jakobson, *Observations sur le classement phonologique des consonnes*, «Selected writings», I; R. Jakobson, G. Fant, M. Halle, *Preliminaries to speech analysis*, Cambridge (Mass.), 1952 (русс. перевод в сб. «Новое в лингвистике», II, М., 1962); R. Jakobson, M. Halle, *Fundamentals of language*, The Hague, 1956; M. Halle, *In defense of the number two*, сб. «Studies presented to Joshua Whatmough», The Hague, 1957. Критическое обсуждение см.: N. Chomsky, [рец. на кн.:] R. Jakobson, M. Halle, *Fundamentals of language*, IJAL, 23, 3, 1957.

Напряженные	Ненапряженные	
$\bar{u} - \bar{y}$	$u - \bar{u}$	
$\bar{i} - \bar{i}$	$i - \bar{i}$	
$\bar{o} - \bar{a}$	$o - \bar{o}$	
$\bar{e} - \bar{e}$	$e - \bar{e}$	[2]

В проторусской грамматике использовались два следующих правила [для записи правил мы применяем мнемоническое изображение типа (*k ~ ě*)]³:

$$(k \sim \check{c}) \{k \ g \ x\} \rightarrow \{\check{c} \ \check{z} \ \check{z}\} / - \begin{bmatrix} - \text{согласные} \\ - \text{низкий} \end{bmatrix}$$

$$(C \sim C') C_1 \rightarrow [+ \text{дизный}] / - \begin{bmatrix} - \text{согласный} \\ - \text{низкий} \end{bmatrix},$$

где *C*₁ изображает один или более негласных сегментов.

Согласно правилу (*k ~ ě*), велярные заменяются соответствующими резкими палатальными в позиции перед передним гласным (*i* или *e*) или *j*. Сегмент *z* вместе с сегментом *z* (рефлексом *g*, получившимся в результате второй и третьей палатализации велярных)⁴ позднее превратился в + непрерывный (т. е. *z* перешел в *z*, а *z* в *z*). Согласно правилу (*C ~ C'*), недизные (непалатализованные) согласные заменяются дизными согласными в позиции перед передними гласными или *j*. Примеры:

печь-мъ: *pek + e + mi* → *k ~ ě* → *peċ + e + mi* → *C ~ C'* → *p'eċ' + e + mi*
сестринъ: *sestr + in + u* → *k ~ ě* → неприменимо → *C ~ C'* → *s'es't'r' + in + u*

Б. Переход *e* в *o* перед недизными согласными

После падения еров ненапряженный *e* перешел в *o* перед недизными согласными. На разбираемом этапе Б развития русского языка, таким образом, в добавление к правилам, действующим на этапе А, и правилам падения еров, действовало следующее правило⁵:

$$(e \sim o)_1 \ e \rightarrow o / - \begin{bmatrix} + \text{согласный} \\ - \text{дизный} \end{bmatrix}$$

Приведем несколько примеров применения этого правила, которое следует применять после правил (*k ~ ě*) и (*C ~ C'*) (ниже будет показано, что это правило должно также применяться после правила, определяющего падение еров):

печем: *pek + e + mi* → *k ~ ě* → *peċ + e + mi* → *C ~ C'* → *p'eċ' + e + mi* → падение ер → *p'eċ' + e + m* → *e ~ o* → *p'eċ' + o + m*

³ При формулировке фонологических правил мы используем условные обозначения, которые были предложены М. Халле (M. Halle, *Phonology in generative grammar*, «Word», XVIII, 1962), за исключением косой (/), обозначающей «в окружении». Ср. также примеч. 41. Более детальное обсуждение см.: N. Chomsky, M. Halle, *The sound pattern of English* (в печати). Обозначения, связанные с использованием различных скобок и различительных признаков, представляют определенное отражение действительной природы языка, и поэтому их правомерность должна быть эмпирически доказана или опровергнута. Обсуждение этого вопроса см.: N. Chomsky, *Aspects of the theory of syntax*, Cambridge (Mass.), 1965, стр. 37—47.

⁴ Подробности см.: R. Jakobson, *Remarques...*, стр. 24, 27—28.

⁵ В терминах дифференциальных признаков (см. табл. 1) правило, приводимое ниже, примет вид:

$$(e \sim o)_1 \begin{bmatrix} + \text{гласный} \\ - \text{согласный} \\ - \text{напряженный} \\ - \text{диффузный} \end{bmatrix} \rightarrow [+ \text{низкий}] / - \begin{bmatrix} + \text{согл.} \\ - \text{дизный} \end{bmatrix}$$

Правила избыточности гласного на этапе А (даваемые в приложении, раздел 1) вполне применимы и на этапе Б, если только часть (ii) используется после (*e ~ o*).

печете: $pek + e + te \rightarrow k \sim \check{c} \rightarrow pe\check{c} + e + te \rightarrow C \sim C' \rightarrow p'e\check{c}' + e + t'e \rightarrow e \sim o \rightarrow$ неприменимо = $p'e\check{c}'ei'e$

сестры: $sestr + \bar{u} \rightarrow C \sim C' \rightarrow s'estr + \bar{u} \rightarrow e \sim o \rightarrow s'ostr + \bar{u}$ (т. е. $s'ostry$)

сестрин: $sesir + \bar{i}n + u \rightarrow C \sim C' \rightarrow s'es't'r' + \bar{i}n + u \rightarrow$ падение ер $\rightarrow s'es't'r' + \bar{i}n \rightarrow e \sim o \rightarrow$ неприменимо = $s'es't'r'\bar{i}n$

мед: $med + u \rightarrow C \sim C' \rightarrow m'ed + u \rightarrow$ падение ер $\rightarrow m'ed \rightarrow e \sim o \rightarrow m'od$

медѣ: $med + \bar{e}^6 \rightarrow C \sim C' \rightarrow m'ed' + \bar{e} \rightarrow e \sim o \rightarrow$ неприменимо = $m'ed'\bar{e}$

В. Современный русский язык

В современном русском языке большое число морфем обнаруживают фонетические альтернативы $e \sim o$, которые исторически восходят к переходу e в o , имевшему место на этапе Б.

Примеры форм, обнаруживающих альтернативу $e \sim o$ в современном русском языке

<i>пѣрья</i> ~ <i>пѣрышко</i>	<i>весѣлье</i> ~ <i>весѣлый</i>	
<i>прочѣсть</i> ~ <i>прочѣл</i>	<i>вѣмлю</i> ~ <i>черноѣм</i>	
<i>грѣзить</i> ~ <i>грѣза</i>	<i>берѣвник</i> ~ <i>берѣза</i>	
<i>Пѣтя</i> ~ <i>Пѣтр</i>	<i>деиѣвле</i> ~ <i>деиѣвый</i>	[3]
<i>чѣрти</i> ~ <i>чѣрт</i>	<i>двоѣжѣнец</i> ~ <i>двоѣжѣнство</i>	
<i>сѣстрин</i> ~ <i>сѣстры</i>	<i>колѣсник</i> ~ <i>колѣса</i>	
<i>сѣльский</i> ~ <i>сѣла</i>	<i>совѣвѣдие</i> ~ <i>вѣвѣды</i>	
<i>чѣрнь</i> ~ <i>чѣрный</i>	<i>пѣстрадь</i> ~ <i>пѣстрый</i>	
<i>плѣть</i> ~ <i>плѣтка</i>	<i>далѣче</i> ~ <i>далѣк</i> и т. д.	

Несмотря на то, что в современном русском языке все еще имеются рефлексии перехода e в o перед недвезными согласными, грамматика, имеющая силу для этапа Б, оказывается неспособной объяснить закономерности современного языка. Приведем только три примера: e заменяется через o во 2-м лице мн. числа глаголов, в предл. падеже ед. числа существительных и в уменьшительных формах, хотя в каждом из этих случаев двезный согласный следует за e : 2-е лицо ед. числа: *печѣте, несѣте*; предл. падеж ед. числа: *мѣде, берѣзе*; уменьш. формы: *пѣсик, щѣчка, счѣтец, озѣрец* (= род. падеж. мн. числа от *озерѣц*) и т. д.

Проблема, которая рассматривается в настоящей статье, состоит в том, чтобы найти грамматику русского языка, дающую возможность удовлетворительно объяснить синхронную альтернативу $e \sim o$ в различных формах. В разделах 1—3 мы рассмотрим три вида грамматик и постараемся показать, что две из них не являются адекватными, а третья дает возможность получить требуемые результаты.

1. Полная перестройка фонологической системы. Можно было бы допустить, что между этапами Б и В фонологическая система русского языка была полностью изменена: двезный характер согласных стал различительным, фонетическое o в исходных формах во всех случаях было представлено как o . Форму предл. падежа ед. числа *мѣде* в связи с этим следует изобразить как $m'od + e$, форму 2-го числа мн. числа *несѣте* как $n'os + o + te^7$ и т. д.

Возражения, которые можно выдвинуть против этого тезиса, очень существенны. Прежде всего принимая указанный тезис, нельзя объяснить многочисленные фонетические альтернативы $e \sim o$ типа тех, которые приводятся выше ([3]). Во-вторых, нельзя предсказать приобретение согласными признака двезности, за исключением случаев, когда

⁶ Окончание предл. падежа ед. числа \bar{e} восходит к дифтонгу oi ; можно отметить, что перед этим окончанием основы на велярный не подчиняются правилу ($k \sim \check{c}$).

⁷ В грамматике того типа, которая описана в этом разделе, для объяснения o в форме *нѣс* [$n'os$] приходится изобразить корневой гласной в *несѣте* как o (а не e). Ср.: R. J. a k o b s o n, Russian conjugation, «Words», IV, 3, 1948, стр. 156, § 1.32.

они стоят в позиции перед e (т. е. d' , но не m' в формах предл. падежа ед. числа *мёде* [m'ó d'i]) и в определенных морфологических категориях (например, перед тематическим гласным настоящим времени o в *несёте* [n.ís'ó t'i])⁸. В-третьих, при применении указанного тезиса неясно, как изображать уменьшительные формы. Так, *нёс*, например, обнаруживает конечный недиезный согласный [p'ós] и альтернацию «корневой гласный ~ ноль» (ср. род. падеж ед. числа *пса*), тогда как в уменьшительной форме находим конечный диезный корневой согласный при отсутствии альтернации «гласный ~ ноль» (им. падеж. ед. числа [p'ós'ík], род. падеж. ед. числа [p'ó's'íkə] и т. д.). В слове *щека* обнаруживается конечный корневой веларный и отсутствует альтернация «гласный ~ ноль» (ср. род. падеж мн. числа *щёк*), тогда как в уменьшительной форме находим конечный корневой палатальный: *щёчка* [š'č'óč'kə], а также альтернацию «гласный ~ ноль» (ср. род. падеж мн. числа *щёчек*).

2. Добавление морфологических категорий к ($e \sim o$)₁. Менее радикальным, но все же неприемлемым было бы допущение того, что правило ($e \sim o$)₁ изменилось посредством добавления определенных морфологических категорий:

$$(e \sim o)_2 \quad e \rightarrow o / - \left\{ \begin{array}{l} [+ \text{ согласный} \\ - \text{ диезный} \\ + 2\text{-е лицо ед. числа } te \\ C_1 + \text{ предл. падеж ед. числа } \bar{e} \\ C_1 + \text{ уменьш. } ik, ik, ic \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right.$$

Используя эту грамматику, можно было бы сохранить старые репрезентации *nes + é + te* (*несёте*), *méd + ē* (*мёде*), *pis + ik + u* (*нёсик*) и т. д.; таким образом, можно было бы предсказать приобретение согласными признака диезности и объяснить альтернацию $e \sim o$ в различных формах, которые приводятся выше ([3]).

Однако число морфологических категорий, перед которыми e переходит в o , довольно велико, а формулировка правила ($e \sim o$)₂ непомерно сложна, ибо в этом случае нам пришлось бы иметь дело как с морфологическими, так и с фонологическими ограничениями.

Используя этот анализ, можно было бы прийти к выводу, что со времени этапа Б не имели места никакие изменения, но что в язык проникло большое число форм, представляющих собой исключения (формы 2-го лица мн. числа, предл. падежа ед. числа, уменьшительные формы и т. д.). Вполне ясно, однако, что в синхронной грамматике современного русского языка форма 2-го лица мн. числа типа *несёте* является не бóльшим исключением, чем форма 1-го лица мн. числа *несём*, форма предл. падежа ед. числа *мёде*, чем форма им. падежа ед. числа *мёд* и т. д. Как отмечал Трубецкой, «неавтоматические» альтернации гласных редко имеют место в формах единичной деривационной парадигмы⁹. Грамматика должна как-то объяснить этот факт; причисление больших групп форм к исключениям вряд ли может объяснить общее явление как отсутствие гласных альтернатив в парадигмах.

3. Измененная форма правила ($e \sim o$)₁. 3.1. Рассмотрение деривационных процессов, порождающих формы типа 2-го лица мн. числа *несёте*, предл. падежа ед. числа *мёде*, уменьш. *нёсик* и т. д., приводит нас к более адекватному описанию альтернации $e \sim o$ в современном русском языке. Мы замечаем, что во всех до сих пор упомянутых случаях за ос-

⁸ Там же, § 2.42, стр. 161.

⁹ N. T r u b e t z k o y, Das morphonologische System der russischen Sprache, TCLP, 5, 1934, стр. 39—40, 42 и сл.

новой, содержащей корневой гласный e^{10} , ледует суффикс или окончание, содержащие передний гласный. Так, в форме 2-го лица мн. числа *несёте* имеем основу настоящего времени $PS^{(nes+é)} PS^{11}$, за которой следует окончание 2-го лица мн. числа *-те*; в форме предл. падежа ед. числа *мёде* имеем именную основу $NS^{(méd)} NS$, за которой следует окончание предл. падежа ед. числа *-э*; в уменьшительной форме *пёсик* имеем именную основу $NS^{(pis)} NS$, за которой следует уменьшительный суффикс *-ик*, и т. д.

Предлагаемый тип грамматики современного русского языка требует изменения первоначального правила ($e \sim o$)₁: ($e \sim o$)₃ $e \rightarrow o$ за исключением позиции перед сегментом специфицированным + дизонный.

Фонологические правила сначала применяются к сегментам, входящим в наиболее мелкие (внутренние) составляющие, затем к сегментам, входящим в следующие по величине составляющие и т. д., вплоть до сегментов, входящих в наиболее крупные составляющие. Одни и те же фонологические правила, таким образом, применяются снова и снова, циклообразно, причем возможности их применения в каждом конкретном случае ограничиваются объемом изучаемого составляющего (конституента)¹². Из этой фонологической концепции вытекает допущение, что те правила, с помощью которых производится деривация небольших по размеру форм, служат также для деривации более крупных форм; именно таким путем более крупные формы образуются из менее крупных. Конечно, это не должно а priori приводить к выводу, что русский (или какой-нибудь другой) язык имеет как раз такую структуру; однако на протяжении этой статьи мы приведем примеры, показывающие, что циклическое применение правил совместимо с фактами русского языка. Если не отрицать зависимости между формами типа [3], то остается либо принять необъясняющие описания, указанные в разделе 2, либо какое-то более абстрактное построение; циклическое применение правил является до сих пор единственным построением *non-ad-hoc*, которое совместимо с фактами языка¹³. Например:

¹⁰ В некоторых случаях (например, *пёс, лень*) это e может быть производным от i (ср. форму род. падежа ед. числа *пса, льна*). См. § 3.2.

¹¹ В последующем изложении вместо более подробной репрезентации типа $V^c PS^{(nes+é)} PS \nrightarrow^{te} V$, где V — глагол, PS — основа наст. времени, нам понадобится только репрезентация $((nes + é) \nrightarrow te)$. Хотя в настоящей статье не дается мотивировки соотношения с тем или иным составляющим (например, основа существительного, основа наст. времени глагола, глагол и т. д.), приводимые нами правила не всегда имеют силу без отношения с типом рассматриваемого составляющего. Например, конечное l в слове после низких согласных выпадает в глаголах (*мог — могла, пек — пекла, оглох — оглохла, скреб — скребла, ослеп — ослепла* и т. д.), но не в прилагательных (*кругл, блекл, нулл, дрябл, зрипл* и т. д.).

¹² Дальнейшее обсуждение циклического использования правил в русском языке см.: М. Халле. О правилах русского спряжения, «American contributions to the V International congress of slavists»; Т. Лайтнер, О циклических правилах в русском спряжении, ВЯ, 1963, 2; Т. Lightner. Russian phonology (готовится к печати изд-вом Массачусетского ин-та технологии в 1967 г.). О применении циклических правил к церковнославянскому см.: Т. Lightner, On the phonology of Old Church Slavonic conjugation, «International journal of Slavic linguistics and poetics», IX, 1966. Теоретическое обсуждение применения указанного метода в английском языке см.: N. Chomsky, M. Halle, F. Luskoff, On accent and juncture in English, сб. «For Roman Jakobson», The Hague, 1956. В этих ранних работах по порождающей фонологии считается, что правила могут быть двух типов — циклические и постциклические. Как показывают последние исследования, все фонологические правила могут применяться циклически; см.: N. Chomsky, M. Halle, The sound pattern of English. Ниже, в § 3.2, мы покажем, что применение некоторых правил должно быть ограничено пределами слова.

¹³ Мы не будем обсуждать важных вопросов об универсальном характере этой теории в области фонологии и изучения языка (т. е. вопрос о том, как ребенок на основе

несёте: $((nes + \bar{e}) + te)$
 первый цикл: $(nes + \bar{e}) \rightarrow C \sim C' \rightarrow (n'es' + \bar{e}) \rightarrow e \sim o$
 [один раз] $\rightarrow (n'es' + \bar{o})$
 второй цикл: $(n'es' + \bar{o} + te) \rightarrow C \sim C' \rightarrow (n'es' + \bar{o} + t'e) \rightarrow e \sim o \rightarrow (n'es' + \bar{o} + t'o)^{14}$
 мёде: $((m\bar{e}d) + \bar{e})$
 первый цикл: $(m\bar{e}d) \rightarrow C \sim C' \rightarrow (m'\bar{e}d) \rightarrow e \sim o \rightarrow (m'\bar{o}d)$
 второй цикл: $(m'\bar{o}d + \bar{e}) \rightarrow C \sim C' \rightarrow (m'\bar{o}d' + \bar{e}) \rightarrow e \sim o$
 → неприменимо

3.2. Ранее мы говорили, что гласные u и i (еры) подверглись в некоторых окружениях понижению до o и e , а в некоторых окружениях выпали. Понижение и выпадение u и i объясняет альтернацию «гласный ~ ноль», упомянутую выше в разделе 3.1 (им. падеж ед. числа *нѣс*, но род. падеж ед. числа *пса*, им. падеж ед. числа *щѣчка*, но род. падеж мн. числа *щѣчек* и т. д.). Если постулировать *pis* как исходную репрезентацию корня в слове *нѣс* и допустить понижение корневой гласной до e в форме им. падежа ед. числа, то правило, согласно которому происходит это понижение, должно будет применяться до применения правила ($e \sim o$)₃. Таким путем мы получим деривацию следующего типа (не принимая во внимание в данном случае циклическое применение правил): $n\bar{e}s: p'is + u \rightarrow C \sim C' \rightarrow p'is + u \rightarrow i$ понижено до $e \rightarrow p'es + u \rightarrow u$ выпало $\rightarrow p'es \rightarrow e \sim o \rightarrow p'os$. В синхронной грамматике русского языка имеется несколько правил, которые относятся к процессам понижения и выпадения u и i , и ряд форм, кажущихся исключениями¹⁵. При обсуждении альтернации $e \sim o$, однако, необходимо указать только на три основных правила:

($\bar{u} \sim \bar{o}$) ударные \bar{u} , \bar{i} понижаются до \bar{o} , \bar{e} , за исключением случаев на конце слова;

($u \sim o$) u , i понижаются до o , e в случае, если следующий слог содержит u , i ;

($u \sim \emptyset$) u , i выпадают.

Эти правила должны применяться в том порядке, в котором они приведены, причем правило ($u \sim \emptyset$) применимо только в пределах слова. Причина того, что ($u \sim \emptyset$) не может применяться в пределах любого произвольного конституента, состоит в следующем: при деривации формы типа *нѣс* из $N^c NS^{(pis)} NS + {}^w N$ нельзя допустить применение ($u \sim \emptyset$) в первом цикле, ибо это в конечном итоге поведет к неправильной фонетической репрезентации *[$p's$] [ниже мы показываем, что правило ($\bar{u} \sim \bar{o}$) неприменимо при деривации этой формы]:

первый цикл: $(pis) \rightarrow C \sim C' \rightarrow (p'is) \rightarrow u \sim \emptyset \rightarrow (p's)$
 второй цикл: $(p's + u) \rightarrow u \sim \emptyset \rightarrow *(p's)$

небольшого запаса первичных языковых данных может усвоить грамматику того типа, которая предлагается здесь). Эти вопросы, однако, являются главенствующими для формулировки любой адекватной языковой теории; обсуждение см.: N. S h o m s k y, Aspects of the theory of syntax, особенно гл. 1.

¹⁴ В русском литературном стандарте неударные e и o произносятся как [i]/[I] после дизяных согласных (*несете* [n'is' ɔ'tI]). Есть, однако, диалекты, в которых окончание 2-го лица мн. числа *-те* ударно (*несетѣ*) и в которых неударное окончание не сводится к [i]/[I]; см.: Н. Д у р н о в о, Очерк истории русского языка, [М.—Л.], 1924, стр. 332. В большинстве этих диалектов в окончании 2-го лица мн. числа *-те* выступает гласный [o].

¹⁵ Суффиксальный ер в *isk* и *istv* обычно понижается после палатальных и выпадает в прочих случаях: *монашеский*, *множество* в противоположность *женский*, *сходство*. Есть однако, небольшое число исключений, главным образом дериватов имен собственных: *чешский*, *пражский* и т. д. Ер выпадает в формах настоящего времени от *ждать*, *жрать* и т. д., но не в формах настоящего времени от *братъ*, *звать*. См. также примеч. 24.

Если, однако, ограничить область применения правила ($u \sim \emptyset$) рамками слова, мы получим деривации следующего типа [отметим, что правила, относящиеся к u и i , должны применяться до правила ($e \sim o$) и после ($k \sim \check{c}$), ($C \sim C'$)]:

$\text{п\`е}c$: ((pis) + u)
 первый цикл: (pis) $\rightarrow C \sim C' \rightarrow (p'is)$
 второй цикл: ($p'is + u$) $\rightarrow u \sim o \rightarrow (p'es + u) \rightarrow u \sim \emptyset \rightarrow (p'es) \rightarrow e \sim o \rightarrow (p'os)$
 пса : ((pis) + \bar{o})
 первый цикл: как указано выше
 второй цикл: ($p'is + \bar{o}$) $\rightarrow u \sim \emptyset \rightarrow (p's + \bar{o})$.

Применение правил избыточности гласных (см. приложение, раздел 1) дает возможность получить $p's + a$ из $p's + \bar{o}$, а применение правил, которые снимают дизность согласных, стоящих перед недизными (приложение, раздел 2.1), позволяет получить правильную фонетическую репрезентацию [psa].

Прежде чем перейти к дальнейшим примерам на применение принятых правил, необходимо остановиться кратко на вопросе об ударении. За исключением форм им. падежа ед. числа, все формы от $\text{п\`е}c$ имеют ударение на конце: род. падеж ед. числа пс\`а , дат. падеж ед. числа пс\`у , твор. падеж ед. числа пс\`ом и т. д. Для объяснения такой модели ударения мы допускаем, что исходные репрезентации всех форм (включая им. падеж ед. числа) имеют ударение на окончании: например, им. падеж ед. числа ((pis) + \acute{u}), род. падеж ед. числа ((pis) + \acute{o}) и т. д. Для объяснения ударного корневого гласного в форме им. падежа ед. числа $\text{п\`е}c$ требуется применение следующего правила: ($V \sim \acute{V}$). Перед ударным гласным все гласные в слове — ударные¹⁶.

Область применения правила ($V \sim \acute{V}$), как и правила ($u \sim \emptyset$), должна быть ограничена рамками слова; это правило должно применяться после правила ($\acute{u} \sim \acute{o}$) и до правила ($u \sim \emptyset$). Правила, которые мы предложили для современного русского языка, приводятся ниже в том порядке, в котором они должны применяться:

($k \sim \check{c}$) { $k g x$ } \rightarrow { $\check{c} \check{z} \check{s}$ }
 ($C \sim C'$) $C_1 \rightarrow$ [+дизный] / — [— согласный]
 [— низкий]
 ($\bar{u} \sim \acute{o}$) ударные \bar{u} , i понижаются до \acute{o} , \acute{e} (за исключением случаев на конце слова).
 ($u \sim o$) u , i понижаются до o , e перед слогом, содержащим u , i
 ($V \sim \acute{V}$) в позиции перед ударным гласным все гласные в слове ударны — применяется только в пределах слова.
 ($u \sim \emptyset$) u , i выпадают — применяется только в пределах слова
 ($e \sim o$) $e \rightarrow o$ за исключением позиции перед сегментом специфицированным +дизный

Ниже следует полное изображение деривации $\text{п\`е}c$, пс\`а :

$\text{п\`е}c$: ((pis) + \acute{u})
 первый цикл: (pis) $\rightarrow C \sim C' \rightarrow (p'is)$
 второй цикл: ($p'is + \acute{u}$) $\rightarrow \acute{u} \sim \acute{o} \rightarrow$ неприменимо $\rightarrow u \sim o \rightarrow (p'es + \acute{u}) \rightarrow V \sim \acute{V} \rightarrow (p'\acute{e}s + \acute{u}) \rightarrow u \sim \emptyset \rightarrow (p'\acute{e}s) \rightarrow e \sim o (p'\acute{o}s)$
 пса : ((pis) + \acute{o})
 первый цикл: как указано выше
 второй цикл: ($p'is + \acute{o}$) $\rightarrow (\acute{u} \sim \acute{o})$, ($u \sim o$) \rightarrow неприменимо $\rightarrow V \sim \acute{V} \rightarrow (p'is + \acute{o}) \rightarrow u \sim \emptyset \rightarrow (p's + \acute{o})$.

Существительное мox обнаруживает два явно выраженных типа склонения: им. падеж ед. числа м\`ох , род. падеж ед. числа м\`оха , дат. падеж

¹⁶ Предлагаемое правило заимствовано из диахронического исследования Р. Якобсона, посвященного славянской акцентуации (Р. Якобсон, Опыт фонологического подхода к историческим вопросам славянской акцентологии, «American contributions to the V International Congress of slavists»).

ед. числа *мбху* и т. д. и противопоставлено им. падежу ед. числа *мбх*, род. падежу ед. числа *мхá*, дат. падежу ед. числа *мхú* и т. д. Объяснение этих форм не представляет трудностей, если допустить корень *тих* и различие в модели ударения для двух типов склонения: в *мбх*, *мбха* и т. д. корень находится под ударением; в *мбх*, *мхá* и т. д. под ударением находится окончание. Получаем следующие деривации:

I. Формы с ударением на корне
 мох: $((m\acute{u}x) + u)$
 первый цикл: $(m\acute{u}x) \rightarrow \acute{u} \sim \delta \rightarrow (m\delta x)$
 второй цикл: $(m\delta x + u) \rightarrow u \sim \emptyset \rightarrow (m\delta x)$
 моха: $((m\acute{u}x) + \bar{o})$
 первый цикл: как указано выше
 второй цикл: $(m\delta x + \delta)$ [ни одно правило не применимо].

II. Формы с ударением на окончании
 мох: $(mux) + \acute{u}$
 первый цикл: (mux) [ни одно правило не применимо]
 второй цикл: $(mux + \acute{u}) \rightarrow u \sim o \rightarrow (mox + \acute{u}) \rightarrow V \sim \check{V} \rightarrow (m\delta x + \acute{u}) \rightarrow u \sim \emptyset \rightarrow (m\delta x)$
 мха: $((mux) + \delta)$
 первый цикл: (mux) [ни одно правило не применимо]
 второй цикл: $(mux + \delta) \rightarrow (\acute{u} \sim \delta)$, $(u \sim o) \rightarrow$ неприменимо $\rightarrow V \sim \check{V} \rightarrow (m\acute{u}x + \delta) \rightarrow u \sim \emptyset \rightarrow (mx + \delta)$

3.3. Возвращаясь к формам, в которых обнаруживается $o < e$, можно отметить, что эти правила могут объяснить все названные формы:

пёсик: $((p\acute{i}s) + ik) + u)$
 первый цикл: $(p\acute{i}s) \rightarrow C \sim C' \rightarrow (p'\acute{i}s) \rightarrow \acute{u} \sim \delta \rightarrow (p'\acute{e}s) \rightarrow e \sim o \rightarrow (p'\delta s)$
 второй цикл: $(p'\delta s + ik) \rightarrow C \sim C' \rightarrow (p'\delta s' + ik)$
 третий цикл: $(p'\delta s + ik + u) \rightarrow u \sim \emptyset \rightarrow (p'\delta s' + ik)$
 щёчка: $((sk\acute{e}k) + ik) + \bar{o})$
 первый цикл: $(sk\acute{e}k) \rightarrow k \sim \check{c} \rightarrow (s\check{c}\acute{e}k) \rightarrow C \sim C' \rightarrow (s'\check{c}'\acute{e}k) \rightarrow e \sim o \rightarrow (s'\check{c}'\acute{o}k)$
 второй цикл: $(s'\check{c}'\acute{o}k + ik) \rightarrow k \sim \check{c} \rightarrow (s'\check{c}'\acute{o}\check{c} + ik) \rightarrow C \sim C' \rightarrow (s'\check{c}'\acute{o}\check{c}' + ik)$
 третий цикл: $(s'\check{c}'\acute{o}\check{c}' + ik + \bar{o}) \rightarrow u \sim \emptyset \rightarrow (s'\check{c}'\acute{o}\check{c}' + k + \bar{o})^{17}$
 щёчек: $((sk\acute{e}k) + ik) + u)$
 первый цикл: } как указано выше
 второй цикл: }
 третий цикл: $(s'\check{c}'\acute{o}\check{c}' + ik + u) \rightarrow u \sim o \rightarrow (s'\check{c}'\acute{o}\check{c}' + ek + u) \rightarrow u \sim \emptyset \rightarrow (s'\check{c}'\acute{o}\check{c}' + ek) \rightarrow e \sim o \rightarrow (s'\check{c}'\acute{o}\check{c}' + ok)$

Две другие формы, которые помогают понять сложные взаимоотношения правил, — это *мешочек* (род. падеж ед. числа *мешочка*) и *девчонка* (род. падеж мн. числа *девчонок*). Деривации этих слов следующие:

мешочек: $((((m\acute{e}x) + ik) + ik) + u)$
 первый цикл: $(m\acute{e}x) \rightarrow C \sim C' \rightarrow (m'\acute{e}x)$
 второй цикл: $(m'\acute{e}x + ik) \rightarrow k \sim \check{c} \rightarrow (m'\acute{e}\check{s} + ik) \rightarrow C \sim C' (m'\acute{e}\check{s}' + ik) \rightarrow \acute{u} \sim \delta \rightarrow (m'\acute{e}\check{s}' + \check{e}k) \rightarrow e \sim o (m'\acute{e}\check{s}' + \delta k)$
 третий цикл: $(m'\acute{e}\check{s}' + \delta k + ik) \rightarrow k \sim \check{c} \rightarrow (m'\acute{e}\check{s}' + \delta\check{c} + ik) \rightarrow C \sim C' \rightarrow (m'\acute{e}\check{s}' + \delta\check{c}' + ik)$
 четвертый цикл: $(m'\acute{e}\check{s}' + \delta\check{c}' + ik + u) \rightarrow u \sim o \rightarrow (m'\acute{e}\check{s}' + \delta\check{c}' + ek + u) \rightarrow V \sim \check{V} \rightarrow (m'\acute{e}\check{s}' + \delta\check{c} + ek + u) \rightarrow u \sim \emptyset \rightarrow (m'\acute{e}\check{s}' + \delta\check{c}' + ek) \rightarrow e \sim o (m'\acute{e}\check{s}' + \delta\check{c} + ok)^{18}$

¹⁷ К этой форме, в добавление к правилам аканья, следует применить правило, согласно которому дентальные непрерывные согласные ассимилируются непосредственно следующими палатальными. Так, из $(s'\check{c}'\acute{o}\check{c}' + k + \bar{o})$ получаем $(\check{s}'\check{c}'\acute{o}\check{c}' + k + \bar{o})$ и, наконец, $\{\check{s}'\check{c}'\acute{o}\check{c}k\}$. В русском литературном языке \check{s} выступает как дизный только перед \check{c}' , во всех других окружениях \check{s} , как \check{z} , недизный. В связи с этим мы будем называть \check{s} , \check{z} недизными до того, как произошел процесс ассимиляции s следующим палатальным [по сути дела до применения правила ($e \sim o$), что дает возможность получить o в формах типа *дѣшев*, *молодѣжь* и т. д.; об исключениях типа *мятѣж*, *голоуѣшка*, см. § 3.6 ниже]. Однако правило, согласно которому снимается дизность c' , должно применяться после ($e \sim o$), что дает возможность сохранить e в формах типа *отѣц*, *сердѣц* и т. д.

¹⁸ Снятие дизности \check{s}' в этой форме см. примеч. 17. Двойная акцентуация в этой форме (на первом и на втором гласном) будет обсуждаться ниже.

девчонка: ((((d'ēv) + uk) + in) + uk) + ō)
 первый цикл: (d'ēv) → C ~ C' → (d'ēv)
 второй цикл: (d'ēv + uk) [ни одно правило не применимо]
 третий цикл: (d'ēv + uk + in) → k ~ ě → (d'ēv + uĉ + in) → C ~ C' →
 → (d'ēv + uĉ' + in) → ū ~ ō →
 → (d'ēv + uĉ' + ěn) → u ~ o → не применимо →
 → e ~ o → (d'ēv + uĉ' + ōn)
 четвертый цикл: (d'ēv + uĉ' + ōn + uk) [ни одно правило не применимо]
 пятый цикл: (d'ēv + uĉ' + ōn + uk + ō) → V ~ V̇ → (d'ēv + ūĉ' +
 + ōn + uk + ō) → u ~ ∅ [дважды] → (d'ēv + ě' +
 + ōn + k + ō)
 девчонок: ((((d'ēv) + uk) + in) + uk) + u)
 первый цикл: }
 второй цикл: } как указано выше
 третий цикл: }
 четвертый цикл: }
 пятый цикл: (d'ēv + uĉ' + ōn + uk + u) → u ~ o (d'ēv + uĉ' + ōn +
 + ok + u) → V ~ V̇ → (d'ēv + ūĉ' + ōn + ok + u) →
 → u ~ ∅ → (d'ēv + ě' + ōn + ok)

В трех приведенных выше деривациях окончательные изображения содержат более одного ударного гласного; мы считаем необходимым применение правила, согласно которому наиболее сильное ударение падает на последний ударный гласный в слове:

$\begin{matrix} 2 & 1 & 3 \\ [m'ɪʒəĉ'ɪk] \end{matrix}$ из (m'ēs' + ōĉ' + ok), $\begin{matrix} 2 & 1 \\ [d'ifĉ'ənkə] \end{matrix}$ из (d'ēv + ě' + ōn + k + ō) и т. д.¹⁹

3.4. Теперь рассмотрим прилагательные на *-ный* и *-ский*. Эти прилагательные имеют несколько одинаковых признаков. Так, веларные в позиции перед суффиксом *-н-* и *-ск-* переходят в соответствующие резкие палатальные²⁰:

<i>снег</i> — <i>снежный</i>	<i>друг</i> — <i>дружеский</i>
<i>брак</i> — <i>брачный</i>	<i>грек</i> — <i>греческий</i>
<i>грех</i> — <i>грешный</i> и т. д.	<i>монах</i> — <i>монашеский</i> и т. д.

Перед суффиксом *-н-* и *-ск-* сегмент *l* всегда дизонный, тогда как другие парные согласные всегда недизонные²¹.

<i>овал</i> — <i>овальный</i>	<i>медь</i> — <i>медный</i>
<i>сила</i> — <i>сильный</i>	<i>словарь</i> — <i>словарный</i>
<i>село</i> — <i>сельский</i>	<i>свинья</i> — <i>свинский</i>
<i>посол</i> — <i>посольский</i> и т. д.	<i>царь</i> — <i>царский</i>
	<i>дети</i> — <i>детский</i> и т. д.

С другой стороны, прилагательные на *-ный* обнаруживают ряд отличий от прилагательных на *-ский*. Так, прилагательные на *-ский* обычно не имеют «кратких» форм²², тогда как прилагательные на *-ный* обычно обладают такими формами (*холодный* — *холоден*, *сильный* — *силен*, *умный* — *умен* и т. д.). Вместе с тем, в прилагательных на *-ный* наблюдается пере-

¹⁹ См.: M. H a l l e, The sound pattern of Russian, The Hague, 1959, стр. 74—75.

²⁰ Перед *-ный* единственными исключениями из правил являются *-пункной* (*запункной*), *-иской* (*сыской*) и заимствование *гротескный* (в слове *суяжный* и относится к корню и не является суффиксальным); имеется ряд исключений из правила перед *-ский*: *герцогский*, *магдебургский*, *казакский*, *каракалпакский*, *узбекский*, *таджикский*, *франкский*, *тюркский*, *баскский*, *казахский*, *метлажский*, *нижский*, *нивужский* и др.

²¹ Единственными исключениями являются названия месяцев: *декабрьский*, *ноябрьский*, *октябрьский*, *сентябрьский* (в слове *полный* и относится к корню и не является суффиксальным).

²² Согласно А. В. Исаченко [«Die russische Sprache der Gegenwart», Halle (Saale), 1962, стр. 146], в случаях, когда прилагательное на *-ский* употребляется в качестве предиката, используется краткая форма соответствующего прилагательного на *-ный*: *лаконический* — *лаконичен*, *лаконична*.

ход e в o (*нёбный*, *слёзный* и т. д.), тогда как в прилагательных на *-ский* такого перехода нет (*жёнский*, *сёлский*, *зёмский* и т. д.).

Исследование тех прилагательных на *-ный* и *-ский*, в которых перед указанными суффиксами стоит e , показывает, что прилагательные на *-ный* являются отыменными, а прилагательные на *-ский* — простыми производными. *Нёбный*, например, образовано от именной основы, исходной для существительного *нёбо*, *щёчный* — от именной основы, исходной для существительного *щека* и т. д.; в этом смысле прилагательные *жёнский*, *сёлский* совершенно не являются производными — скажем, от именных основ, исходных для *жена* (им. падеж. мн. числа *жёны*), *село* (им. падеж. мн. числа *сёла*). Если бы *жёнский* и *сёлский* были отыменными образованиями, связанными с основами, исходными для *жена*, *село*, они означали бы соответственно «подобный жене» и «относящийся к селу»; кроме того, они имели бы ударение на окончании: **жёнско́й*, **сёлско́й*²³. Производные прилагательные *щёчный*, *нёбный* образуются прибавлением суффикса прилагательного к основам существительного $NS^{(skék)} NS$ и $NS^{(néb)} NS$, но простые (первичные) прилагательные *женский*, *сельский* образуются прибавлением суффикса прилагательного непосредственно к корням *gen* и *sel*.

Если рассмотреть чисто фонологические явления, связанные с суффиксами *-н-*, *-ск-* (т. е. замещение веларных палатальными, диезность $л$, но недиезность других сегментов), то оказывается, что при простейшем синхронном описании суффикс *-н-* соотносим с исходной репрезентацией *in*, а суффикс *-ск-* — с репрезентацией *isk*. Таким образом, репрезентация прилагательных *щёчный*, *нёбный*, *жёнский* и *сёлский* будет следующей:

$$\begin{aligned} & A' AS^{(néb)} NS^{+in} AS^{+oj} A \\ & A' AS^{(skék)} NS^{+in} AS^{+oj} A \\ & A' AS^{(gén + isk)} AS^{+oj} A \\ & A' AS^{(sél + isk)} AS^{+oj} A. \end{aligned}$$

Полная деривация прилагательных *сёлский* и *нёбный* такова:

$$\begin{aligned} & \text{сельский: } ((sél + isk) + oj) \\ & \text{первый цикл: } (sél + isk) \rightarrow C \sim C' \rightarrow (s'él' + isk) \rightarrow e \sim o \rightarrow \text{не применимо} \\ & \text{второй цикл: } (s'él' + isk + oj) \rightarrow u \sim \emptyset \rightarrow (s'él' + sk + oj) \\ & \text{нёбный: } ((néb) + in) + oj \\ & \text{первый цикл: } (néb) \rightarrow C \sim C' \rightarrow (n'éb) \rightarrow e \sim o \rightarrow (n'ób) \\ & \text{второй цикл: } (n'ób + in) \rightarrow C \sim C' \rightarrow (n'ób' + in) \\ & \text{третий цикл: } (n'ób' + in + oj) \rightarrow u \sim \emptyset \rightarrow (n'ób' + n + oj). \end{aligned}$$

При деривации *нёбный* следует использовать еще одно правило для снятия признака диезности у b' перед n ; в результате из $(n'ób' + n + oj)$ получим $(n'ób + n + oj)$. В связи с тем, что снятие признака диезности согласных перед недиезными согласными не имеет прямого отношения к предмету настоящей статьи, а также ввиду того, что факты относительно этого явления хорошо известны, здесь эти правила не приводятся и даются в приложении (раздел 2.1).

3.5. Рассмотрение остальных форм, обнаруживающих переход $e \sim o$ ([3]), показывает, что проведение анализа, подобного тому, который содержится в разделе 3.4, дает возможность деривации правильной гласной во всех случаях. В слове *пёрышко*, например, e переходит в o , так как за

²³ Ср.: Ю. Курлович, Система русского ударения, «Наук. зап. [Львівськ. держ. ун-ту]», Серія філологічна, III, 2, 1946, особенно стр. 80—81; Н. Н а r t m а n n, Studien über die Betonung der Adjektiva im Russischen, Leipzig, 1936, особенно, стр. 1—12.

ним не следует диезный согласный; в форме им. падежа мн. числа *пёрья* основа существительного содержит суффикс *-ij-*, а *r* приобретает диезность до того, как применяется правило (*e ~ o*); то же относится к примерам: *весёлье ~ весёлый*, *зёмлю ~ чернозём*, *сестрин ~ сёстры* и т. д.

Таким образом, структура основных частей речи получает следующий вид:

Существительное: $N^{\langle} N_S(\text{корень} + \text{суффикс существительного}) N_S + \text{окончание}$

N ; например, *пёрья* из $((\text{pér} + \text{ij}) + \bar{o})$;

прилагательное: $A^{\langle} A_S(\text{корень} + \text{суффикс прилаг.}) A_S + \text{окончание}$ A ; например, *зёмский* из $((\text{zém} + \text{isk}) + \bar{o})$;

наст. время: $V^{\langle} P_S(\text{корень} + \text{глагольный суффикс} + \text{суффикс наст. времени})$

$P_S + \text{окончание}$ V ; например, *несёте* из $((\text{nes} + \bar{e}) + \text{te})$; прош.

время: $V^{\langle} Past S^{\langle}(\text{корень} + \text{глагольный суффикс} + \text{суффикс прош. времени})$

$Past S^{\langle} + \text{окончание}$ V ; например, *тёрли* из $((\text{tír} + \text{l}) + \bar{i})$ ²⁴.

Все формы строятся вокруг конstituента основы, за которым следует окончание: если форма является не простой, а производной (*пёсик*, *щёчка*, *слёзный*, *стрёмить*²⁵ и т. д.), то основа содержит дополнительный конstituент, как указывалось в разделах 3.3 — 3.4.

Нам осталось рассмотреть формы инфинитива типа *печь* (ср. *пёк*), *прочётъ* (ср. *прочёл*) и т. д. В исходной синтаксической структуре глагольных форм морфема «инфинитив» варьирует с морфемой «время»²⁶.

$(\text{корень} + \text{глагольный суффикс} + \left\{ \begin{array}{l} \text{время} \\ \text{инф.} \end{array} \right\})$.

Если выбирается морфема «время», то оно должно быть записано либо как «прошедшее», либо как «настоящее»; окончания вводятся трансформационным путем с тем, чтобы получились структуры, указанные ранее в этом разделе²⁷. Если выбирается «инфинитив» (или его выбор является следствием применения синтаксического правила), то, конечно, не вводятся никакие «окончания». Формы типа *прочётъ* и *печь* образуются так: (*pro* + *kit* + инф) и (*pék* + инф). Правило (*e ~ o*) нельзя применить к этим инфинитивным формам, так как последний согласный корня всегда будет носить диезный характер до того, как может быть применено правило (*e ~ o*).

3. 6. И с к л ю ч е н и я. Две большие группы форм не подчиняются правилу (*e ~ o*). Исторически эти формы представляют собой церковнославянизмы и неассимилированные иноязычные заимствования. При синхронном описании современного русского языка морфемы, относящиеся к этим двум группам, должны рассматриваться особо в связи с рядом независимых друг от друга причин. Церковнославянизмы не

²⁴ Сегменты *u*, *i* следует особо рассматривать перед сочетаниями плавных и согласных; ср. *твёрдо* < **túrd* + *o*, *чёрно* **kúrn* + *o*, *вёрба* < **úrb* + *a*, *вёрх* < **úrx* + *os* < **úirs* + *os*, *волк* < **úilk* + *os* и т. д. Дополнительные проблемы при описании *turt*, *úrt*, *tult*, *últ* возникают в связи с явлениями, известными как вторичное полногласие: *долог* < **dúlg* + *os*, *полон* (при *полн*) < **púln* + *os* и т. д.

²⁵ Глагол *стрёмить* является отыменным (ср. *стрёма*) и образован из основы существительного. Таким образом, правило (*e ~ o*) применимо в формах этого глагола к корневому гласному в первом цикле — до того, как конечный согласный корня *m* превратится в диезный под влиянием глагольного суффикса *I*, т. е. под влиянием гласного переднего ряда.

²⁶ Из этой формулировки видно, почему инфинитив не обладает категориями времени, лица, числа и т. д.

²⁷ Исследование конституентной структуры словообразовательных моделей, полученных в результате трансформационного анализа, начато лишь недавно; вводные замечания см.: N. C h o m s k y, Aspects of the theory of syntax, стр. 170—192.

только не проводят правило (*e ~ o*), но и обнаруживают особое развитие *tj, dj* (*возвратить ~ возвращен, наградить ~ награжден*), особое развитие плавных дифтонгов (*город ~ град*), а также *и, i* (*бытье ~ бытие*) и т. д. Неассимилированные иноязычные заимствования не только не проводят правило (*e ~ o*), но и обнаруживают много специфических свойств: веларные в них не подчиняются правилу (*k ~ ċ*), ср. *гений, керосин, керес* — за исключением случаев конечной позиции в морфеме (*фрак ~ фращный*)²⁸, только в них встречаются морфемы, начинающиеся с *э*: (*эпика, эра*)²⁹, только заимствованные морфемы являются исходными для несклоняемых существительных (*боа, жюри, пареню, миссис* и т. д.)³⁰, только в таких морфемах наблюдаются фонетические последовательности «гласный — гласный», которые не пересекают морфемную границу (*поэт, муэдзин*), и т. д.³¹

Вдобавление к этим двум классам форм мы обнаружили еще некоторые изолированные исключения; при отсутствии какой-либо более глубокой задачи следует специально указывать, подвергаются эти формы правилу (*e ~ o*) или нет.

- грѣжу* (из *грѣзить*; ср. *грѣза*)
- тѣшут* (из *тѣсать*; ср. *тѣс*)
- чѣшут* (из *чѣсать*; ср. *чѣсаный*)
- брѣшут* (из *брѣзать*; ср. *брѣх*)
- тѣца*
- головѣшка*
- мерѣжка*³²
- тѣтя*
- вѣртче ~ вѣртче* (из *вѣрткий*; муж. род краткая форма *вѣрток*)

²⁸ Даже при конечной позиции в морфеме веларный в неассимилированных заимствованиях может не подвергаться изменению (*k ~ ċ*); см. примеч. 20.

²⁹ Единственным исключением является моносемантная деиктическая частица *е*, которая встречается в словах *этот, так* и т. д.

³⁰ Украинские фамилии на *-ко* (*Шевченко, Зоценко* и т. д.) являются, видимо, исключениями в том отношении, что они не склоняются, хотя здесь не существует утвердившейся нормы.

³¹ При синхронном описании, как и следовало ожидать, подразделение морфем лишь приблизительно соответствует историческому. Подразделение — бинарное:



Каждая морфема связана с одним из признаков отмеченности (или неотмеченности) { $\rightarrow S$ } или { $-S$ }. Морфемы, отмеченные { $\rightarrow S$ } связываются с одним из признаков { $\rightarrow R$ } или { $-R$ }. Правило (*e ~ o*) применимо только к *e* в морфемах, отмеченных { $\rightarrow R$ }, ср. примеч. 41. Маркирование морфем таким способом позволяет объяснить большое число форм, в которых обнаруживается альтернатива *e ~ o*, совершенно отличная от перехода *e ~ o*, упоминавшегося в [3]: *крѣстный ~ крѣстный, надежда — надежа, Елена ~ Олёна, лёв — Лев, хребѣт ~ хребѣт* (диалектн.), *прѣмник — наѣмник, надчрѣвный ~ надчрѣвный, пѣкло ~ пѣкло* и т. д. Эта процедура маркирования морфем также дает возможность объяснить третью альтернативу *e ~ o*, которая не связана ни с одной из альтернатив, упомянутых выше; разбираемая альтернатива происходит в связи с тем, что *o* после палатального переходит в *e*, если палатальный входит в морфему, маркированную { $-R$ }: *бытьѣ ~ бытиѣ* (твор. падеж, ед. число *бытьѣм ~ бытиѣм*), *житьѣ ~ житиѣ, питьѣ ~ питиѣ* и т. д.

³² Все эти формы, очевидно, были заимствованы из диалектов, в которых *e* перед палатальными получило особое развитие.

лёгче (из *легкий*; муж. род краткая форма *лёгко*)
дощечка (уменьшит. к *доска*)³³.

Дублиеты *краснодерёвец* ~ *краснодерёвец*, *белодерёвец* ~ *белодерёвец*, *краснодерёвный* ~ *краснодерёвный* (Ушаков, Толковый словарь русского языка, указывает только *белодерёвный*), *решётчатый* ~ *решётчатый* обнаруживают варианты конститuentные структуры, из которых только одна допускает применение правила (*e* ~ *o*).

Существительное *чёрт* является правильным в том отношении, что конечные согласные основы получают признак диезности во мн. числе; качество корневой гласной (*o* в ед. числе, *e* во мн. числе) является автоматическим следствием того, что конечный согласный основы имеет качество «диезный/недиезный».

Прилагательное *чёрный*, образованное из корня *kit* (ср. *чить*, где гласная выпадает), является правильным, так как оно восходит к основе существительного *чёрть*, конечные согласные в котором — диезные (((*kit'* + *t'*) + *in*) + *oj*). В этой форме конечный согласный корня *t* переходит в *s* перед суффиксальным *t*, как и в *месте* из (*met* + *tī*), *прочеть* из (*pro* † *kīt* + *tī*) и т. д.

4. **З а к л ю ч е н и е.** В настоящей статье мы пытались показать сложные взаимоотношения между синтаксическими, сегментными и просодическими явлениями в синхронном плане описания русского языка. Принимая во внимания более глубокие связи, существующие между внешне независимыми явлениями, можно объяснить большое число фонологических процессов посредством относительно небольшого количества простых правил. Правила, приведенные выше в разделе 3.2, дают возможность объяснить альтернации «велярный ~ палатальный» (*щeka* ~ *щечка*; *меш* ~ *мешок* ~ *мешочек* и т. д.), приобретение согласными признака диезности (*брат* ~ *брате*; *несу* ~ *несет*; *сила* ~ *сильный*; *ответ* ~ *ответить*; *писал* ~ *писали* и т. д.), альтернации «гласный ~ ноль» (*пес*, *песик* ~ *пса*; *мох*, *моха* ~ *мох*, *мха*; *девка* ~ *девок* ~ *девчонка*; *холодна* ~ *холоден* и т. д.) и, наконец, кажущуюся сложной альтернацию *e* ~ *o*. Заметим, что любая теория языка, в которой не допускаются абстрактные исходные репрезентации или которая исходит из строгого «разграничения уровней», оказалась бы непригодной для описания даже тех простых видов звуковых вариаций, которые здесь рассмотрены, если, конечно, она не пользовалась бы каким-либо ad hoc методом, например, перечислением всех морфологических категорий, в которых имеют место альтернации³⁴.

³³ Следовало бы ожидать **дощечка* (по модели: *мешбеч*, *мешбчка*, о чем говорилось в § 3.3). Следует отметить, что при деривации *дощечка*, *sk* > *š'č'*, подобно тому, как это наблюдается при деривации слова *щeka* (ср. примеч. 17).

Исторический корневой гласный в слове *доска* был *er* (*dusk*); в синхронном плане можно постулировать корневой гласный *o*. При синхронном описании современного русского языка мы должны постулировать несколько корней, содержащих гласный, отличный от того, который был исторически первичным: чисто синхронно корневой гласный, например, в словах *гнездо*, *звезда* должен быть ненапряженным *e* (ср. им. падеж мн. числа *гнезда*, *звёзды*), хотя первоначальный гласный был напряженный *e*; подобным же образом корневые гласные в словах *ров*, *лед* в настоящее время следует признать соответственно *u*, *i* (ср. род. падеж ед. числа *рва*, *льда*), хотя первоначальными гласными здесь были *o*, *e*.

Форма род. падежа ед. числа *досок* является неправильным образованием, независимо от того, постулируем ли мы корень *dusk* или *dosk*. Ожидаемой формой род. падежа мн. числа является **доск* (ср. *ласка* — *ласк*, *войско* — *войск* и т. д.). Очевидно, существительное *доска* подверглось вторичной интерпретации и стало истолковываться как уже не состоящее из простой основы *dosk*, а из производной основы *dos* + *uk* или *dus* † + *uk*. Во всяком случае, при синхронном описании современного русского языка нельзя постулировать первоначальную основу *dusk*.

³⁴ Упомянем лишь один пример такого ad hoc подхода. А. Н. Гвоздев («Роль исторических чередований в современном русском языке», в кн.: «Избр. работы по орфографии и фонетике», М., 1963, стр. 254), называет 12 морфологических окружений

Диахронически можно утверждать, что в процессе исторического развития русского языка исходные репрезентации оказались особенно стойкими к изменениям и что синхронные фонологические правила отражают исторически звуковые изменения³⁵. Так, например, в современном русском языке не требуется допускать оппозицию «двезные — недвезные согласные» или «велярные — палатальные согласные»³⁶; сохранение правила ($k \sim \check{c}$) и ($C \sim C'$) (они являются отражением очень старых звуковых изменений) позволяет предсказывать приобретение согласными двезности и деривацию палатальных из исходных репрезентаций, которые являются по существу идентичными исходным репрезентациям, восстанавливаемым для праславянского.

Поскольку вопрос о природе синхронного описания с давних времен является неясным, скажем об этом несколько слов. Ф. де Соссюр справедливо требовал резкого разрыва между синхронным и диахронным описанием и правильно отрицал возможность лингвистического описания с панхронной точки зрения (*un point de vue panchronique*)³⁷. Концепция Соссюра о различии синхронного и диахронного описания, однако, вынудила его отрицать любую часть синхронного описания, которая отражает исторические процессы; для Соссюра любое описание, отражающее историческое развитие, должно *ipso facto* рассматриваться как диахронное описание³⁸. В последнее время была высказана неудовлетворенность этой узкой концепцией синхронного описания, особенно среди советских лингвистов (см., например, большое количество докладов и выступлений на дискуссии о соотношении синхронного и исторического изучения языков, проходившей в 1957 г.)³⁹.

Трудности, возникающие при любой концепции, допускающей в чисто синхронное описание элементы диахронии, становятся очевидными, если принять во внимание, что синхронное описание грамматики данного языка отражает то, что носитель этого языка знает о нем (то, что он усвоил).

в которых велярные переходят в палатальные. Хотя правило Гвоздева сложнее, чем наше правило ($k \sim \check{c}$), оно тем не менее не охватывает даже всех случаев, когда происходят альтернации «велярный ~ палатальный». Так, например, правило Гвоздева не дает возможности объяснить следующие альтернации: 1-е лицо ед. числа *леку* ~ 3-е лицо ед. числа *печет*; *друг* ~ *дружеский*; *друг* ~ *дружба*; инфинитив *махать* ~ 3-е лицо ед. числа *машет*; *книга* ~ уменьшит. *книжица* и т. д. и т. п. Для того чтобы придать правилу Гвоздева хотя бы чисто внешнюю адекватность, его следовало бы еще больше усложнить, от чего оно стало бы еще более туманным.

³⁵ Сохранение исходных репрезентаций и синхронное отражение исторических процессов наблюдается, конечно, и в других языках, кроме русского; см.: L. B l o o m f i e l d, *Menomini morphophonemics*, TCLP, 8, 1939; T. L i g h t n e r, *On the phonology of Old Church Slavonic conjugation* (в этой статье см. библиографию, приводимую в примеч. 39), и совсем недавно: A. V. I s a \check{c} e n k o, *The morphology of the Slovak verb*, «Travaux linguistiques de Prague», I, 1964.

³⁶ Предсказание двезности и палатальных согласных в конечной позиции основы существительных (*муж*, *дичь*, *тишь*, *прыц* и т. д.) лежит за пределами проблем, рассматриваемых в этой статье. Подробнее см.: T. L i g h t n e r, *Russian phonology*.

³⁷ См., например: F. d e S a u s s u r e, *Cours de linguistique générale*, Paris, 1960, особенно стр. 114—140.

³⁸ Краткое обсуждение с примерами см.: T. L i g h t n e r, *On the phonology of Old Church Slavonic conjugation*, особенно примеч. 42.

³⁹ См. сб. «О соотношении синхронного анализа и исторического изучения языков», М., 1960. Б. В. Горнунг и В. И. Абаев, в частности, отметили (стр. 5—24; 56—63) неадекватность сосюрской концепции синхронного описания. Положения, которые выдвигают эти ученые, однако, также нельзя признать адекватными, ибо они требуют, чтобы в некоторых случаях при синхронном описании лингвисты прибегали к историческим объяснениям. В. И. Абаев, например, спрашивает (там же, стр. 60): «Как при чисто синхроническом анализе выявить корень в таких глаголах, как *жать* — *жму*, *жать* — *жну*, *мать* — *мну*?» и отвечает (там же, стр. 61): «каждый, кому случалось излагать или преподавать систему языка, знает, как часто приходится прибегать к историческим пояснениям, чтобы стали понятны всякого рода „аномалии“ в языке».

Применение этих правил дает возможность объяснить потерю дизезности в формах типа *пса* (им. падеж ед. числа *пес*), *холодна* (муж. род. краткая форма *холоден*) и сохранение дизезности согласных в формах типа *судьба* (род. падеж мн. числа *судеб*), *горька* (муж. род. краткая форма *горек*) и т. д. Еще несколько примеров.

(i) Применение правила (1): *палеца* (им. падеж ед. числа *палец*), *льда* (им. падеж ед. числа *лед*) и т. д.; в формах типа следующих правило (1) применяется без соотношения с исходной формой: *стрельба*, *дальше*, *только* и т. д.

(ii) Применение правила (2): *отца* (им. падеж ед. числа *отец*), *дворца* (им. падеж ед. числа *дворец*), *конца* (им. падеж ед. числа *конец*), *кавказца* (им. падеж ед. числа *кавказец*), *смутна* (муж. род. краткая форма *смутен*), *ясна* (муж. род. краткая форма *ясен*), *серьезна* (муж. род. краткая форма *серьезен*), *сестра* (род. падеж мн. числа *сестер*), *светла* (муж. род. краткая форма *светел*), *орла* (муж. род. ед. числа *орел*) и т. д.

(iii) Применение правила (3): *певца* (им. падеж ед. числа *певец*), *славна* (муж. род. краткая форма *славен*), *умна* (муж. род. краткая форма *умен*), *немца* (им. падеж ед. числа *немец*), *умру* (муж. род. прош. время *умер*), *удобна* (муж. род. краткая форма *удобен*), *братъ* (1-е лицо ед. числа *беру*), *купца* (им. падеж ед. числа *купец*), *крупна* (муж. род. краткая форма *крупен*), *хребта* (им. падеж ед. числа *хребет*), *пру* (муж. род. прош. время *пер*) и т. д.

(iv) Ни одно из правил не применимо (в связи с тем, что правило (3) действует в отношении всех низких согласных, а приобретение палатальными признака дизезности определяется использованием отдельных правил, в следующих примерах перед недиезными согласными могут стоять только дентальные; дентальные могут быть либо дизезными, либо недиезными): *письмо* (ср. *смотр*), *просьба* (ср. *изба*), *дядьна* (ср. *редно*), *судьба* (ср. *отбить*), *тэма* (ср. *отмытъ*), *тишонько* (ср. *пьянка*), дат. падеж мн. числа *деньгам* (ср. *юнга*), *меньше* (ср. *великанша*), *борьба* (ср. *верба*), *серьга* (ср. *кара*).

2.2. Корректное описание сочетания согласных, в которых конечный согласный — дизезный (*есть*, *ловлю*, *плещет* и т. д.), было ранее дано Р. Якобсоном, который писал: «Суть вопроса состоит в том, что мягкость согласных перед другим мягким не противопоставляется твердости... это просто фонетическое предвосхищение последующей палатализации; и это механическое предвосхищение может выступать в виде всевозможных нюансов палатализации, всевозможных степеней сжатия резонатора, начиная от нулевой стадии, т. е. твердости, переходя в различные промежуточные полутвердые и полумягкие варианты и кончая полной мягкостью согласных. Вместо стабильной нормы... мы обнаруживаем здесь различные индивидуальные колебания; более того, один и тот же индивид в одном и том же высказывании свободно варьирует свое произношение: [s'v'ist'ét'], [sv'is't'ét'], [s'v'ist'ét'] [sv'ist'ét'] и целая гамма промежуточных ступеней»⁴².

Согласно Якобсону, таким образом, при фонетической репрезентации сочетаний согласных, конечный из которых дизезный, признак дизезности первого согласного свободно варьируется и может выступать в любом варианте, начиная от недиезности и кончая полной дизезностью.

3. Об использовании оппозиции «напряженные — ненапряженные гласные» в современном русском языке. Оппозиция «напряженные — ненапряженные» в системе гласных современного русского языка требует кратких комментариев, особенно в связи с тем, что эта оппозиция обычно не упоминается при широкой фонетической репрезентации⁴³. Если, однако, рассмотреть фонологическое поведение (в противоположность чисто фонетическому характеру) восьми исходных гласных, постулируемых нами для русского языка,

⁴² R. Jakobson, [рец. на кн.:] G. L. Trager, Introduction to Russian, «The Slavonic and East European review», XXII, 1944, стр. 126.

⁴³ При узкой фонетической репрезентации (окончательный «выход» фонологического компонента), мы, конечно, должны исследовать каждый гласный с точки зрения наличия или отсутствия признака «напряженный — ненапряженный». Так, например, хорошо известно, что безударные гласные в русском языке являются менее напряженными, чем ударные, и что среди безударных гласных те, которые находятся в позиции непосредственно перед ударением, более напряженные, чем те, которые находятся в других позициях (ср., например: Р. И. Аванесов, Фонетика современного русского литературного языка, М., 1956, стр. 105—106). Ударение является не только фактором, влияющим на напряженность гласных. Так, гласный *é* перед дизезными (палатализованными) согласными является более закрытым, чем в других позициях (ср., например, прош. время мн. числа *сели* [s'él'i] в противоположность прош. времени муж. рода *сел* [s'el]) и, как замечает Аванесов («Русское литературное произношение», стр. 27): «Другое отличие этих звуков заключается в том, что язычковое тело при образовании *е* „закрытого“ находится в более напряженном состоянии, чем при *е* „открытом“».

В этих случаях, однако, напряженность изучаемого гласного должна определяться на основе использования последних правил фонетической избыточности и не связана с различительной оппозицией «напряженный — ненапряженный», которую мы предлагаем применять для исходных фонологических репрезентаций.

выбор признака «напряженный — ненапряженный» для дифференциации пар $\bar{i} - i$, $\bar{u} - u$, $\bar{e} - e$, $\bar{o} - o$ оказывается хорошо мотивированным: i , u , e , o (особенно \bar{i} и \bar{u}) ведут себя как ненапряженные, а гласные \bar{i} , \bar{u} , \bar{e} , \bar{o} — как напряженные. Так, например, мы имеем дело именно с ненапряженными (а не с напряженными) гласными в правилах, объясняющих альтернацию «гласный $\sim \emptyset$ » (правило $u \sim \emptyset$ в § 3.2). Кроме того, ненапряженные (а не напряженные) диффузные гласные u , i манифестируются в виде глайдов w , j в позиции перед гласными⁴⁴. Обычно именно ненапряженные гласные выпадают в неударной позиции, именно ненапряженные гласные варьируются с глайдами⁴⁵.

Абстрактность предложенного здесь фонологического описания объясняется природой самих фонетических данных. Для того чтобы объяснить альтернацию $e \sim o$ в формах типа *сёстрин* \sim *сёстры*, альтернацию «гласный $\sim \emptyset$ » в формах типа *пес* \sim *пса*, альтернации «велярный \sim палатальный» в формах типа *мешок*, *мешка* — *мешочек*, *мешочка* и т. д., необходимо допустить исходные репрезентации, которые часто не стоят в непосредственном отношении к действительным фонетическим репрезентациям, а также исходные репрезентации с систематическим использованием синтаксических структур.

Перевел с английского М. М. Маковский

⁴⁴ Ср.: Т. Л а й т н е р, О циклических правилах..., особенно стр. 50—54. Более подробное обсуждение см.: е г о ж е, *Russian phonology*.

⁴⁵ Ср.: R. J a k o b s o n, M. H a l l e, *Tenseness and laxness*, в кн.: R. J a k o b s o n, G. F a n t, M. H a l l e, *Preliminaries...*, 1963, стр. 57—61.

Л. МОШИНСКИЙ

ОТНОШЕНИЕ СЛОВАРЯ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА
К СЛОВАРЯМ ОТДЕЛЬНЫХ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ *

Отношение словаря церковнославянского языка к словарям отдельных славянских языков определяется в известной мере тем, как мы себе представляем отношение церковнославянского языка, вернее его так называемых редакций, к живому языку той или иной славянской территории.

Источником языка, называемого церковнославянским, был древнецерковнославянский. Этим термином я называю язык древнейших известных нам памятников так называемого церковнославянского канона; классическим древнецерковнославянским я называю неизвестный нам документально язык первых переводов Кирилла и Мефодия, а термин церковнославянский отношу ко всем так называемым редакциям, которые развились из древнецерковнославянского, ставшего литературным языком разных славянских народов¹. Следовательно, церковнославянский язык в начальном периоде его развития, в эпоху, когда еще не существовало взаимодействия и взаимного влияния отдельных его редакций, нельзя представлять как некую доминанту, объединяющую все редакции.

Древнецерковнославянский, к которому восходит церковнославянский язык, первоначально имел народную основу, поскольку солунский диалект в кирилло-мефодиевскую эпоху был живым диалектом; однако нельзя с уверенностью сказать, был ли так называемый классический древнецерковнославянский идентичен живой солунской речи; язык же древнецерковнославянский, послуживший источником церковнославянских редакций, был уже, несомненно, сугубо книжным образованием, т. е. языком, который повседневно не пользовался ни один славянский коллектив. Этот язык проник на территорию почти всех славянских народов и стал там литературным языком. Так возникли редакции.

Каковы же были отношения между отдельными редакциями церковнославянского языка, существовала ли в XIII—XV или XIII—XVI вв. (время, которое будет охватывать словарь церковнославянского языка) какая-то норма или эталон, объединяющий отдельные редакции. Другими словами, развивалась ли в этот период каждая редакция независимо или были какие-то факторы, поддерживавшие связь между ними. Речь идет о том, были ли исторические взаимоотношения редакций подобны, например, взаимоотношениям отдельных славянских языков, развившихся в самостоятельные системы, но сохранивших общий стержень, который можно

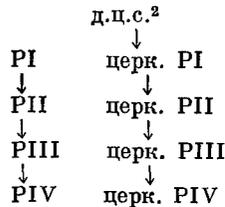
* В этом номере журнала редакция публикует ряд докладов, прочитанных на заседании Комиссии по составлению словаря общеславянского литературного (церковнославянского) языка, которое состоялось в Москве 25—29 апреля 1966 г. Подробный отчет об этом заседании помещается на стр. 147—150. — *Ред.*

¹ Автор пользуется терминами, наиболее употребительными в польской лингвистике. В нашей научной традиции термину «древнецерковнославянский» соответствует «старославянский», а термин «классический древнецерковнославянский» можно было бы передать как «прастарославянский»; ср. термин Н. С. Трубецкого «urkirchenslawische» (примеч. перевод.).

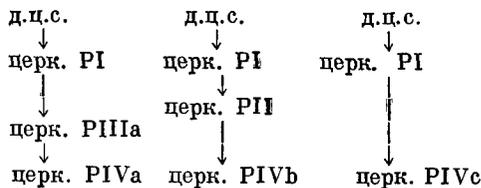
назвать «славянскостью» этих языков, или, быть может, взаимоотношения редакций напоминают взаимоотношения диалектов одного языка, которые, сохраняя структурные черты этнически общего языка, развиваются как микросистемы в рамках одной общей системы, обогащающей диалекты, с одной стороны, а с другой — черпающей из них определенные элементы.

По-видимому, ни то, ни другое. Славянские языки, развивающиеся из одного языка, который мы условно называем праславянским, никогда в своей истории не возвращались к исходным формам, а постепенно изменялись, обновлялись, причем старые элементы, раз вышедшие из употребления, не восстанавливались. Иными словами, в развитии отдельных славянских языков не было репраславянизации. Живой язык общества развивался всегда спонтанно и прогрессивно, и то, что двенадцать славянских языков сохранили до сих пор славянские системные черты, объясняется, вероятно, имманентной силой этих черт, а не сознательным стремлением их удержать.

Церковнославянские редакции, наоборот, развивались в атмосфере постоянной рецерковнославянизации (этот термин я использую вместо более громоздкого, но более точного «древнецерковнославянизация»), поскольку они никогда не были живым языком общества, довольствующегося устной коммуникацией. Они были своеобразным копированием образцов, написанных на языке, признанном литературным. Говоря «своеобразным», я имею в виду, во-первых, неточность копии, часто сознательную, а иногда — бессознательную. Однако в обоих случаях литературный язык приближался к разговорному, что и создавало так называемые редакции. Во-вторых, я имею в виду отсутствие хронологической непрерывности списков. Например, если буквами Р, С, Х и т. д. обозначить отдельные системы живых языков (русского, сербского, хорватского), а цифрами I, II, III и т. д. — этапы их развития, то можно схематически показать, что развитие живых систем шло путем нормальной эволюции, тогда как в развитии редакций, безусловно, должны были быть этапы регрессии. Например:

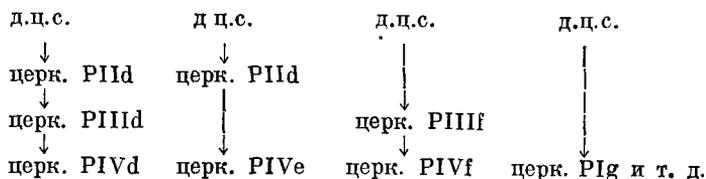


но и так:



² д.ц.с. — древнецерковнославянский язык; церк. Р — церковнославянский язык русской редакции; церк. Х — церковнославянский язык хорватской редакции; церк. Ч — церковнославянский язык чешской редакции; буквами а, б, с и т. д. обозначаются разновидности данной редакции в определенный период ее развития (I, II и т. д.), возникшие в связи с отсутствием хронологической непрерывности списков.

и даже так:



Современная филология пока еще не в состоянии и вряд ли скоро сумеет установить точную взаимную зависимость различных церковнославянских списков и протографов, особенно если учесть случаи смещения редакций (например, церк. X III → церк. Ч IIa и т. п.).

Развитие редакций из-за их постоянной и специфической для каждой отдельной редакции рецерковнославянизации не аналогично развитию нескольких языков из одного праязыка. Однако оно не аналогично также схеме развития диалектов, принадлежащих системе одного языка, поскольку диалекты, хотя и опираются в разные периоды истории на общую систему, не прерывают сплошной линии своего развития, будучи живыми системами.

Эта специфика развития редакций приводит к тому, что, несмотря даже на значительное приближение к народному языку, так называемые редакции остаются только редакциями своего рода церковного надъязыка, и тем самым отдельные редакции, опирающиеся на разные славянские языковые системы, не становятся разновидностью литературных славянских языков. Они остаются более тесно связанными друг с другом, чем с соответствующими литературными языками. Эта, происходившая в разных формах и в разное время, постоянная и неуклонная рецерковнославянизация позволяет нам трактовать редакции как разновидности одного языка. Тем самым различие редакций — иного типа, чем различие между языками, с одной стороны, и диалектами одного языка — с другой, хотя все же оно ближе к последнему. Таким образом, редакции — это составные части одного языка, назовем ли мы его церковнославянским или общеславянским литературным языком. Вероятно, правильнее было бы называть его межславянским или международным литературным славянским языком.

То, что было сказано о взаимоотношении редакций, некоторым образом проливает свет на отношение редакций к народному языку. Это не литературный вариант народного языка, пусть даже церковнославянизированный. Существенное различие между, например, русской редакцией XV в. и так называемым высоким стилем русского языка XVIII в. состоит в том, что в первом случае, несомненно, происходил процесс церковнославянизации, а во втором речь идет о церковнославянизированном народном языке. Поэтому в первом случае мы имеем дело с редакцией, а во втором — с одним из стилей живого литературного языка. Следовательно, о принадлежности текста к редакции или к церковнославянизированному стилю народного языка должна свидетельствовать не столько его насыщенность народным или церковнославянским элементом, сколько факт и степень рецерковнославянизации. Разумеется, практическая оценка этого сложна, но это уже особый вопрос. О способах отличения церковнославянских редакций от церковнославянизированных народных языков уже писала А. Назор³. Это трудная проблема, требующая применения специальных критериев оценки отдельно для каждой редакции.

³ См.: A. N a z o r, Jezični kriteriji pri odredjivanju donje granice crkvenoslavenskog jezika u hrvatskogolajskim tekstovima, «Slovo», 13, 1963.

Особо стоит проблема отношения болгарской редакции к народному болгарскому языку. Здесь необходимо ответить на вопрос: сохранялся ли древнецерковнославянский язык, восходящий к системе солунского диалекта, но в своей развитой литературной форме ему не идентичный, в качестве литературного языка, хотя и вшивавшего локальные элементы иного, но близкого ему диалекта, на территории которого он распространился (например, преславского), оставаясь при этом болгарской редакцией церковнославянского языка. Или слишком большое сходство обоих языков обусловило то, что древнецерковнославянский язык был сразу вытеснен живым языком. Окончательный ответ на этот вопрос могут дать лишь специалисты-болгаристы; представляется, однако, что оба ответа возможны, хотя не исключено, что часть памятников, относимых к болгарской редакции церковнославянского языка, написана живым болгарским языком. Такие памятники, конечно, должны стать материальной основой словаря древнеболгарского, а не церковнославянского языка. Распределение близких в языковом отношении болгарских текстов на три группы, а именно на 1) тексты, писанные живым болгарским языком, 2) тексты, писанные церковнославянизированным стилем болгарского языка, 3) тексты, писанные церковнославянским языком болгарской редакции, — несомненно, дело очень трудное, хотя и необходимое для изучения исторического развития как болгарского, так и церковнославянского языков. Филологам-болгаристам следовало бы составить реестр всех текстов с учетом приведенной выше классификации, тогда как церковнославянский словарь может использовать только тексты, относящиеся к третьей группе. Памятники же живого болгарского языка, так же как и болгарские церковнославянизированные тексты, должны послужить основой исторического словаря болгарского народного языка.

Все, что было сказано об отношении так называемых редакций к народным языкам, с одной стороны, и к церковнославянскому языку — с другой, определенным образом проливает свет на концепцию словаря церковнославянского языка.

Вопрос о том, разрабатывать ли единый церковнославянский словарь или несколько словарей отдельных редакций, тесно связан с трактовкой самих редакций. Если считать их только редакциями, подвергавшимися в своем развитии постоянной речерковнославянизации, а не особыми литературными языками, то придется принять и концепцию единого общего словаря. Правда, может показаться, что для сравнительного анализа живых славянских языков и соответствующих редакций удобнее пользоваться частными словарями, составленными отдельно для каждой редакции, но это лишь видимое облегчение положения. Словари отдельных редакций не покажут нам того, что в них относится к общецерковнославянскому фонду, а что привнесено живым локальным языком. Только общий единый церковнославянский словарь всех редакций выделит должным образом элементы церковные, общие для всех редакций, и элементы индивидуальные, характерные для отдельных редакций или их групп. Такого рода словарь даст, с одной стороны, полную картину языка, который можно называть общеславянским или лучше — межславянским, или международным литературным славянским языком; с другой стороны — словарь даст полноценный сравнительный материал для филологов — специалистов по отдельным славянским языкам. Мне кажется, что филология отдельных живых славянских языков больше нуждается в едином, разумеется доброкачественном, словаре церковнославянского языка, демонстрирующем как общие, так и специфические элементы отдельных редакций, чем в лишенных сопоставительной фактической базы частных словарях отдельных редакций. Словари древнерусский, древнесербский, древнеболгарский и

т. д. требуют сравнения не столько со словарями русской, сербской, болгарской и т. д. редакций, сколько с общим словарем. Сравнение, например, древнерусского словаря со словарем русской редакции не выясняет должным образом, какие элементы древнерусской лексики принадлежат к общецерковнославянским, а какие специфичны для данной редакции. Это может дать только общий словарь. Собственно речь идет о той части словаря, локальный характер которой не может быть установлен без такого общего обзора всех редакций.

Итак, общий словарь всех редакций даст нам, с одной стороны, полную картину языка, значение которого в развитии славянской культуры не подлежит сомнению, картину, не раздробленную на атомы отдельных редакций; с другой стороны, для филологии отдельных славянских языков такой словарь будет, по моему мнению, более пригоден, чем словари отдельных редакций, затушевывающие, а не подчеркивающие различия между так называемыми редакциями церковнославянского языка и отдельными славянскими языками.

Проблема хронологических границ церковнославянского словаря также должна решаться с учетом нужд не только церковнославянской филологии, но и славянской филологии вообще. В докладе, представленном на заседании комиссии церковнославянского словаря (Загреб, 1963 г.), я указывал, что было бы целесообразно собрать полный лексический материал одного исторического периода со всей славянской территории. Это был бы фундаментальный материал первостепенной важности, основа для дальнейших сравнительных славянских штудий.

Ограничение церковнославянского словаря XV в. или включение также и XVI в. должно зависеть от планов создания словарей живых славянских языков. Разумеется, легче создать такие словари для XV в., чем для XVI в., однако, как кажется, развитие славянской письменности и литературных языков подсказывает все же XVI в. как лучший период для обозрения одного синхронного среза по всему славянскому миру. Очевидно, пройдет еще много лет, прежде чем мы будем располагать историческими словарями всех славянских языков; тем не менее следует, может быть, пересмотреть проблему хронологических рамок церковнославянского словаря и с этой точки зрения. Если мы будем стремиться к разработке синхронного среза XV в., то церковнославянский словарь может быть ограничен XV в.; если же стремиться к осуществлению такого синхронного обзора по XVI в., то он должен включить и тексты XVI в. Разумеется, это вопрос дискуссионный. Все же мне кажется, что огромное богатство славянской письменности XVI в. заставляет считать необходимым как можно более полно использовать материал именно этого периода. К такому выводу приводит, по крайней мере, огромная разница в объеме филологического словарного материала польского языка XV и XVI вв.

Перевела с польского С. М. Толстая

В. Ф. МАРЕШ

ПРОЕКТ ПОДГОТОВКИ СЛОВАРЯ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА *

Ц е л ь с л о в а р я . 1. Словарь церковнославянского языка должен охватить церковнославянскую лексику настолько, чтобы он а) обеспечивал перевод и толкование текстов, облегчал их понимание и изучение; б) обеспечивал изучение словарного состава церковнославянского языка, славянских языков вообще и в известной мере даже и неславянских языков (сравнительные работы по индоевропейским языкам, заимствования славянских слов в новогреческом, румынском, венгерском языках и т. п.); в) давал информацию о грамматических явлениях в той мере, в какой это ожидается от словаря, т. е. приблизительно так, как словарь старославянского языка; г) был полезным и для других научных дисциплин, например при изучении славянских древностей, для истории права, византинологии и т. д.

2. Необходимо, следовательно, чтобы в словарь было включено как можно больше слов и их значений, ясно показывающих как временную, так и пространственную перспективу (разные редакции языка). Учитывая обширность церковнославянской литературы, следует помнить, что максимально допустимая экономия в большинстве случаев будет на пользу наглядности подготавливаемого труда.

С о о т н о ш е н и е с л о в а р е й с т а р о с л а в я н с к о г о и ц е р к о в н о с л а в я н с к о г о я з ы к о в . 3. Составление текста церковнославянского словаря начнется, видимо, в то время, когда пражский академический словарь старославянского языка будет напечатан уже весь или почти полностью. Церковнославянский словарь в известном смысле будет его органически продолжать.

Но это будет не просто механическое продолжение: материал старославянского словаря далеко не ограничен так называемым каноном и не заканчивается XI в., так что оба словаря будут частично соприкасаться и перекрещиваться. Их взаимопроникновение будет заключаться также в том, что церковнославянский словарь, несомненно, зафиксирует целый ряд древних слов, которые не были охвачены экскерпцией старославянского словаря только потому, что не встретились в древних текстах, тематика которых относительно узка (об этом красноречиво свидетельствует, например, опыт с Беседами Григория Великого при работе над старославянским словарем). В расширении тематики привлекаемых текстов, бесспорно, одно из важнейших достоинств подготавливаемого труда; большое значение будет иметь также относительное увеличение доли оригинальных текстов по сравнению с текстами переводными.

4. Вряд ли стоит показывать сходные черты обоих словарей; укажем лучше, в чем будет их различие. Церковнославянский словарь не потребует специальной обработки словарного состава текстов, привлеченных в старославянском словаре. Он должен будет отразить дальнейший этап развития, охватывая при этом как можно более широкий круг тем и дифференцируя региональные особенности.

5. Церковнославянский словарь не может просто продолжаться от верхней временной границы словаря старославянского: церковнославянский язык начинается не в XII в., а в Солуни, или же (в своей компромиссной

* Настоящий проект был разработан в 1963 г. и представлен на загребском и московском заседаниях Комиссии. См. информационные сообщения в журн. «Slavia», XXXIII, 3, 1964; XXV, 4, 1966 (в печати).

межславянской форме) в Великой Моравии. Иначе мы лишились бы исходного пункта и важного отрезка исторического развития.

б. В связи с этим я предлагаю следующий план:

а) В церковнославянский словарь следует включить в се старославянские слова, которые были охвачены пражской экскерпцией (и, следовательно, представлены или будут представлены в старославянском словаре) и которые уже не встретятся в церковнославянских текстах (точнее говоря, не будут охвачены экскерпцией для церковнославянского словаря). Таких выражений, вероятно, будет очень мало. В церковнославянском словаре они будут указаны со всеми своими значениями, но с минимальной документацией и будут снабжены пометой «ст.-сл.», что служит отсылкой к старославянскому словарю. Было бы целесообразно указать и перечень памятников, в которых они представлены.

б) Однако, если эти слова будут явно или весьма вероятно чешско-церковнославянскими (известными только или почти только в чешско-церковнославянских текстах), то было бы хорошо повторить в церковнославянском словаре всю статью из старославянского словаря, конечно с примечанием; в противном случае из сферы церковнославянского языка оказалась бы исключенной чешская редакция.

в) Отдельные значения старославянских слов, которые не встретились в церковнославянских текстах, следует указывать таким же способом, как это указано в а) и б). Подобных случаев, вероятно, также будет немного.

г) Церковнославянские слова и их значения, не имеющие временного или территориального ограничения (главным образом, общеславянские слова и значения) и некоторые вполне укоренившиеся старославянские слова, особенно термины, могли бы характеризоваться лишь схемой их семантической структуры без справочного аппарата (заимствованной из старославянского словаря или заново разработанной), а также замечанием типа: «засвидетельствовано в церк.-слав. и является нейтральным во временном и территориальном отношении» или «отсутствует (значение или слово) в хорватско-глаголической редакции» или «в русск. церк.-слав. с пол. XIV в. заменено словом...» и т. п. (конечно, справочная часть словарной статьи всегда желательна и отказаться от нее можно, если бы мы опасались чрезмерно увеличить объем словаря; этот вопрос станет яснее, когда мы будем располагать хотя бы частью материала).

д) Слова или отдельные значения, которые представит экскерпция церковнославянских текстов, разрабатываются самостоятельно и очень подробно, со справочным аппаратом.

е) Слова или значения, зафиксированные в старославянском словаре только из чешско-церковнославянских памятников или из поздних памятников других редакций, следовало бы (вероятно, с примечанием) разработать «равноправно» с примерами, охваченными экскерпцией для церковнославянского словаря: с одной стороны, потому, что чешская редакция стоит в ряду других редакций, с другой стороны, потому, что в рукописях чешско-церковнославянских текстов (в своем большинстве это копии русского или хорватско-глаголического происхождения) и в более поздних копиях древних текстов часто бывают, например, явно русско-церковнославянские слова.

Детали обработки можно будет установить уже в соответствии с опытом работы над новым материалом: пока речь идет прежде всего о том, чтобы уяснить, чего мы ожидаем от экскерпции и, следовательно, какое направление необходимо ей придать.

П р и м е ч а н и е. Говоря о чешской редакции церковнославянского языка, мы имеем в виду тот круг памятников, который был использован при экскерпции для старославянского словаря (см. также ниже § 15).

Временные границы памятников, которые следовало бы учитывать при эксцерпции. 7. Рукописи, использованные в старославянском словаре, вновь расписываться не будут. Таково единственное ограничение относительно плана прошлого. Если со временем будет открыт новый старославянский или чешско-церковнославянский текст (в отношении палимпсестов это вполне вероятно), который не будет включен в старославянский словарь (даже в дополнениях), то рекомендуется его расписать, причем эксцерпция должна быть достаточно тщательной или даже полной. В будущем словаре подобный случай было бы желательно выделить каким-нибудь типографским способом.

8. Верхней временной границей мы считаем возникновение той относительно единой языковой формации, которая обычно называется новым церковнославянским языком. Это новоцерковнославянское «койне» представлено только двумя редакциями: хорватской глаголической и в Истрии, а в XX в. в западной литургии перенесена в Чехию и Моравию, и русской (восточной) с украинским вариантом (его отличие по существу только в произношении), которая распространилась на остальной территории (третья, искусственная, редакция, чешская, осталась на стадии экспериментов Вайса). Тот период, когда указанный новый тип языка начинает приобретать серьезную базу и стабилизироваться, уже выходит за временные рамки подготовляемого словаря. Более конкретно этот вопрос должны решать исследователи разных стран, причем каждая национальная группа для своей редакции языка. Окончательное решение, требующее координации, должно быть принято на общем совещании.

Пожалуй, можно было бы сказать, что будут подвергнуты эксцерпции памятники до XV—XVI вв. (восточного и хорватского глаголического ареала); более новые рукописи следует привлекать для эксцерпции только в тех случаях, когда для этого есть какое-то основание (например, очень архаическая копия текста, интересного своей лексикой, но не сохранившегося в ином виде). Впрочем в отношении верхней временной границы мы не даем каких-либо категорических рекомендаций.

Отбор текстов для эксцерпции. 9. Тексты будут предложены национальными комиссиями после обсуждения со специалистами по тематическим областям (например, с историками, с историками права, византологами и т. п.) в тесном сотрудничестве с библиотеками, в которых хранятся рукописи (в отличие от старославянского словаря, эксцерпции подвергнутся по большей части неизданные рукописи). Задачей международной комиссии будет координация этих предложений и задача о соответствующей пропорциональности в соотношении отдельных редакций. При этом в качестве критерия не следует рассматривать просто относительно большее число всех сохранившихся рукописей; необходимо стремиться к тому, чтобы словарь как можно лучше отразил церковнославянский словарный состав в его развитии и территориальном распространении. Национальные комиссии могли бы предлагать для эксцерпции как тексты своей языковой редакции, независимо от того, где они хранятся, так и тексты других редакций, которые хранятся на их территории, — у них об этих текстах может быть гораздо больше сведений. Само собой разумеется, в этом отношении следует рассчитывать и на активное сотрудничество с теми неславянскими странами, где хотя и не процветала церковнославянская письменность, но все же имеются церковнославянские рукописные собрания (Париж, Ватикан, Лондон и т. п.). вполне возможно, что некоторые памятники будут предложены неоднократно (евангелие

Реймское могут предложить чехи, русские, хорваты и французы), однако эти кажущиеся коллизии будут не во вред делу: путем координации в международной комиссии не трудно будет установить, к т о их должен распisyвать, а опасность упущения будет сведена к минимуму.

10. Несколько основных текстов каждой редакции будет отобрано для полной экскерпции (см. §§ 14 и 15). Главной задачей будет, однако, подбор текстов для сетевой экскерпции, которая явится основой подготавливаемого словаря: необходимо будет стремиться к тому, чтобы экскерпция, насколько это возможно, отразила точки пересечения места (редакции языка), времени и тематики. Тематика имеет здесь большое значение не только из-за многочисленных расхождений в словарном составе, который в общих чертах определен и ограничен сюжетом, но также из-за различий стилистических. Для каждой редакции и для каждого столетия я предлагаю отобрать из каждого тематического круга, представленного памятниками, по несколько типичных рукописей, относительно которых можно обоснованно предположить, что они в достаточной степени исчерпывают словарный состав данного тематического круга. [В качестве примера этих тематических областей сошлемся на перечень рукописей пражского музея, приводимый в кн.: J. Vašica, J. Vajs, *Soupis staroslovanských rukopisů Národního muzea v Praze* (Praha, 1957) на стр. 519; памятники исторические, грамматические и языковые, литературные, юридические, церковно-правовые, аскетические, библейские, жития, гомилетические, литургические, канционалы, памятники догматические (и полемические). Разумеется, тематика собрания пражского музея не является исчерпывающей: например, будут очень важны тексты грамот (их можно включить в раздел исторических и юридических памятников), затем — и для древнего периода — памятники эпиграфические, как восточные, так и хорватско-глаголические, «специальная» естественнонаучная литература («физиологи»), астрономическо-астрологическая и т. д. Вероятно, и понятие «литературные памятники» является достаточно широким, и необходимо будет в этой обширной тематической области провести более детальный отбор по жанрам и сюжетам.]

11. Отбор по месту возникновения, т. е. по языковой редакции. Когда мы говорим о редакциях церковнославянского языка, мы имеем в виду следующие шесть редакций: а) среднеболгарскую (болгарско-македонскую); б) русскую; в) сербскую; г) хорватскую глаголическую; д) чешскую; е) румынскую.

Что касается Фрейзингенских отрывков (старославянский текст со словенскими элементами), то мы рекомендуем включить в церковнославянский словарь весь их словарный состав, хотя он уже включен в словарь старославянского языка.

На усмотрение национальных комиссий необходимо оставить заботу о соответствующем представлении более дробных вариантов и групп; мы имеем в виду такие случаи, как севернорусский и южнорусский вариант или галицко-волинская группа в рамках русской редакции, разные группы сравнительно гетерогенной румынской редакции и т. п.

12. При отборе типичных образцов языковых редакций мы должны учитывать прежде всего лексическую сторону текста. Она, как известно, не всегда совпадает с внешним фонетическим или грамматическим обликом. Хорошим примером являются Беседы Григория Великого: с точки зрения фонетической, ленинградская рукопись этих Бесед является несомненно русской, морфология рукописи довольно архаическая, а в плане лексическом и синтаксическом рукопись насыщена многочисленными чешскими элементами; следовательно, этот памятник с точки зрения лексики чешско-церковнославянский, а по фонетике — русско-церковнославян-

трех примеров) или же в искаженном виде; незасвидетельствованных (или засвидетельствованных очень редко) в картотеке старославянского словаря в определенном значении, конструкции или фразе; специальных и иных случаев, которые определяются в ходе самой работы.

Например, могла бы сложиться такая ситуация: какое-нибудь слово представлено в старославянском словаре как периферийное — из памятников, дошедших в русско-церковнославянских копиях, — а новая эксцерпция установит, что оно в русской редакции является вполне обычным.

Разумеется, даже примеры на новое слово (значение, конструкцию, фразу и т. д.) не следовало бы собирать сверх необходимого количества примеров, иллюстрирующих значение, употребление, а также распределение данного слова или фразы во времени и пространстве.

Наибольшее количество собранных примеров на одно слово необходимо устанавливать с точки зрения потребностей словаря — как можно лучше зафиксировать, представить и проиллюстрировать это выражение, его значение и распространение. Поэтому я предлагаю собрать в каждом центре около 20 примеров на каждое выражение и значение, т. е., например, всего 40 примеров на слово, имеющее два значения — конечно, если такое количество имеется в нашем распоряжении. Если в некотором центре путем эксцерпции одного или нескольких памятников мы получим исходную базу в 20 карточек на слово и значение, однако слово (и значение) будет и дальше попадаться в других памятниках, то необходимо будет выписывать его из каждого нового памятника, но только приблизительно до пяти примеров.

Это предложение излагается здесь лишь в общих чертах: было бы нецелесообразно собирать слишком большое количество выписок, которые не давали бы ничего нового и полезного; это вело бы к чрезмерному разрастанию картотек и затрудняло бы ориентировку в них. И наоборот — необходимо трезво обдумывать отдельные, особые случаи, которые нельзя предусмотреть заранее. Конечно, можно будет выписывать слово и сверх основного лимита, если для этого будет особая причина. Такой причиной может быть хотя бы хороший ясный пример (например, употребление слова в противопоставлении другому), новая ранее не установленная параллель в оригинале, если речь идет о переводном тексте¹, новая конструкция или фраза, значимость самого слова и т. п.

19. Подбор слов для сетевой эксцерпции будет задачей работников с большим опытом. Ориентироваться в этом поможет старославянский словарь (если он будет уже опубликован), а также его словник и информационная служба. Чехословацкий центр церковнославянского словаря может организовать размножение предварительного словника по материалам картотеки, до сих пор не изданным. Было бы желательно, чтобы он содержал: список всех слов, их греческие и латинские параллели, по возможности — значения, употребляемость слова в текстах; употребляемость в текстах достаточно было бы указать очень кратко, например «occurret in», в некоторых случаях частоту: 1х, 2х, 3х и дальше без обозначения, и, пожалуй, у очень употребительных слов «saere» или «saerissime». Хотя составление этого предварительного словника потребует тщательности и аккуратности, не следует его слишком откладывать: возможные несовершенства или неполнота не могут поставить под угрозу работу, базирующуюся на словнике; помимо этого, постепенный выход в свет томов словаря даст возможность шаг за шагом заменять слов-

¹ Я рекомендую при отборе учитывать и параллели, разумеется, в рамках возможности (например, считка с оригиналом), не слишком тщательно: если какая-нибудь параллель будет пропущена, это не приведет к серьезному дефекту.

ник. Для особых случаев в старославянском словаре могла бы быть учреждена служба информации. Достаточно было бы время от времени присылать вопросы, накопившиеся на местах, где подготавливается церковнославянский словарь.

Когда в отдельных центрах при помощи сетевой экскерпции будет обработано около 1000 страниц текста, полезно было бы подготовить и провести совещание, на котором путем сравнения выписок определен бы общий метод.

Техника сетевой экскерпции. 20. Расписывать следовало бы фотокопии рукописей и надежные издания, если они существуют². Только в том случае, если оригинал утерян или уничтожен, придется удовлетвориться тем, что доступно. Ответственный работник на фотокопиях или в издании отметит слова (по мере необходимости и конструкции, а иногда, вероятно, и контекст), которые затем будут обрабатываться расписывающими.

21. Как для последующей разработки статей, так и для обеспечения сохранности материала было бы весьма полезно продумать возможность размножения карточек при помощи современных технических средств.

22. В отношении группы (в) (см. § 14) можно было бы применить иной вид сетевой экскерпции, а именно экскерпцию дифференциальную. При ее помощи был бы получен сопоставимый материал из важных церковнославянских текстов, которые параллельно сохранились и в старославянских памятниках, а также сопоставимый материал из параллельных или восходящих к одному образцу церковнославянских текстов, особенно если они относятся к разным периодам или разным языковым редакциям. Так, например, следовало бы расписать русско-церковнославянское Архангельское евангелие XI в., или сербско-церковнославянский кодекс Хвала, или важные хорватско-глаголические часословы, сопоставив их со старославянским текстом или с тем церковнославянским, который будет взят за основу (полная экскерпция; см. § 15). Следовало бы провести считку текстов, что помогло бы выявить наиболее важные для экскерпции варианты. Такая экскерпция явилась бы в наибольшей степени выборочной. Она была бы целесообразной и вместе с тем очень экономной.

23. Возможные пробелы в текстах при всех трех видах экскерпции могли бы восполняться при помощи параллельных текстов так, как это делалось в старославянском словаре (см. вводные статьи в вып. 2, на стр. LXII и сл., например № 3, 13, 14 и т. д.).

24. При установлении последовательности в работе можно было бы определить, что полная экскерпция основных текстов и экскерпция сетевая, которой будет намного больше, с самого начала работ будут проходить параллельно, причем полная экскерпция со временем отпадет. Для проведения дифференциальной экскерпции останется относительно много времени.

Оформление карточек. 25. Метод экскерпции полезно позаимствовать у старославянского словаря. Этот метод себя оправдал. Можно предложить только некоторые исправления и дополнения.

Формат карточек предлагается А6 (105 × 148 мм). Это формат стандартный, достаточно большой и, по-видимому, везде распространенный. Для небольших карточек («обратных» — индексных и ретроградных; см. § 33) я рекомендую половину этого формата, т. е. А8 (52 × 74 мм). В старосла-

² Качество издания необходимо предварительно проверить беглой считкой с рукописью. Из опыта известно, что хорошие издания — явление нечастое. Церковнославянский словарь по сравнению со старославянским имел бы то преимущество, что для расписывающего почти всегда были бы доступны оригиналы памятников.

вянском словаре использовался другой формат (104 × 164 мм и его половина).

26. Заглавное слово на карточке дается в грамматически нейтральной форме (nom.sg., infinitivus) и в нормализованной орфографии, как это делается и в старославянском словаре; затем следует установление флексии и части речи (см. старославянский словарь, вып. 2, стр. I—XXVIII; XXIX—XXXI; XXXVI—XXXIX; XLV—XLVIII, LIII—LV) с той оговоркой, что компаративы от иного корня, чем позитивы (болии, сунни и т. п.) представляют, согласно дополнительному решению редакции, самостоятельные слова. Церковнославянское слово всегда следовало бы приводить в нормализованной («идеальной») старославянской форме, хотя, возможно, оно и не будет в ней зафиксировано; это совершенно необходимо, если ставить перед собой задачу: материал, выписанный из текстов самых различных языковых редакций, свести к общему знаменателю (иначе получился бы очень неясный конгломерат).

(Новое по сравнению со старославянским словарем:) Под этим заглавием можно было бы привести второе заглавное слово, нормализованное согласно соответствующей редакции церковнославянского языка. Это имело бы значение для возможных частных словарей отдельных редакций или же памятников. Для редакции среднеболгарской вполне достаточно было бы только старославянской формы.

Чешская редакция эмаузского периода, которая характерна своей лексикой, а не фонетикой, а также Краковские отрывки будут помещены на второй строке в нормализованной хорватско-глаголической форме.

Пример двойного заглавного слова на карточках: на первом месте дается слово, нормализованное по-старославянски, на втором — по-церковнославянски в соответствии с отдельными редакциями.

Редакции:

русская	сербская	хорватская глаголическая	чешская
патъкъ ш.	патъкъ ш.	патъкъ ш.	патъкъ
патъкъ	петькъ	петькъ	патъкъ
сѣднице п.	сѣднице	сѣднице	сѣднице
сѣднице			
оутвърждение п.	оутвърждение, (-ие) ⁴		оутвърzenie
оутвърждение ³			
вѣсакъ ргоп.			
вѣсакъ	вѣсакъ	вѣсакъ ⁴	вѣшакъ
ѡза f.	ѡза	ѡза ⁴	ѡза
ѡко сопj.			
ѡко	ѡко	ѡко ⁴	ѡко

³ В редакции русской и в южнославянских лучше оставить ш, жд.

⁴ Учитывая традицию глаголической графики, в хорватской глаголической редакции не следовало бы различать ѡ и ѡ, а также ѡ и ѡ.

27. Наверху с правой стороны обозначается местонахождение слова в памятнике, как это делается в старославянском словаре (столбец и строка рукописи—типа Ves 198 а β 20), а если нужно, то даются и другие указания (издание, для евангелия — место в библии). Это имеет то преимущество, что указание на место сохраняет значение и для новых изданий. Для регулярно продолжающихся библейских текстов (например, тетраевангелие, псалтырь) достаточно указать место в библии (в отношении библейских текстов это очень важно для изучения параллельных текстов; поэтому весьма непрактичен индекс Ягича в Мариинском евангелии, составленный

постранично)⁵. В случае необходимости можно ввести еще и подзаголовок (для словосочетаний, сращений или фразеологических единиц, переводимых только как целое).

28. Под заглавным словом помещаются параллели греческие, латинские, возможно и из других языков, если текст переводной — так, как это делалось в старославянском словаре. Затем следует перевод, как можно более точно выражающий значение церковнославянского выражения в данном контексте. Перевод на родной язык расписывающего (эксерптора) будет лучшей гарантией точности. Этот перевод, контекст, а при случае и параллельный текст оригинала позволит сделать дополнительный перевод и на другие языки. Вероятно, можно было бы пожелать, чтобы нерусский эксерптор давал бы также русский перевод в тех случаях, когда он в этом переводе уверен (в противном случае это только мешало бы). Лишь представителей менее известных неславянских языков (например, румын и венгров) следует просить всегда дополнительно давать перевод на какой-нибудь (любой) славянский или международный язык (французский, английский, немецкий или латынь), хотя бы в тех случаях, когда нет точной греческой или латинской параллели.

29. На следующей строке размещается соответствующая грамматическая форма слова вместе с моделью управления; эта форма сохраняется в первоначальном, ненормализованном виде. Пример сопровождается грамматическим определением формы. Грамматические определения здесь и в других местах я рекомендую давать принятыми выражениями и сокращениями латинской грамматической терминологии (как в старославянском словаре).

30. Далее будет следовать цитата полного контекста в том виде, как она представлена в рукописи, а ниже, если текст является переводным, та же цитата на языке оригинала. В цитате (если она двуязычна, то в обоих звучаниях) подчеркивается выписываемое слово. Места совершенно неразборчивые можно дополнить конъектурой в круглых скобках или, если мы на это не решимся, точками по количеству предположительно недостающих букв. Если буква опущена по ошибке писца, то мы можем ее реставрировать в угловых скобках < > или же сделать помету (sic!). Если же по ошибке написаны лишняя буква, группа букв или даже слово (обычно дубликация), то мы можем прибегнуть к квадратным скобкам [] или же также ограничиться пометой (sic!), а по возможности дать более конкретное примечание; в тексте же ошибку исправлять нельзя. Церковнославянские сокращения в цитатах на карточках в принципе раскрывать не следует (практика будущего словаря может оказаться иной, но на карточках их можно оставить), выносные буквы над строкой надо строго сохранять, так же как и старую пунктуацию. Лигатуры следует раскрывать. Греческие и латинские слова давать в современной орфографии.

31. Левый нижний угол хорошо бы забронировать для вариантов славянских текстов (если они не будут на особых карточках; ср. § 22) и текстов-образцов. Правый нижний угол резервируем для примечаний. Лучше, чтобы вспомогательным языком эксерпции, а следовательно, и примечаний был родной язык эксерптора (если эксерптор не предпочтет какой-нибудь другой язык), а для румын и венгров — любой славянский или международный.

32. Характер церковнославянского словаря для облегчения ориентировки и улучшения наглядности требует еще двух дополнений: к определению

⁵ Место в библии наряду с пагинацией следует указывать и тогда, когда это библейские цитаты или целые отрывки в памятниках небиблейского характера (конечно, если это удастся обнаружить). Это предупреждение касается примечаний в правом нижнем углу карточки (см. § 31).

места в правом верхнем углу следовало бы подключить определение редакции (С — чешская, R — русская, B — среднеболгарская, S — сербская, Ch — хорватско-глаголическая, Rm — румынская). Если редакция смешанная, то решающим фактором должен быть доминирующий общий характер памятника или лексикографические критерии, по которым этот памятник был включен в эксцерпцию. Таким образом, определение редакции в некоторых случаях неизбежно окажется приблизительным.

В правом нижнем углу (в примечаниях) должно быть наименование центра, где проводилась эксцерпция (Прага, Брно, Москва, Загреб и т. п.). Это не только гарантировало бы авторские претензии и ответственность, но и давало бы возможность легко установить, где находится карточка-оригинал и где можно запросить более детальную информацию. Оба эти примечания следовало бы на карточках размножить заранее.

33. Помимо нормальных «больших» карточек, для эксцерпции следовало бы завести на случай необходимости карточки такого же формата для ссылок. Они содержали бы только заглавное слово (в обоих нормализованных видах), определение части речи (*adj.*, *num.*, *pron.*, *conj.*, ...) или грамматическое обозначение категории, которое замещает определение класса слова (*m.*, *f.*, *n.*, *pl.*, *ipf.*, ...), место слова в памятнике и отсылку ч. (т. е. *vide...*).

Кроме этого, следует завести обратные (малые) греческо-церковнославянские карточки, а в случае необходимости также латинско-церковнославянские или иноязычно-церковнославянские, если текст переводной, как это сделано в старославянском словаре (следует учитывать лишь текст оригинала, а не старый параллельный перевод; например, к библейским текстам, переведенным с греческого, в старославянском словаре на больших карточках приводилась греческая и латинская параллель, однако маленькие карточки были только греческо-старославянские). На этих карточках будет указана только основная форма на языке оригинала, на церковнославянском языке (нормализованная) и пример вне контекста с грамматическим определением, у глаголов и местоимений также с параллельной формой оригинала, помета языковой редакции и название центра, где проводилась работа. Пример:

κἀνουργία f.	I Vrb 24a β 8—9
	Pr 1,4 Ch
коварство п.	
ковар'ство пом. sg.	
	Zagreb

Примечание. В старославянском словаре на малых карточках, как и на больших, греческий глагол приводится в *inf. praes.* Малые карточки заводятся сразу же, одновременно с большими.

Понадобятся еще и вспомогательные небольшие карточки для обратного индекса, но их можно будет составить при составлении постатейного текста словаря.

Расположение материала. 34. Для сетевой эксцерпции с самого начала нужно будет иметь точный перечень зафиксированных слов. Поэтому целесообразно в каждом рабочем центре с самого начала располагать весь выписываемый материал (свой собственный и копии, полученные из других центров) в алфавитном порядке, причем по единому алфавиту (в этом отличие от практики старославянского словаря). Конечно, это потребует тщательного контроля за точностью цитат (особенно если учесть, что в большинстве случаев придется иметь дело с неизданными памятниками) и за самой эксцерпцией. Если какой-то центр задумает

использовать материал экскерпции еще и для других целей (для создания глоссария памятника и т. п.), то это потребует увеличения количества копий. До того как карточки будут расположены в алфавитном порядке (что очень затруднит дальнейший контроль по тексту), следовало бы карточки с выписками пронумеровать в том порядке, в каком они идут в соответствии с текстом. Тогда в любое время можно было бы выбрать из выписок, стоящих по алфавиту, карточки, относящиеся к одному памятнику, и уже механически расположить их так, как этого требует исходный текст. Это было бы особенно полезно при проведении полной экскерпции, однако имело бы значение и для экскерпции сетевой и дифференциальной.

Некоторые детали экскерпции. 35. Иностранные слова, заимствованные церковнославянским языком, включаются в словарь и, следовательно, подлежат экскерпции. Заимствованное слово также является частью лексического состава языка, нередко оно представляет интерес с точки зрения исторической или же в сопоставлении с вариантами и синонимами данного национального языка. Иностранные слова, воспринимающиеся как чуждые славянскому тексту (явно цитируемые), не подлежат включению в словарь ⁶. Так как такие слова все же могут оказаться важными в каком-либо отношении (например, *концшелаторг* в Беседах), а целые пассажи могут представлять специальный интерес, можно выписать и подобные вещи, тем более что их будет очень мало. Если же мы будем иметь дело с цитированием иностранного контекста полностью или с каким-то произведением (например, грамматикой или древним глоссарием), где встретится целый ряд подобных случаев, то тогда экскерпцию проводить не нужно. Подобный материал лучше опубликовать в монографическом исследовании.

36. Славянские собственные имена, личные, национальные и топонимические, бесспорно, должны войти в словарь и подлежат экскерпции. Не может быть сомнений в их лингвистическом и культурно-историческом значении. Специальный интерес проявляют к ним ономотологи. Кроме того, как известно, в области лексикологии собственные имена имеют особую значимость, так как в них нередко сохраняются древние лексемы, которые давно исчезли. В отличие от имен нарицательных здесь возникнет вопрос, как оценивать «новое» значение имен собственных, которое явится мотивом их включения (или невключения) в экскерпцию. Если новое «значение» будет заключаться в том, что новым носителем имени является какая-то значительная историческая личность, автор или переписчик рукописи, тогда нужно это место зафиксировать. Если же за именем скрывается фигура, о которой мы знаем очень мало или ничего не знаем, а согласно контексту это личность незначительная, то это место можно опустить (см. § 18). Топонимы и национальные наименования имеют столько значений, сколько разных объектов они называют.

Как вытекает из рассуждения о заимствованных словах, для заимствованных собственных имен сохраняет силу сказанное об именах славянских. Безусловно включаются в словарь имена святых, которые, помимо прочего, имеют иногда значение для датировки памятника и для общекультурных исследований. Оставить без внимания можно было бы только имена несвоенные, чуждые и употребленные периферийно (например, имя какого-нибудь римского тюремщика или воина, иногда встречающегося в житиях святых). Однако я полагаю, что подобных случаев будет чрезвычайно мало, поэтому было бы надежнее и их включить в экскерпцию.

П р и м е ч а н и е: Имя собственное должно сопровождаться на карточке достаточным контекстом или пояснением, чтобы при обработке ста-

⁶ Например: (мж)жьско нма потам(с), астирь, а словк(ньски рк)ка, звкзда Frag. Hilf. 1b 7, некоторые арамейские цитаты в Новом Завете и т. д.

тей можно было проверить идентичность лица или места (ср. опыт старославянского словаря).

37. Цифры, т. е. буквы с числовым значением, следует выписывать только в особых случаях — например, при специфическом, необычном числовом значении, при употреблении разных букв для передачи одного и того же значения в разные периоды или на разной территории (кирил. $\overline{\text{ч}}$ и $\overline{\text{с}} = 90$; $\overline{\text{ц}}$ и $\overline{\text{а}} = 900$). Пожалуй, их следует выписать также и тогда, когда передаются большие числа, засвидетельствованные сравнительно редко, или когда ошибочно употреблена транслитерация вместо надлежащей транснумерации, что свидетельствует о глаголическом образце. При переписке цитат на карточки-матрицы из глаголических рукописей буквы должны быть транслитерованы, а не транснумерованы.

38. В текстах могут встретиться необычные сокращения, и хорошо было бы сделать что-то вроде ссылочной карточки. Сами сокращения экспертировать не следует (они в достаточной мере представлены в старославянском словаре; см. § 18). Мы до сих пор не имеем систематического обзора церковнославянских сокращений и их толкования, и вряд ли с этой целью когда-нибудь будет предпринята самостоятельная эксцерпция. Конечно, нельзя обходить те сокращения, значения которых неизвестны; после их фиксации встанет задача дать им объяснение (это будут очень редкие случаи).

39. Глоссы в рукописях также следует охватить эксцерпцией. В лексикологическом аспекте они могут иметь особое значение, в частности, если речь идет о синонимической параллели к слову в тексте — в этом случае на карточке следует сделать конкретное примечание⁷. Не следует фиксировать поздние глоссы, которые совершенно очевидно выходят за временные рамки словаря (разве что для этого будет какая-то особая причина, допустим, явно архаизирующая глосса).

40. Ни глоссы, ни замечания и приписки прямо в тексте, хотя бы и сделанные той же рукой, не подвергаются эксцерпции, если они выполнены на национальном, а не на церковнославянском языке, например, заключительные строки в Реймском евангелии, написанные по-чешски.

Учет грамматических моментов при эксцерпции и их. 41. Грамматические моменты учитываются при эксцерпции лишь в очень ограниченной мере — если они смыкаются с лексико-семантическим планом или тесно с ним связаны, например, глагольное и предложное управление, а также те явления, которые находятся на границе синтаксиса и фразеологии. Другие грамматические особенности принимаются во внимание при подготовке словаря лишь в совершенно исключительных случаях. Явления словообразовательного плана следует трактовать как лексические (например, в Вез глагол дрлзж вместо обычного дрлзж).

Эксцерпция словарей. 42. Церковнославянский словарь в принципе будет базироваться на собственной эксцерпции, исключаящей компиляцию старых словарей, например словаря Миклошича или «Материалов...» Срезневского. Однако можно рекомендовать при составлении статей церковнославянского словаря провести сравнение со старыми словарями и в соответствии с их данными дополнить те статьи, которые, может быть, не будут полностью отражены в собственной эксцерпции, конечно, если это не будет уже новоцерковнославянский материал. (Можно было бы с соответствующим примечанием или выделив типографским способом перепечатать без эксцерпции и без проверки те статьи у Миклошича и Срезневского, которые относятся к новоцерковнославянскому языку

⁷ Пример: в Христинопольском Апостоле Деяния 18,3 имеется текст: $\text{баше во хѣтрстнѣ оустарѣ}$ и той же рукой приписана объясняющая синонимическая глосса: хѣтѣводѣла къзвнѣ .

более позднего периода, чем тот, до которого доходит верхняя временная граница церковнославянского словаря. Это можно будет сделать в случае, если к тому времени не появится надежда на то, что в близком будущем будет создаваться словарь новоцерковнославянского языка, который явился бы продолжением церковнославянского словаря и стал бы третьим и последним звеном исторически непрерывного ряда, который открывает старославянский словарь.)

Подготовительные работы для экскерпции.
43. Вероятно, можно было бы возразить, что нельзя рассчитывать на широкую и полную экскерпцию, пока церковнославянские рукописи не будут должным образом каталогизированы и описаны, пока важнейшие памятники не будут изучены и изданы; до сих пор мы не имеем систематической истории церковнославянской письменности, даже только описательного характера. Бесспорно, все эти предварительные работы были бы очень полезны, они не только облегчили бы подготовку словаря, но и помогли бы многое уточнить. Легче было бы осуществить такую подборку текстов, которая больше соответствовала бы соразмерному охвату словарного состава церковнославянского языка. Однако эти работы — дело будущего, и нельзя полагать, что они будут выполнены в сравнительно короткие сроки. Поэтому непосредственную подготовку словаря и экскерпции нужно начинать немедленно, невзирая на трудности: было бы нецелесообразно жертвовать работой, которую можно выполнить с достаточной ответственностью, ради воображаемого идеала, который будет достигнут значительно позже. Какие-то из указанных работ можно будет выполнить параллельно с работой над словарем. Более того, материал словаря и сам словарь со своей стороны помогут быстрее ориентироваться в рукописях, дополнят наши сведения о них, будут способствовать монографическому изучению рукописей и оценке их роли и места в церковнославянской письменности.

Ближайшие конкретные задачи. 44. В первую очередь следует поставить только те задачи, решение которых действительно необходимо для успешного начала работы.

1. Задачи рабочих центров:

1. Установить первоначальный список памятников как для полной, так и для сетевой экскерпции (пока достаточно назвать ограниченное количество).

2. Разработать проект нормализации орфографии своей редакции церковнославянского языка (ср. § 26). Если в стране будет несколько центров, то они должны хотя бы по этому пункту дать общий проект (было бы полезно общее предложение и по пункту 1.1).

Примечание. Было бы хорошо, если бы оба эти пункта (1.1, 1.2) еще до начала работ были одобрены координирующим органом или секретариатом: это помогло бы избежать дублирования в работе (п. 1) и избавиться от случайных диспропорций в решении одинаковых или параллельных вопросов (п. 2).

3. Начать экскерпцию.

4. Возможная специфическая задача чехословацких центров — разработать предварительный словник по материалам неопубликованной части старославянского словаря (см. § 19).

II. Координационные задачи:

1. Сравнить полученные предложения по пп. 1.1 и 1.2.

2. Координировать ход работ.

Координационная деятельность на практике. 45. 1. Рассматривать предложения и утверждать решения по частным вопросам будет координирующая двойка — председатель и секретарь Международной комиссии по церковнославянскому языку (далее просто

МК). Все это будет протоколироваться, чтобы в любое время можно было показать материалы и дать ответ МК, а также для того, чтобы всегда можно было ознакомиться с перечнем тех прецедентов, решения по которым входили в практику. Председатель и секретарь могут информировать МК об этих частных решениях через длительные промежутки времени, но рабочие центры необходимо безотлагательно информировать кратким циркуляром обо всем, что важно для последующей работы.

2. Важные и неотложные вопросы будет решать МК; обеспечивает это секретариат путем корреспонденции. Протоколы и информация для рабочих центров по п. 1.

3. Важные вопросы, которые можно отложить, могут решаться на очередных заседаниях МК. Там же должны рассматриваться протоколы и информация. На следующем своем заседании МК могла бы, например, дать оценку первых результатов сетевой эксцерции. Сначала подобные совещания будут созываться чаще, позднее их потребуются меньше.

4. Связь рабочих центров между собой и с МК или секретариатом будет осуществляться через национальные комиссии церковнославянского словаря, а там, где их нет, через национальные комитеты славистов. МК или секретариат будут принимать и отсылать деловую корреспонденцию без посредничества национальных комитетов соответствующей страны.

Перевел с чешского *Л. Н. Смирнов*

А. НАЗОР

О СЛОВАРЕ ХОРВАТСКО-ГЛАГОЛИЧЕСКОЙ РЕДАКЦИИ ОБЩЕСЛАВЯНСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО (ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО) ЯЗЫКА

Сразу после своего возникновения в 1950 г. Старославянский институт им. Светозара Ритига в Загребе поставил своей задачей создание словаря хорватских глаголических памятников. С этой целью было расписано первое издание глаголического Миссала 1483 г., рукописный Миссал князя Новака 1368 г., печатный Бревиарий Баромича 1493 г. Таким образом, Старославянский институт приветствовал и практически поддержал инициативу московского IV Международного съезда славистов создать словарь общеславянского — церковнославянского языка. Правительственные органы СР Хорватии, в полной мере оценив значение этого предприятия, обеспечили необходимые финансовые средства, и уже в конце 1959 г. под руководством проф. Й. Хамма и проф. В. Штефанича небольшая группа расписчиков начала работу. Учитывая тот факт, что хорватский глаголический материал представляет собой часть общеславянского фонда церковнославянского языка, мы в Загребе считали, что при расписывании следует использовать опыт чешских славистов, составителей фундаментального труда «Slovník jazyka staroslověnského». Мы полагали, что наш словарь должен явиться его дополнением. При расписывании памятников мы придерживаемся методов, принятых в «Slovník'e»¹.

В этой работе с самого начала большую услугу нам оказал проф. Й. Курц, приславший образцы своих карточек². Однако в некоторых де-

¹ См.: «Slovník jazyka staroslověnského», ČSAV, Praha, 1959, стр. XXIX — XXXV.

² Пользуюсь случаем еще раз принести проф. Й. Курцу искреннюю благодарность.

талях, из-за специфического характера наших текстов, мы должны были отклониться от метода, принятого в «Slovník'e». Это относится прежде всего к транслитерации. Укажу только на один момент: в хорватских глаголических текстах группа *ja* графически передается буквой *č*, и эту особенность мы сохраняем в наших карточках. Принципиальная разница между нашими карточками и карточками «Slovník'a» заключается в том, что в «Slovník'e», кроме параллельного греческого, resp. латинского, значения слова, дается значение на чешском языке. Мы же даем после нормализованной старославянской формы только параллельное латинское, resp. греческое, значение, взятое из предполагаемого первоисточника, и не переводим слово на хорватско-сербский язык. Это объясняется еще и тем, что мы не располагаем столь высококвалифицированными кадрами, какие имеются в коллективе составителей «Slovník'a» (в «Slovník'e» расписывание текстов производили большей частью университетские профессора и преподаватели), и неопытный эксцерптор (расписчик) своим переводом мог бы ввести в заблуждение того, кто затем будет обрабатывать карточки. Таким образом, мы установили двухступенную обработку карточек: окончательное определение значения входит в обязанность составителя словаря, который сможет пользоваться уже всей картотекой в целом.

С о д е р ж а н и е к а р т о ч к и. Наша карточка имеет следующее содержание: 1) цитата из глаголического текста в кириллической транслитерации с сокращенным указанием памятника и места, откуда взята цитата (в правом верхнем углу); 2) под церковнославянским текстом во всех случаях, когда это возможно, приводится параллельный латинский, resp. греческий, текст в качестве предполагаемого первоисточника с указанием (сокращенным) источника; 3) в качестве реестрового слова в начале карточки приводится нормализованная старославянская форма слова; 4) под ней дается параллельная латинская, resp. греческая, форма; 5) затем дается грамматическая помета (дефиниция), определяемая контекстом (в церковнославянской и латинской цитате соответствующая форма подчеркивается); 6) в нижнем правом (или левом) углу эксцерптор обычно ставит свои инициалы. Реестровое слово и латинская (греческая) форма пишутся чернилами тогда, когда она зафиксирована также в одном из существующих старославянских словарей (например в словарях Миклошича, Садник-Айцетмюллера, в «Slovník'e»). Когда слово не отмечено ни в одном из старославянских словарей, реестровое слово реконструируется в старославянской форме соотносительно с формой и контекстом памятника. Такое слово записывается иным способом — пока карандашом. Имея в виду цель, поставленную на московском съезде, т. е. создание Словаря общеславянского литературного (церковнославянского) языка, в Старославянском институте все карточки пишутся в двух экземплярах. Первые экземпляры составляют картотеку в азбучном порядке, устанавливаемом по системе нормативной грамматики старославянского языка. Вторые экземпляры разложены по памятникам и лежат в картотеке каждого памятника в соответствии с порядком слов текста памятника. Параллельно со старославянской картотекой создается картотека-индекс латинских реестровых слов, т. е. латинские слова из параллельного текста распределены также в азбучном порядке (без цитат — только реестровые слова и формы, зафиксированные в контексте).

О б я з а н н о с т и э к с ц е р п т о р а (р а с п и с ч и к а). Обязанности расписчика заключаются в следующем: выписать на матрицу полный текст, т. е. предложение или цельный в смысловом отношении отрывок церковнославянского текста или из фотокопии, или, если это возможно, из оригинала, затем выписать параллельный латинский, resp. греческий, текст в качестве предполагаемого первоисточника, сокращение

памятника и место, откуда взята цитата из глаголического источника, наконец, сокращение латинского, геср. греческого, предполагаемого первоисточника. Расписчик передает карточку-матрицу координатору (проф. Невенке Линарич). Координатор занимается исключительно составлением словаря и ведет всю основную работу: сравнивает текст карточек с оригиналами или фотокопиями, контролирует работу расписчика и определяет, какие слова из текста должны быть обработаны. Затем технические работники размножают текст карточки в количестве вдвое большем, чем число слов, отмеченных для обработки. В отличие от составителей «Slovník'a» наши работники не обрабатывают каждое слово из каждого текста, т. е. если слово в идентичной форме с идентичным латинским, геср. греческим, значением в определенном тексте встречается часто, оно подлежит обработке не менее пяти раз. Приведем пример матрицы:

<p>и о^т спаса́ ха · ниже ест' свѣдѣтел' вѣрнѣ пр'вѣннѣ' мрътвнѣхъ и старѣшина црѣ зма'скнѣ' · Иже възлюбн нн и оумн нн нн кр'вню свою о^т грѣх' нашнѣ' ·</p>	<p>Br VO 265a/22—27 Ap 1,5</p>
<p>Vg: et a Jesu Christo, qui est testis fidelis primogenitus mortuorum, et princeps regum terrae, qui dilexit nos, et lavit nos a peccatis nostris in sanguine suo,</p>	
<p>AN</p>	

Частотность отдельных слов, а также идентичность их форм и значений проверяет координатор. После того как координатор произведет сравнение текста карточки-матрицы с оригиналом или фотокопией, технические работники при помощи Facit-аппарата размножают карточку, которая в размноженном виде снова попадает к расписчику. Расписчик вписывает реестровое слово и дает грамматическую помету к форме, извлеченной из контекста. Для одного слова делаются две идентичные большие карточки (размером 17,3 × 12,4 см). Приведем пример «большой» карточки:

<p>пр'вѣннѣ' м primogenitus пр'вѣннѣ' nom. sg. и о^т спаса́ ха · ниже ест' свѣдѣтел' вѣрнѣ пр'вѣннѣ' мрътвнѣхъ и старѣшина црѣ зма'скнѣ' · Иже възлюбн нн и оумн нн кр'вню свою о^т грѣх' нашнѣ' ·</p>	<p>Br VO 265a/22—27 Ap 1,5</p>
<p>Vg: et a Jesu Christo, qui est testis fidelis primogenitus mortuorum, et princeps regum terrae, qui dilexit nos, et lavit nos a peccatis nostris in sanguine suo,</p>	
<p>AN</p>	

Каждое обработанное слово выписывается на «малую» карточку (размером 12,2 × 8,4 см) с латинским, геср. греческим, реестровым словом. Такая карточка содержит латинскую (греческую) форму в заглавии, затем сокращение глаголического источника, нормализованную старославянскую форму слова и форму с грамматической пометой из церковнославянского контекста. Приведем пример «малой» карточки:

primogenitus m	Br VO 265a/22—27
прѣвѣнѣць m	Ap 1,5
прѣвѣнѣцъ nom. sg.	
	AN

Координатор вновь контролирует работу расписчика, а затем технические работники окончательно помещают карточки в азбучные каталоги и каталоги памятников. Таков вкратце процесс основного расписывания. В тех случаях, когда мы имеем дело с текстами ряда однородных памятников (например миссалы или breviарии), берется один (лучший и по возможности древнейший) текст и обрабатывается изложенным выше способом. Остальные параллельные памятники обрабатываются методом сравнения, т. е. на карточки выписываются только различия — фонетические, морфологические и лексические. Приведем пример карточки с фонетическими и морфологическими текстами:

Br VO 265a/22—27 :	прѣвѣнѣцъ
Br Vat ₅ 124a/18—19 :	прворођени
Br N ₂ 131c/10 :	првенацъ
Br Pm 122d/27 :	прѣвѣнацъ
	AN

Фонетические и морфологические различия для Словаря не столь существенны, но полезны для изучения языковых явлений. Что касается лексических различий, то они обрабатываются отдельно по тому же принципу, что и слова, относящиеся к основному тексту. Единственное различие заключается в том, что на карточке со словом, обработанным в сравнительном плане, выписанное слово связывается со словом из основного текста. Приведем пример карточки, где слово дано в сравнительном плане:

прворођенѣи adj.	Br Vat ₅ 124a/17—20
primogenitus	Ap 1,5
прворођени nom. sg. m.	
и оѣ са хѣ ки естъ свѣдоуъ врьнъ	
прворођени мрткнѣхъ · и кнезь црь	
змѣлскнѣхъ	
Vg:	
et a Jesu Christo, qui est testis fidelis, primogenitus mortuorum,	
et princeps regum terrae,	
v. прѣвѣнѣцъ nom. sg. (прѣвѣнѣць m.)	
AN	Br VO 265a/22—27

Источники. Хорватские глаголические тексты по-разному отражают традиционный церковнославянский язык поздней хорватской редакции. Существуют глаголические тексты, написанные на народном языке, затем тексты, в которых церковнославянская языковая основа в значительной мере переплетается с элементами живого народного говора. Поэтому при составлении словаря возникает вопрос, какие хорватско-глаголические тексты должны быть приняты в качестве источников, т. е. какие хорватско-глаголические тексты представляют хорватскую редакцию церковнославянского языка и каковы хронологические рамки, в которых существовала эта редакция.

Мы полагаем, что хорватскую редакцию можно рассматривать, начиная с Отрывков Гршковича, Венских листков, Отрывков Михановича и кончая печатным Бrevиарием Брозича. Другими словами, редакция начинается в конце XI в. и существует до первой половины XVI в., до 1561 г., когда был издан упомянутый Брозичев Бrevиарий. В течение XVI столетия в Хорватии почти не было памятников, которые бы можно было причислить к церковнославянским, а затем в XVII в. благодаря деятельности Р. Леваковича наступила русификация литургических книг. В XVIII в. еще более последовательную русификацию литургической литературы проводил М. Караман; такое положение продолжалось вплоть до конца XIX столетия (до 1893 г.).

В качестве источников для словаря были взяты: а) все библейские и литургические тексты, в том числе и те, в которых уже отражен процесс замены церковнославянских форм и лексем народными. Поэтому все миссалы, бrevиарии и псалтыри вошли в число источников Словаря. Однако часть хорватского церковнославянского фонда находится также: б) в нелитургических текстах, главным образом в глаголических сборниках, таких, как Сборник Иванчича начала XV в., Оксфордский сборник начала XV в., Сборник Петриса 1468 г., Сборник Жгомбича XV—XVI в. и др. Хорватские глаголические сборники разнообразны по составу — по содержанию и языку. Для примера можно кратко охарактеризовать сборник Петриса. Он состоит из 162 статей, представляющих собой аскетические поучения, общепознавательные статьи, канонические уставы, литургические тексты, статьи по христианской морали, церковные проповеди, легенды и биографии, апокрифы старого и нового завета, духовные песни, поэмы и т. п. Язык же большей части статей в своей основе — старый чакавский диалект эвакского типа с элементами церковнославянского языка. В некоторых статьях ощущается влияние кайкавского диалекта, а в некоторых кайкавский диалект преобладает, хотя встречаются и статьи, написанные на церковнославянском языке³. Из-за этой языковой пестроты каждый сборник, т. е. каждый нелитургический текст, подвергается предварительному языковому анализу, на основании которого устанавливается, какой текст или какая часть сборника может послужить в качестве источника для церковнославянского словаря. Выбор основывается на статистическом методе, который заключается в том, что определяется процент церковнославянских элементов в определенном тексте (в сборниках определяется для каждой статьи отдельно). Церковнославянским элементом считается, например, местоимение *ѡто*, а разговорным (народным) — местоимение *ѡа* (большинство хорватских глаголических текстов возникло на территории распространения чакавского диалекта). В лексике более консервативной считается лексема *година* (латинск. *hora*), чем *сура*; более консервативно *ѡце*, чем *ѡко*; *жизна*, чем *житгак*; *откечати*, чем *одгокарати*; *ѡѡдѡтель*, чем *ѡѡдокъ*; течение (*житигѡ*), чем *тока* (*жикота*) и т. д. В фонетике, например, церковнославянской чертой считается употребление исконного редуцированного, а разговорной (народной) — его рефлекса *а* в сильной позиции, т. е. церковнославянизмом являются формы *данъ*, *ѡсоудъ*, а разговорной оказываются формы *дань*, *ѡсоудь*. Затем релевантными считаются употребление исконного *ѡ* в соотношении с его рефлексами *ѡ* или *е*, т. е. церковнославянской чертой будет форма *ѡѡпъ*, а разговорной *ѡпъ* и *лѡпъ*; сохранение *ж* в соотношении с замещающим его *р* в интервокальной позиции, т. е. церковнославянизмом, будет, например, *ѡже*, *даже*, а разговорной формой *ѡре*, *дари*; сохранение сочетания *ѡдъ* в соотношении с замещающим его йотом — *ѡ* (глаголическое «дѡрвь» читалось

³ V. Štefanić Glagoljski rukopisi otoka Krka, Zagreb, 1960, стр. 359—394.

у чакавцев как *j*), т. е., например, в качестве церковнославянской принимается форма *о҃суждена, рождена*, а в качестве разговорной — *о҃сужѣна, рождѣна*. Разговорной чертой считается, например, появление протетического *j*, которое в хорватских глаголических текстах обозначалось в виде «дервя» (*h*): *hime* (имя), *hike* (Иван), *hисти* (ст.-слав. *исти*). Такое произношение приведенных выше слов наблюдается и в настоящее время в некоторых чакавских говорах. В морфологии к числу достаточно ярко выраженных церковнославянских языковых черт относятся формы род. падежа ед. числа прилагательных, местоимений и порядковых числительных на *-аго, -ого муж. и ср. рода и -ие, -ое жен. рода*; таким образом, церковнославянизмами являются, например, формы *добраго, доброго, пркого, ского*, а разговорными — *доброго, пркого, скога*, церковнославянизмы — *доброє, слакнє*, а разговорные формы *добре, слакне*. Церковнославянской чертой считается в морфологии употребление прилагательных с полной нестяженной формой (например, *залое, милостиваѣ*). В глаголах церковнославянской особенностью оказывается употребление некоторых флексивных форм настоящего времени, прежде всего окончания *-ма* в 1-м лице мн. числа, затем *-ши* во 2-м лице ед. числа и *-га* в 3-м лице ед. и мн. числа, и, наконец, *-оу, -ю* в 1-м лице ед. числа, в то время как соответственно в качестве разговорных форм принимаются окончания: *-мо* (1-е лицо мн. числа), *-ша* (2-е лицо ед. числа), 3-е лицо ед. и мн. числа без флексии *-га, -ма* (1-е лицо ед. числа). Таким образом, церковнославянскими формами считаются, например, *молима* (1-е лицо мн. число), *мниши, можета, могуга, вхождаю*, а разговорными — *молимо, молиш, може, могу, ходим*. Употребление асигматического и краткого сигматического аориста относится также к церковнославянизмам, т. е. более консервативным считается текст, где принята форма *река* или *рѣха* в 1-м лице, чем текст, где отмечено только *рекоха*. Церковнославянской синтаксической чертой считается употребление дательного самостоятельного, хотя существуют различные научные гипотезы о происхождении этой конструкции в старославянском языке.

Таким образом, в тех случаях, когда мы обращаемся к текстам, в которых церковнославянская языковая основа заслонена более новыми и живыми языковыми элементами, мы для определения возможности использования текста в качестве источника для словаря пользуемся статистическим методом: если в определенном тексте содержится более 50 процентов церковнославянских языковых черт, этот текст считается старославянским⁴. Этому методу отбора материала можно сделать немало упреков, однако, если учитывать структуру хорватских глаголических текстов, только статистический метод дает практическую возможность определить для нелитургических памятников хотя бы приблизительно границу церковнославянского типа языка, т. е. установить, какие конкретные нелитургические тексты могут быть приняты в качестве источников словаря. На этом основании расписываются те статьи сборников, которые в результате нашего исследования считаются написанными традиционным церковнославянским языком.

В Старославянском институте им. Светозара Ритига в Загребе, помимо уже упомянутого первопечатного Миссала 1483 г. и печатного Бrevиария Баромича 1493 г., к настоящему времени расписаны следующие источники: Венские листки, Кукулевический отрывок миссала (XIII в.), Бирбинский отрывок миссала (XIII в.), Сплитский отрывок миссала (XIII в.), Ватикан-

⁴ Этому вопросу был посвящен наш доклад на заседании международной комиссии в Загребе (4—8 июня 1963 г.) и на V Международном конгрессе славистов в Софии (сентябрь 1963 г.). См.: А. Назор, *Jezični kriteriji pri odredjivanju donje granice crkvenoslavenskog jezika u hrvatskoglagoljskim tekstovima*, «Slovo», 13, 1963.

ский миссал под шифром «Шуг. 4» (начало XIV в.), Рочский миссал (вторая половина XV в.), Люблянский миссал (начало XV в.), Миссал князя Новака (1368 г.), Бревиарий Вида Омишлянина (1396) г., Врбникский первый бревиарий (начало XIV в.), Ватиканский бревиарий под шифром «Шуг. 5» (1379 г.), Пашманский бревиарий (XIV в.), Врбникский четвертый бревиарий (XIV в.), Бревиарий Югославянской академии под шифром III с 12 (XIV в.), Sobex Vaticano slavo 19 (1465 г.), Новлянский второй бревиарий (1495) г., Люблянский бревиарий 161a/2 (конец XIV в.), Псалтырь Лобковица (XIV в.), Псалтырь из Парижского кодекса (XIV в.), Псалтырь Фришчича, три сборника Климантовича (начало XVI в. — только церковнославянские тексты). Начало расписывание Сборника Иванчича (начало XV в.). Общее число карточек нашей картотеки (включая и латинские карточки) — 500 тыс. Предполагается, что в 1968 г. расписывание хорватских глаголических текстов будет закончено⁵.

С первых дней работы после московского славистического конгресса 1958 г. Старославянский институт стремился к тому, чтобы работа над церковнославянским словарем велась и в других югославских славистических центрах. Югославский комитет славистов создал национальную комиссию Словаря церковнославянского языка. Председателем этой Комиссии избран проф. Петар Джорджич (Нови Сад), а зам. председателя проф. Вьекослав Штефанич (Загреб). Комиссия впервые собралась в Белграде в октябре 1962 г. С тех пор состоялось еще три заседания комиссии. Конкретная работа велась в основном в Старославянском институте в Загребе. Началась работа и в Скопле в 1963 г. в Институте македонского языка под руководством д-ра Рады Угриновой. Метод расписывания материала в Скопле тот же, что и в Старославянском институте. Работа там началась с евангельских текстов. Окончательное (основное) расписывание Радомирова евангелия XIII в. будет закончено в начале 1967 г.⁶.

Мы надеемся, что после московского заседания международной Комиссии будет начата работа и в тех славистических центрах, где она до сих пор еще не велась. Особенно надеемся, что московское совещание послужит непосредственным стимулом для организации работы в Советском Союзе. Ведь именно в Москве возникла идея создания словаря общеславянского литературного (церковнославянского) языка.

Перевел с сербскохорватского *Н. И. Толстой*

Г. МИХАИЛЭ

О РАБОТЕ НАД СОБИРАНИЕМ МАТЕРИАЛА ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СЛОВАРЯ КНИЖНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА РУМЫНСКОЙ РЕДАКЦИИ

После заседаний в Загребе (4—8 июня 1963 г.) и в Софии (23 сентября 1963 г.), на которых Комиссия по составлению словаря книжнославянского (церковнославянского) языка при МКС, возглавляемая проф. Й. Курцем, обсудила целый ряд проблем, связанных с подготовкой единого словаря этого культурного языка славян, румын и литовцев в средние века

⁵ См.: Vj. Stefančić, Problem Rječnika južnoslavenskih redakcija staroslaven-skog jezika, «Slovo», 11—12, 1962.

⁶ Эти данные взяты из письма д-ра Рады Угриновой директору Старославянского института В. Штефаничу от 16 апреля 1966 г. по поводу предстоящего московского заседания Комиссии.

и соответственно с изданием параллельных словарей для каждого извода книжнославянского (церковнославянского) языка в отдельности, Ассоциация славистов Социалистической Республики Румынии провела ряд мероприятий по сбору необходимого материала из славяно-румынских текстов.

На необходимость ознакомления с богатым лексическим фондом оригинальных текстов и документов на книжнославянском языке, написанных на территории румынских княжеств в средние века, и на их важность как для славистики, так и для истории румынского языка — поскольку эти тексты содержат большое количество румынских слов — указывали многие ученые и среди них Фр. Миклошич, Б. П. Хашдеу, Л. Милетич, И. Богдан, А. Росетти, Э. Петрович, С. Б. Бернштейн и др.¹

После Загребского совещания Комиссии в Ассоциации славистов Румынии был утвержден коллектив, который выработал «Инструкции для извлечения материала из славяно-румынских текстов». Эти инструкции вместе с инструкциями по описанию славянских и славяно-румынских рукописей из румынских библиотек были представлены и обсуждены на заседании Ассоциации славистов в 1964 г. На основе предложений, высказанных в ходе обсуждения на заседании и поступивших позже, оба текста инструкции были заново отредактированы и размножены в конце 1964 г. в целях непосредственного использования участниками коллективных работ.

В 1965 г. детально обсуждались нормы работы и были проведены первые опыты в этом направлении с учетом известных достижений Словаря старославянского языка в Праге и Брно, Исторического словаря болгарского языка в Софии, Словаря церковнославянского языка по хорватским глаголическим текстам в Загребе, а также с учетом Проекта подготовительных работ по составлению словаря церковнославянского языка, составленного В. Марешом.

В настоящее время наш коллектив (П. Олтяну, М. Думитреску, Г. Болкан, Л. Джамо-Диаконица, Е. Пискупеску, Е. Ефтиму, В. Вайда, О. Стойкович, Е. Линца и М. Миту) приступил к сбору материала. В целях более эффективной работы по составлению картотеки были установлены два этапа.

На первом этапе, который, по нашему мнению, будет длиться около трех лет, будет расписан на карточки материал древнейших славяно-румынских источников, а именно:

1. Славянские надписи на территории Румынии X—XV вв. Наряду с уже существующими собраниями, которые будут использованы как вспомогательный информативный материал, мы теперь располагаем большим собранием «Средневековых надписей Румынии», первый том которого — «Город Бухарест», составленный коллективом под руководством проф. А. Элиана, недавно вышел из печати². По мере выхода из печати и других томов появится возможность шире использовать данный материал. В первом томе, содержащем 1250 надписей, большей частью отредактированных на румынском языке, находится 189 надписей на книжнославянском языке, созданных на территории города Бухареста или хранящихся в его музеях — наряду с надписями на греческом, армянском, древнееврейском, латинском, немецком, русском, арабском и турецком языках. Это собрание составлено большим коллективом сотрудников институтов Академии

¹ В последние годы автор этих строк имел возможность высказать несколько соображений по данной проблеме в статье «În legătură cu alcătuirea unui dicționar al slavonei din Țările Române» («Studii și cercetări lingvistice», X, 3, 1959) и в сообщении, представленном на первом рабочем заседании в Загребе: «Славяно-румынские тексты как источник для словаря книжнославянского языка» («Romanoslavica», XII, 1965).

² «Inscripțiile medievale ale României», I — Orașul București (1359—1800), București, 1965.

в Бухаресте, Клуже и Яссах; в ближайшее время оно пополнится томами, содержащими надписи Молдавии (город Яссы), Олтении и Трансильвании.

2. Хроники и славяно-румынские историко-литературные тексты XV—XVI вв. После фундаментальных изданий И. Богдана и других исследователей мы теперь располагаем публикацией собрания этих текстов «Славяно-румынские хроники XV—XVI вв.»³. И все же наш коллектив будет собирать материал непосредственно по рукописям или по фотокопиям с тем, чтобы передать слова с филологической точностью. Эти источники следующие:

а) Анонимная молдавская летопись (Библиотека Румынской Академии, слав. рукопись № 649)⁴.

б) Краткая молдавская хроника (БРА, слав. рукопись № 280).

в) Первая Путненская летопись (рукопись 116 бывшей Киевской духовной академии, в настоящее время находится в библиотеке АН УССР).

г) Вторая Путненская летопись (рукопись 0, XVII, № 13 ГПБ в Ленинграде).

д) Сербско-молдавская хроника (БРА, слав. рукопись № 636; БАН СССР в Ленинграде собрание Яцимирского № 51).

е) Молдавско-русская хроника (в Воскресенской летописи — три списка: XII Академический, или Воскресенский, XIII Академический и Карамзинский; в Никоновской летописи — Патриарший список в БАН СССР; три других списка находятся в разрядных книгах московских и ленинградских библиотек⁵).

ж) Хроника Макария (указанные списки, находящиеся в Киеве и Ленинграде, а также бывший список Е. В. Барсова, в настоящее время хранящийся в ГИМ в Москве — собрание Е. В. Барсова, № 1411)⁶.

з) Хроника Ефтимия (указанный киевский список).

и) Хроника Азария (указанный ленинградский список).

к) Поучения Нягоя Басараба своему сыну Федосию (Национальная библиотека им. Кирилла и Мефодия в Софии, рукопись № 123 и 23)⁷.

л) К этому следует добавить имеющую большое значение для истории и культуры румынского народа Повесть о Дракуле воеводе (Владе Цепеше), поскольку в ее основу положены сказания, которые в устной форме были распространены и в нашей стране. Она написана на древнерусском литературном языке с церковнославянскими элементами в конце XV в. (древнейший список — копия 1490 г. с текстом 1486 г. находится в ГПБ, Кирилло-Белозерское собрание, № 11/1088)⁸.

3. Славяно-румынские документы со второй половины XIV в. (древнейшая славянская грамота Валахии датируется 1374 г., Молдавии —

³ «Cronicile slavo-române din sec. XV—XVI», publ. de I. Bogdan, București, 1959.

⁴ Летопись была фотолитографирована И. Богданом в «Cronice inedite atingătoare de istoria românilor», București, 1895, табл. I—XIX.

⁵ Речь идет о Разрядной книге за 1500—1646 гг., рукописи XVII в. № 1340 Научной библиотеки им. А. М. Горького МГУ (см. каталог, составленный Е. И. Коноховой: «Славянорусские рукописи XIII—XVII вв. Научной библиотеки им. А. М. Горького МГУ», М., 1964, стр. 15—16); о Разрядной книге за 1533—1591 гг. (Библиотечный V список — ГПБ в Ленинграде) и о Разрядной книге за 1552—1642 гг. (Археологический II список — в библиотеке ЛО Ин-та истории АН СССР). См. об этих двух текстах: В. И. Б у г а н о в, Разрядные книги последней четверти XV — начала XVII в., М., 1962, стр. 61—62, 67.

⁶ В собрании Е. В. Барсова находилась и другая молдавская хроника XVII в., с которой не мог ознакомиться И. Богдан. Ее следует теперь искать среди рукописей этого собрания.

⁷ Недавно проф. Д. П. Богдан открыл новый отрывок этого текста.

⁸ См. последнее издание всех известных 22 копий и их исследование в кн.: Я. С. Л у р ь е, Повесть о Дракуле, М.—Л., 1964.

1388 г., а Трансильвании, где имеется всего 11 документов на книжно-славянском языке, — 1462—1463 гг.) до 1521 г., даты первого документа на румынском языке.

Наряду с многочисленными изданиями этих документов, среди которых укажем издания И. Богдана, М. Костэреску, П. П. Панаитеску, Д. П. Богдана и других исследователей⁹, мы скоро будем располагать новым полным собранием, подготовленным Академией СР Румынии, — «Documenta Romaniae Historica», из которого недавно вышли из печати тт. I и XXI из серии Б — Валахия, подготовленные проф. П. П. Панаитеску и Д. Миоком¹⁰. В I томе даны 217 оригинальных славянских грамот (1374—1500 гг.) и 21 старая копия, наряду с документами на латинском, старыми копиями и переводами на латинском, румынском, греческом и венгерском.

Естественно, что и в данном случае наш коллектив обратится к оригиналам, соответственно — к фотокопиям в целях более точной филологической их передачи, используя в качестве подсобного материала существующие издания. В некоторых случаях мы можем использовать превосходные палеографические альбомы¹¹.

4. Оригинальные религиозные тексты. Наряду с многочисленными списками религиозных текстов, которые не отражают характерных черт книжнославянского языка румынского извода, хотя и были сделаны в румынских княжествах, сохранилось несколько написанных румынами оригинальных памятников письменности с религиозным содержанием:

а) Гимн (припѣла) Филотея Монаха (бывшего логофета Мирчи Старого), написанный в начале XV в. (списки XV и XVI вв. находятся в БРА, слав. рукопись № 209, 207, 724).

б) Три молитвы Филотея (список 1635 г. в БРА, слав. рукопись № 34).

в) Похвала святому Михаилу исповеднику, Синадскому епископу, составленная Симеоном Дедуновичем (был казначеем в Валахии в конце XV в.; список XVI в. № 278 в БРА).

г) Поминальник монастыря Бистрица, написанный начиная с 1407 г., переписанный на пергаменте и продолженный во времена Стефана Великого (вторая половина XV в.; добавления внесены в XVI—XVII вв.; БРА, слав. рукопись № 78, издан Б. П. Богданом — «Pomelnicul mănăstirii Bistrița», București, 1941, с 8 снимками).

На втором этапе нашей работы можно будет использовать по мере необходимости и другие тексты: литературные, исторические, юридические, переписанные на территории Румынии, двуязычные славяно-румынские рукописи и печатные книги XVI в., а также славяно-румынские документы XVI—XVII вв. (выборочно). Могут быть также использованы славяно-румынские глоссарии XVI в., грамматика и славяно-румынские лексиконы XVII в., которые дают богатый и интересный мате-

⁹ См.: D. P. B o g d a n, Din paleografia slavo-română, в кн.: «Documente privind istoria României», I, București, 1956; e г о ж е, Diplomatica slavo-romana, там же, II.

¹⁰ «Documenta Romaniae Historica». B. Țara Românească, I (1247—1500) — București, 1966; XXI (1626—1627) — București, 1965. Эта серия продолжит публикацию всех внутренних документов трех румынских княжеств — Валахии, Молдавии и Трансильвании, а также документов о их взаимоотношениях. Грамотами, отражающими взаимоотношения с другими государствами, пока приходится пользоваться в старых изданиях.

¹¹ См., например: I. B o g d a n, Album paleografic cuprinzând douăzeci și șase facsimile de documente românești, București, 1905; e г о ж е, Album paleografic moldovenesc. Documente din secolele al XIV-lea, al XV-lea și al XVI-lea (вышедший из печати посмертно с предисловием Н. Йопра), București, 1926; A. S a c e r d o Ț e a n u, D. P. B o g d a n, Culegere de facsimile pentru Școala de arhivistică. Seria slavă, București, 1943, и др.

риал для славяно-румынской лексикографии¹². И, наконец, можно учесть и оригинальные предисловия и послесловия книг, изданных в румынских княжествах в период с 1508 по 1600 г. (36 книг на книжнославянском и 4 славяно-румынских), возможно, и более позднего периода¹³.

Установки по составлению карточек разработаны в названных выше «Инструкциях». Несомненно, они сходны с установками других коллективов, и нет необходимости детально останавливаться на них. Они дополняются и уточняются в ходе дальнейшей работы и приобретения опыта.

Поскольку составление единого словаря книжнославянского (церковнославянского) языка различных изводов сопряжено с некоторыми теоретическими и практическими трудностями в определении хронологических (в проекте, составленном В. Марешом, предлагается в качестве верхней хронологической точки конец XV в.) и тематических рамок (определенный круг памятников) и поскольку, как нам кажется, богатство и разнообразие материала подсказывает более реальный путь работы — составление параллельных словарей (над двумя из них уже давно работают коллективы), Ассоциация славистов Румынии сочла целесообразным начать извлечение материала в первую очередь из древнейших оригинальных документов и текстов книжнославянского языка румынской редакции (первые извлечения делаются из документов XIV в.).

Приведенные до сих пор дискуссии показывают, что наиболее подходящим решением для всех участвующих в комиссии стран является пока создание параллельных словарей различных изводов книжнославянского (церковнославянского) языка, составленных на основании сходных принципов при вариациях, определяемых самим материалом, языком, на котором создается словарь, временными рамками, количеством и разнообразием памятников письменности и т. д. Такое решение имело бы как теоретические, так и практические основания. В таком случае, естественно, каждая страна установит по необходимости свои хронологические рамки, выходя, вероятно, за пределы конца XV в. Что касается словаря книжнославянского языка румынской редакции, выход за рамки XV в. необходим для хроник и Поучений Нягое Басараба, а также для документов и надписей по крайней мере до 1521 г., а возможно и вплоть до конца XVI в. При составлении словаря могут быть использованы хотя бы частично данные позднейших текстов в зависимости от их содержания. Словарь станет также источником изучения истории румынской лексики в XIV—XVII вв.

Итак, как видно, румынская редакция занимает особое положение среди других редакций книжнославянского языка, хотя бы потому, что она развивалась на неславянской почве. В оригинальных текстах, особенно в грамотах, встречается большое количество румынизмов, которые очень важны для истории румынского языка и румынской культуры, но вряд ли представляли интерес в славистическом отношении. Однако работа комиссии по координации деятельности национальных комиссий и рабочих коллективов, согласование общих принципов собирания материала и редактирования словарей необходимы и полезны и для нашего словаря.

¹² См.: I. B o g d a n, *Glose române într-un manuscript slavon din sec. XVI, «Convorbiri literare», XXIV, 1890; e г о ж е, Un lexicon slavo-român din sec. XVII, там же, XXV, 1891; M. C o z i a n u l, Lexicon slavo-românesc și tilcuirea numelor din 1649, București, 1900 (с указанием других лексиконов и с библиографией); С. Н. Ч е б а н, Славяно-румынский словарь Библиотеки Московского общества истории и древностей российских № 240, Варшава, 1914 (отг. из РФВ); D. S t r u n g a r u, *Gramatica lui Smotrițki și prima gramatică românească, «Romanoslavica», IV, 1960; e г о ж е, Începuturile lexicografiei române în lumina cercetărilor inițiate de Ioan Bogdan, «Romanoslavica», XIII (в печати).**

¹³ См.: I. B i a n u, N. H o d o ș, D. S i m o n e s c u, *Bibliografia românească veche, I—IV, București, 1903—1944.*

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Весной 1936 г. Советский Союз посетил один из выдающихся славистов и русистов Франции Л. Теньер, уделявший много внимания разработке проблем лингвистической географии. Ему принадлежит атлас распространения форм дв. числа в словенском (в терминологии Л. Теньера — словинском) языке («Atlas linguistique pour servir à l'étude du duel en slovène», 1925). По свидетельству Ф. П. Филина, Л. Теньер «принял активное участие в разработке планов создания диалектологического атласа русского языка»¹. Он выступил 25 марта 1936 г. в Ленинграде в Институте языка и мышления АН СССР с докладом «По вопросу о диалектологическом атласе русского языка». На заседании Кабинета общего языкознания присутствовали В. И. Борковский, Л. Башинджагян, А. В. Десницкая, В. М. Жирмунский, С. Д. Кацнельсон, М. Д. Мальцев, Ф. П. Филин, В. И. Чернышев. В. Ф. Шипмарев, Л. В. Щерба. В обсуждении доклада участвовали Л. В. Щерба, В. М. Жирмунский, Ф. П. Филин, М. Д. Мальцев, Л. Башинджагян, Г. Ф. Турчанинов.

Неопубликованный доклад Л. Теньера представляет интерес для изучения истории развития русской лингвистической географии. В нем крупный ученый-славист, сподвижник А. Мейе, дает оценку начала работы над русским лингвистическим атласом в тот период, когда намечались планы по его созданию. В докладе значительное место уделено также некоторым теоретическим положениям французской школы лингвистической географии (Ж. Жильеропа и его последователей). Этот доклад представляет интерес как одна из страниц истории разработки лингвистической географии.

Стеклографический отгиск рукописи доклада хранится в Архиве АН СССР в Ленинграде (архив В. Ф. Шипмарева, ф. 896, оп. 1, № 220, лл. 1—35). На последней странице рукописи имеется ряд схем, служащих иллюстрациями к основным положениям доклада. Текст доклада был подарен автором В. Ф. Шипмареву с надписью: «Дорогому приятелю Владимиру Федоровичу Шипмареву с выражением глубокого уважения и искренней благодарности от автора». На страницах рукописи имеются поправки карандашом стилистического характера, сделанные рукой В. Ф. Шипмарева² (изменение порядка слов, замена некоторых слов в тексте другими, изменение глагольных времен, вида и т. д.), над некоторыми словами поставлено ударение, уточнена в некоторых случаях пунктуация. Характер сделанных исправлений, в особенности ударения над словами, дает основание предполагать, что первоначально текст доклада был передан В. Ф. Шипмареву еще до его прочтения на заседании с просьбой просмотреть текст с точки зрения стилистической. Ниже приводится полный текст этого доклада в редакции В. Ф. Шипмарева, так как читался он именно в этой редакции. Текст сопровождается необходимыми подстрочными примечаниями.

И. А. Понсе

Л. ТЕНЬЕР

ПО ВОПРОСУ О ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКОМ АТЛАСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

Когда я в 1926—1929г. впервые приехал в СССР, то как в Москве, так и в Ленинграде я встретил у русских лингвистов и филологов необычайно любезный прием. Меня принимали, меня угощали, показывали мне все, что меня интересовало, меня дарили своими книгами и статьями, одним словом проявили в отношении меня столько доброты, что я в конце своего пребывания в Союзе расставался уже не с чужими людьми, а с настоящими близкими приятелями.

¹ Ф. Филин, Диалектологический атлас русского языка, «Фронт науки и техники», 1936, 12, стр. 66.

² «Рукописное наследие В. Ф. Шипмарева в архиве Академии наук СССР» сост. М. А. Бородина и Б. А. Малькевич, «Труды архива», 21, М.—Л., 1965, стр. 16.

Многие из них еще живы, и я очень обрадовался, увидя их снова на прежнем месте за их любимыми занятиями. Меня также очень обрадовало и то, что подле них оказались уже и молодые ученые, готовые принять из рук своих предшественников славное звание русской филологии.

Но, к сожалению, среди своих старых знакомых и приятелей двух я уже не застал. Это прежде всего — Николая Яковлевича Марра, чьей деятельности в области кавказской филологии и общей лингвистики, вопреки очень острым иногда возражениям, которые она вызывала у некоторых из моих соотечественников, а может быть и ввиду этих возражений, — нельзя не ценить высоко.

Другой ушедший от нас — это Милий Герасимович Долобо, отличный знаток истории русского языка, у которого я много чему научился.

Я считал бы себя человеком в высшей степени неблагодарным, если бы я не начал своего доклада с упоминания о них. Итак, разрешите мне, в качестве первого французца, выступающего здесь после их смерти, предложить Вам почтить вставанием память этих двух крупных лингвистов и глубоко мною уважаемых товарищей.

Месяца два тому назад, когда я приехал в СССР, я совсем не знал, в каком положении застану здешнюю диалектологическую работу: интересует ли этот вопрос научных работников, понимают ли они крайнюю необходимость взяться за это дело срочно, пока материал диалектологических разысканий еще жив, как относятся на берегах Невы к методу лингвистической географии, существо которого не все правильно понимают, даже у нас на Западе; наконец, найдутся ли у Вас в достаточном количестве научные силы и материальные средства для осуществления такого огромного дела, как лингвистический атлас русского языка? Все эти вопросы были для меня очень важны, так как ответ на них является центральным моментом научной командировки, приведшей меня в Вашу среду.

Совершенно ясно, что лингвистический атлас Франции Жильберона, который является, правда, не первым задуманным, но зато бесспорно первым законченным лингвистическим атласом вообще, не мог, конечно, не поразить глубоко успехом своим всех наших свободно и независимо мыслящих языковедов и лингвистов. Все они приняли дело Жильберона с большим восхищением, особенно Мейе, который со свойственной ему прозорливостью тотчас же понял, какие последствия этот новый метод изучения языковых явлений будет иметь в конечном счете для научного познания не только французского языка, но и всех языков, к исследованию которых он будет применен.

С тех пор Мейе все носился с мечтой о создании ряда языковых атласов всевозможных языков, и в особенности языков славянских. Он даже думал о всеобщем атласе славянских языков и поручил мне выступить с планом этой огромной, коллективной, международной работы на Съезде славистов в Праге в 1929 г. Но план этот, хотя и получил вначале всеобщее одобрение, однако, в конце концов не мог осуществиться, так как он был, очевидно, не по силам одной организации.

За невозможностью создать общеславянский атлас, Мейе не потерял надежды увидеть атласы для каждого отдельного славянского государства. Так возникла мысль о моей теперешней командировке.

Я должен сразу же сказать, что то, что я здесь застал, далеко превосходит самые смелые мои ожидания. Вы не только уже поставили себе все вопросы, о которых я только что упоминал, но Вы уже большей частью разрешили, и притом так, по-моему, как это следует. Я, право, не могу не выразить своей большой радости по поводу того, что работа над атласом у Вас уже началась, и я убежден, что Мейе, когда я ему обо всем этом расскажу, тоже будет этим восхищен и присоединится ко мне, чтобы пожелать Вам наилучших успехов в Вашей грандиозной работе¹.

¹ Работа над Атласом русского языка стала активно разворачиваться в 1935 г. (см.: Т. А. Дегтерева, Пути развития современной лингвистики, кн. 1, М., 1961, стр. 126). В то время, когда Л. Тенвер приехал в Ленинград, подготовка к созданию атласа была в самом разгаре. Разрабатывался «Вопросник для составления диалектологического атласа русского языка» и готовилась экспедиция в район озера Седигер, которая состоялась летом 1936 г. В ней приняли участие 25 человек, в том числе Ф. П. Филин, Б. А. Ларин, А. П. Евгеньева, С. А. Копорский, В. Ф. Чистяков, М. Д. Мальцев. Практическим результатом работы этой группы диалектологов явился составленный Ф. П. Филиным и М. Д. Мальцевым в 1938 г. «Лингвистический атлас района озера Седигер», увидевший свет только в 1949 г.

Теоретической разработке проблем, связанных с лингвистическим атласом русского языка, была посвящена в те годы статья Ф. П. Филина «О диалектологическом атласе русского языка» («Литературный критик», 1935, 12), а также названная выше статья «Диалектологический атлас русского языка». См. также: М. Мальцев, О диалектологическом атласе русского языка, «Р. яз. в шк.», 1936, 5; М. Я. Немировский, Лингвистическая география и ее значение, «Изв. гор. пед. ин-та, III, Владикавказ, 1926. Об истории разработки русского лингвистического атласа см.: «Атлас русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы», М., 1957, стр. 41—56.

Итак, казалось бы, присутствие мое среди Вас излишне. Но раз Вы были так любезны и попросили меня выступить перед Вами с докладом о предмете, мне столь близком, я решил согласиться на Вашу просьбу и, воспользовавшись случаем, подчеркнуть некоторые основные положения Жильберона, Мейе и вообще французской школы лингвистической географии. Этим, конечно, я не намереваюсь оказать какое-нибудь влияние на дело, которое остается и должно оставаться Вашим. Тем не менее, быть может, не совсем бесполезно коснуться, хотя бы вскользь, предмета Ваших будущих дискуссий.

Лингвистическая география до известной степени противопоставляет себя старой науке, диалектологии, не раз доказавшей свое большое значение, причем не худо лишний раз подчеркнуть, что это отнюдь не значит, что они должны бороться друг с другом, как враги. Цель их одна, а именно: более детальное изучение данного языка и, следовательно, им, по-моему, гораздо благодарнее и целесообразнее идти рука об руку, как двум добрым сестрам, чем бесконечно спорить о преимуществах одной над другой.

Но если цель у них одна, то метод, т. е. подход к языковым явлениям у каждой из них свой. Конечно, факты фактами, и они всегда останутся фактами, как к ним ни подходи. Но картина, которую факты дают нашему уму, может целиком измениться в зависимости от группировки, в которой они представляются, следовательно, и в зависимости от метода, по которому они собраны. Так что в конце концов отнюдь не бесполезно проводить сравнение между собою обоих методов, лишь бы только это делалось без малейшего оттенка вражды или отрицания, так как ни один из двух методов сам по себе не дает нам всего и только пользование обоими приведет нас к прочным результатам.

Лингвистическая география, как это уже видно из названия, которое ей дали основоположники, подходит к фактам географически, тогда как диалектология опирается более на историю. При этом надо заметить, что я имею здесь в виду прежде всего диалектологию в том виде, какой она имела в конце XIX в. и в особенности в Средней Европе. Русские диалектологи, по крайней мере те, с которыми я имел удовольствие беседовать здесь в ИЯМ'е, являются представителями направления промежуточного, своего рода «переходным диалектом», между крайней лингвистической географией и крайней диалектологией. Я ограничусь пока этими двумя крайними направлениями, хотя бы только ввиду четкости контраста.

Итак, диалектолог — а под этим словом я буду понимать теперь, во избежание недоразумения, к р а й н е г о диалектолога, — диалектолог описывает всесторонне выбранный им диалект или говор сам по себе, безо всякой связи с окружающими его диалектами или говорами. Очевидно, он описывает данный говор только с той целью, чтобы обогатить новым материалом историю языка и способствовать реконструкции предполагаемого праязыка.

Это понятие вполне соответствует воззрениям лингвистов XIX в., заслужившего по праву название, не раз ему дававшееся, столетия исторического. Из области общей или политической истории историческое отношение к объекту научного изучения проникло во все другие области науки, между прочим и в лингвистику. Лингвисты так называемой индоевропейской школы стали смотреть на схожие языки как на разные ветви одного и того же праязыка, реконструкция которого становилась главной их задачей. Понятно, что при этом незначительное количество языков, развившихся в литературные языки, не всегда позволяло восстановить прежнее, доисторическое положение вещей со всей желательной основательностью. Поэтому исследователи и пришли к мысли расширить базу сравнения путем обращения к иным, хотя бы и не литературным разновидностям данного языка. Каждый новоописанный диалект приветствовали как лишнего члена² в семье, все казавшейся малочисленной, сравниваемых языковых образцов как новый краеугольный камень для построения здания праязыка.

Лингвист-географ, наоборот, не беспокоится вовсе, по крайней мере вначале, о судьбе языковых явлений, тонущих во мраке минувших времен. Его интересует прежде всего нынешнее состояние этих явлений, место, которое они занимают в наши дни, и взаимоотношение их в пространстве. Только после подробнейшего географического их исследования и рассмотрения, а именно на основе этих своих исследований и рассмотрений, лингвист-географ считает себя вправе обратиться к истории. Ввиду этого не худо присмотреться ближе к характеру упомянутой географической разработки фактов, на почве которой лингвист-географы развернули совершенно особую, тонкую, иногда очень сложную и своеобразную технику, являющуюся, по-моему, важнейшим моментом географической лингвистики.

Эта техника опирается, главным образом, на сравнение между собой областей распространения разных языковых явлений, или лучше, если уж говорить, как говорят лингвисты-географы, на сравнение между собой разных языковых «площадей». Следовательно, понятие о языковой площадке является самым основным в географической лингвистике.

² Далее идет зачеркнутое В. Ф. Шинмаревым слово, которое нельзя разобрать.

гвистике. Сравнение площадей может быть проведено очень различным способом и приводит к установлению целого ряда общих соображений и даже законов, которые лингвист-географ старается возвести в связную, понятную систему. Здесь я считаю нужным на нескольких примерах показать, какого рода эти общие выводы и заключения и до какой степени они могут быть разнообразны.

Возьмем, например, случай двух языковых фактов «а» и «б», при которых площадь первого, т. е. «а», вписывается в площадь второго, т. е. «б». Совершенно ясно: можно допустить, что явление «б» есть причина явления «а», ибо «а» не является нигде, где бы не было одновременно и «б». Но противоположное недопустимо, т. е. «а» нельзя рассматривать как причину «б», ибо «б» присутствует и там, где «а» нет, а следствие не может, конечно, являться там, где одновременно не имеется и причина. Таким образом, количество возможных выводов и заключений строго ограничено самой географической картиной, причем картина дает иногда очень полезный намек на вероятные объяснения того или иного языкового факта.

Такое объяснение допустимо и в случае, когда обе площади точно совпадают, лишь бы только площадь «а» не пересекала площади «б», причем совершенное совпадение обеих площадей придает всей картине очень большую доказательную силу. Таким является в особенности случай так называемых «столкновений слов». Один из ярких примеров такого столкновения имеется у нас во Франции, в некоторых юго-восточных говорах. В этой области мы имеем площадь, где вместо представителя старого романского **gallo*, обозначающего «петух», появляется слово *jago*, во всех других говорах обозначающее «гусака», причем мы имеем **gallo* и вокруг этой площади. Возникает вопрос, почему старое **gallo* именно в этих говорах исчезло и было замещено другим термином. И вот оказывается, что на площади, совершенно совпадающей с площадью *jago*, рефлекс старого двойного *ll* совпадает с рефлексом старого двойного *tt*. И сразу все становится ясным. Во всем этом крае существует представитель романского **gatto*, т. е. «кот, кошка». Ясно, что при совпадении двойного *ll* с двойным *tt*, слово **gallo* должно было совпасть со словом *gatto*; т. е. в тех говорах, где двойное *ll* переходит в двойное *tt*, название «петуха» становилось неразличимым от названия «кота». В этом-то и состоит столкновение. А так как получается совершенная путаница в таком говоре, где утром поет кот, а мышь ловит петух, то неизбежно надо было найти новое название для одного из них. В нашем случае взяли для петуха название гусака.

В таком, пожалуй, классическом примере столкновения слов следует подчеркнуть глубокую убедительность факта, что обе площади, а именно площадь совпадения **gallo* с **gatto* и площадь совпадения двойного *ll* с двойным *tt*, совершенно тождественны по своим размерам. Но иначе и быть не могло; ибо, с одной стороны, на той площади, где двойное *ll* совпало с двойным *tt*, и слово **gallo* не могло не совпадать одновременно со словом **gatto*; с другой стороны, вне пределов этой площади не было повода к такому совпадению. Доказательство приобретает здесь большую степень вероятности.

Интересный пример подобного же столкновения нашел я и на славянской почве, занимаясь подготовкой своего лингвистического атласа для изучения двойственного числа в славянском языке. В одном северо-западном говоре его неударенные гласные *i* и *u* подвержены сильной редукции, которая вызывает в конце концов совершенное их выпадение. Любопытно заметить, что в сочетании *wi* процесс редукции происходит дважды. Первый раз подвергается редукции гласный *i*, который опускается до редуцированного гласного *ə*, а затем совершенно отпадает, причем сочетание *wi* переходит в *wə*, а затем в *w* гласный, т. е. *u*. То же *u* является затем предметом второй редукции и проходит те же самые стадии, как раньше *i*, т. е. редуцируется в *ə*, а затем исчезает. Таким образом, в конце концов от целого слога *wi* не остается решительно ничего. Можно привести несколько любопытных примеров этого как будто бы неожиданного развития. Сюда относится между прочим слово *vinograd*, которое, в совершенном согласии с фонетикой этих говоров, существует там в ампутированном виде: в форме *nograd*. Не менее интересно слово *viržinka*, т. е. «сигара из виргинского табаку», слово, которое там превратилось в *žinka*. Я — человек некурящий, и это во мне как лингвисте оказалось в данном случае большим пороком. Мой приятель словинец, который не разделял моей слабости, уверял меня, что «виржинками» у них называются такие сигары, внутри которых вставлена длинная соломина. А соломина, естественно, ржаная; рожь же там, так же приблизительно, как здесь у Вас, называется *rž*, так что для них теперь *žinka* не что иное, как сигара с соломиной. Наконец, группа *wi* может являться и корнем слова, как, например, в русских словах *вить*, *развитие*, *виток* и т. д. В тех случаях, когда корень по-словински не имеет ударения, он исчезает безо всяких следов. Так, например, слово *rovitica* с ударением на втором *i*, который обозначает нечто вроде калача, развивается в *rovisa*, причем корня здесь уже не видно. Когда я предложил Мейе задачу: этимологизировать слово *rovisa*, он при всем своем остроумии никак не мог догадаться, что он тут имеет дело с корнем-невидимкой.

Любопытная судьба слога *wi* имела очень важные последствия в развитии двойственного числа личных местоимений. На той же площади говорится о двойственном числе не «мы, вы», а *midwa*, *widwa*, т. е. местоимение теснейшим образом соединяется с

числительным *dwa* «два», которое тоже существует отдельно. Местоимение *midwa* развивается, с редукцией гласного, в *madwa*, затем в *mdwa*, и наконец, с ассимиляцией звука *m* перед зубным, в *ndwa*. Во втором лице мы находим снова слог *wi*, который должен исчезнуть вовсе, так, что *widwa* должно развиваться, через вышеупомянутые стадии, в *wadwa*, *wdwa*, т. е. *udwa*, *edwa* и в конце концов в **dwa*. Но эта последняя степень развития привела бы к совершенному совпадению местоимения второго лица с числительным *dwa* и обусловила бы тем самым столкновение слов для говоров невыносимое, ибо нельзя обойтись без различия двух столь важных грамматических орудий. И вот почему, именно в этих говорах, мы находим *ndwa* во втором лице, как и в первом. Очевидно, там обратились к местоимению первого лица, с которым смешение было невозможно благодаря различию глагольной формы.

В случае, когда площадь одного явления вписывается в площадь другого, и, следовательно, первое явление представляется как вероятная причина другого, нельзя не припомнить известную теорию волн Иоганнеса Шмидта. Каждое языковое нововведение является сначала в виде маленького пятна, которое постепенно расплывается во все стороны и становится настоящей «площадью», пока оно не охватит целую территорию данного языка. При этом совершенно естественно, что явление более древнее занимает большую площадь, чем явление более позднее, ибо оно начало распространяться уже раньше. Потому оно и может быть причиной последнего. Историческая последовательность языковых событий в конце концов записывается, так сказать, географией на данной территории, где запись эту остается только прочесть. Если, например, какое-нибудь явление находится между двумя другими, то можно с некоторой вероятностью предположить, что оно представляет промежуточную стадию между ними. Так случилось и со мною в один прекрасный день в северной Словении. В одном говоре я уловил слово *grč*, имеющее значение «опять», и никак не мог объяснить себе его. Но перейдя к следующему говору, я нашел в нем, в том же значении, слово *drč*, в котором я тотчас же узнал искаженное *drugič*, т. е. «в другой раз, во второй раз, опять». Без промежуточной стадии *drč* я бы, пожалуй, долго раздумывал над ним, а так я получил сразу же и объяснение слова, и доказательство, что это объяснение правильно.

Когда какое-нибудь новое языковое явление распространилось до того, что оно охватывает уже почти всю, но не целиком всю территорию данного языка, то понятно, что старое, теперь, так сказать, затопленное другим явлением сохраняется только кое-где в отдаленных углах. Наоборот можно предположить, что одинаковые языковые явления, находящиеся теперь в разных углах данной территории, представляют собой отдельные остатки некоторого старого явления, некогда охватывавшего целую территорию, но теперь отступившего перед наплывом нового факта. Классический пример этого случая — это французское слово *abeille* «пчела». Если судить по тому очень большому количеству книг и статей, которые посвящены этому слову, то можно подумать, что все французы только и занимаются, что пчеловодством. Между тем это, конечно, не так. Но дело в том, что слово это действительно стоит на перекрестке целого ряда проблем лингвистической географии.

Оказывается, что во французском языке как литературном, так и разговорном, слово *abeille*, уже по фонетике своей, не может быть северофранцузским, ибо согласно северофранцузской фонетике звук *b* между двумя согласными должен был бы превратиться в звук *v*, как это и бывает в целом ряде других слов, например: *faba* — *feve*; *habêre* — *avoir* и т. д. Это доказывает, впрочем, слово *aveille* с буквой *v*, которое встречается, между прочим, в одном старофранцузском памятнике. Форма *abeille* только и может быть объяснена как заимствование из южнофранцузских говоров, где старый латинский *b* везде сохранился как *b*. Возник вопрос, какое слово употреблялось в северной Франции для обозначения пчелы до заимствования южнофранцузского *abeille* и почему старое слово не могло удержаться. И вот лингвистическая география устанавливает, что в четырех отдельных углах северофранцузской территории сохранилось диалектически слово *êe* или подобные ему, представляющие по всем правилам исторической фонетики возникший рефлекс латинского *apet*, между тем как южнофранцузское *abeille* восходит к латинскому *apiculam*. Таким образом, все освещается наново. Кроме, вероятно, очень небольшого уголка, где засвидетельствовано слово *aveille*, слово *êe*, очевидно, было некогда общераспространенным на всем севере Франции. Но так как оно было до крайности истрепано и ввиду своей односложности вряд ли употребляемо, то очень рано его стали замещать различные другие слова. За неимением удовлетворительного общего термина, каждый говорящий старался выгугываться из беды как мог. Я помню, например, что в говоре моего родного города я еще слышал наряду с ныне общепринятым, но очевидно заимствованным *abeille* еще и старое, домо-рощенное *touché à miel*, т. е. по-русски буквально «медовая муха». В условиях такого полного разнобоя, где один говорил так, а другой иначе, конечно, должно было победить заимствованное, фонетически не искаженное слово *abeille*, что действительно и случилось. На этом пресловутом примере можно дать себе отчет о том громадном значении, которое имеет факт географического взаимоотношения различных площадей, ибо тут без географического подхода вряд ли было бы возможно понять всю сложность исторического развития.

Наконец, приведу еще один пример, с тем, чтобы показать тесную связь, существующую между расположением различных площадей и физической природы данной территории. Я имею в виду тот факт, теперь всем хорошо известный, что расширение площадей обыкновенно происходит таким образом, что языковые нововведения продвигаются вверх по рекам или, лучше сказать, по долинам рек. Прекрасный пример такого общего стремления может дать нам опять-таки тот же словинский язык. Оказывается, что при картографировании сохранения и исчезновения особых форм именительного и винительного падежей в существительных женского рода получаются две площади, границу между которыми можно определить с изумительной точностью. Выясняется, что площадь исчезновения двойственного числа является прямым продолжением территории сербо-хорватского языка, где двойственное число тоже совершенно исчезло. Это ни в какой мере не поддерживает гипотезу Мейе, по теории которого исчезновение двойственного числа вообще есть следствие более развитой цивилизации; следовательно, если бы Мейе был прав, то исчезновение это должно было бы задеть словинскую территорию либо с севера, где говорят по-немецки, либо с юго-запада, где говорят по-итальянски, а никак не с юго-востока, где говорят по-сербо-хорватски, ибо цивилизация проникла к словинцам от немцев и от итальянцев в гораздо большей степени, нежели от хорватов или сербов. Здесь карта говорит очень выразительно, и хотя Мейе по этому вопросу еще не сдался, я все же думаю, что приговор географической лингвистики является в данном случае окончательным.

Я до сих пор ограничивался вопросом о площадях. Но, конечно, площади не могут выделяться на географической карте иначе, как своими границами. И, следовательно, лингвисту-географу в конце концов очень быстро приходится вместо того, чтобы оперировать площадями, оперировать границами, т. е. так называемыми «изоглоссами», причем не следует терять из виду, что изоглосса сама по себе чисто отвлеченное понятие и не соответствует ничему вне связи с понятием о площадях, которые она ограничивает. Однако с известной оговоркой вполне возможно перейти от понятия площади к понятию изоглоссы, оказавшемуся по практическим соображениям, гораздо более удобным, — для оперирования над собранным и картографированным материалом. Поэтому географическая лингвистика, хотя и основывает все на понятии о площадях, на самом деле оперирует в конце концов большей частью изоглоссами. Так, в соответствии с техникой работы над площадями развилась целая техника работы над изоглоссами, которой я теперь посвящаю несколько слов.

Самое основное положение техники изоглосс — это принцип так называемой «независимости изоглосс». Диалектологи середины прошлого столетия нередко думали, что раз есть диалекты, то должны быть и границы диалектов. Но им тем не менее никогда не удавалось установить точно эти границы; они исчезали в ту минуту, когда исследователю казалось, что он их уже уловил. Один из крупнейших результатов работ Жильерона — это довольно прочно обоснованное утверждение, что границ диалектов нет, а есть только границы отдельных диалектологических явлений. А раз эти границы, т. е. изоглоссы, совершенно независимы одна от другой и, следовательно, пробегают по территории каждая по собственному пути, то, очевидно, нельзя нигде найти границы между одним диалектом и другим.

Эта острая критика прежнего представления о диалектологических границах, конечно, сопровождается необходимо значительным расшатыванием самого понятия о диалектах. Поэтому совершенно естественно, что лингвисты-географы, по крайней мере вначале, относились крайне отрицательно к диалектам. По их мнению, диалектов вообще не существует, и вера в диалекты казалась им своего рода лингвистическим суеверием³.

³ При обсуждении доклада Л. Теньера точка зрения отрицания диалектов вызвала возражения Л. В. Щербы, В. М. Жирмунского, Ф. П. Филина, присутствовавших на докладе. «В методе лингвистической географии в значительной степени исчезает индивидуальный диалект вплоть до точки зрения: нет диалекта, а есть изоглоссы. Если это иногда и верно, то далеко не всегда и не везде, например, в лужицких говорах четко ощущаются границы диалектов. Хозяйственно изолированные территории сохраняют свои особые диалекты. Некоторые диалектические членения, новые диалекты создаются и теперь, на наших глазах, например, в силу перемещения экономических центров. Такие факты создания новых диалектических единиц представляют большой интерес для языкознания, в частности, для лингвистической географии» (из выступления Л. В. Щербы, «Протокол заседания Кабинета общего языкознания ИЯМ 25 марта 1936 г.», ЛО ААН СССР, ф. 77, оп. 1 (1936), № 18, л. 5). «Принцип исследования каждого слова отдельно является для нас бесспорным. От устарелого принципа русской диалектологии явно придется отказаться. В то же время нельзя нигилистически относиться и к диалектам как таковым, отрицание существования которых является крайностью» (из выступления В. М. Жирмунского, там же, л. 6). «Мы придерживаемся той точки зрения, что хотя изоглоссы отдельных явлений не совпадают, но явления эти объединены в одно целое, обусловленное исторически. Мы

Той самой критике, которой подвергнуто было понятие диалекта, можно подвергнуть и понятие изоглоссы. Изоглоссы, конечно, существуют, но не так, как их понимают многие при беглом знакомстве с ними и как их понимал сам Жильберон, когда он взялся за свой большой атлас Франции. А именно, когда он устанавливал впервые план своей работы, ему хотелось прежде всего доказать, что изоглосса данного фонетического закона одна и та же для всех слов, в которых этот закон действует. Эта мысль его стояла в теснейшей связи с известным положением младограмматиков, что фонетические законы действуют строго, без исключений. Между тем работа над атласом, вместо того, чтобы подтвердить то, чего ожидал Жильберон, наоборот, доказала ему ясно, что не только изоглоссы отдельных языковых явлений, но даже и изоглоссы того же самого явления в разных словах независимы одни от других. Следовательно, в конце концов нет и не может быть изоглоссы фонетических законов; могут быть только изоглоссы слов. Вот почему нельзя одобрить лингвистические атласы, дающие только изоглоссы различных явлений, а не самый собранный материал.

К каким крупным ошибкам может привести игнорирование этого основного положения, показывает лучше всего объемистая книга, посвященная несколько лет тому назад одному чешскому диалекту. Автор ее собирает в ней, между прочим, по отдельным деревням все слова, содержащие старое сочетание *dl*, как, например, *sadlo*, *mydlo* и т. д., где на известной площади *d* отпадает и старое *dl* переходит в *l*, как, впрочем, и по-русски: *сало*, *мыло*. Но вместо того, чтобы картографировать каждое слово отдельно, он превращает их в какую-то окрошку, из которой он потом извлекает изоглоссу между *dl* и *l*. Но раз существует столько изоглоссы, сколько слов, то нельзя обойтись без исключений, на объяснение которых автор тратит не мало остроумия. Так, например, он очень серьезно объясняет, что если в двух деревнях, где должно было быть *salo*, мы находим *sadlo*, то это, очевидно, потому, что там крестьяне не готовят свое сало сами, но покупают его в ближайшем городе, который находится на другой площади, и где, следовательно, произносят правильно *sadlo*. Я любопытно узнаю, так ли это, и стал картографировать все данные по этому слову. Оказалось, что изоглосса этого слова просто проходит несколько севернее других. Нечто подобное могло получиться и на русской почве, если бы кто-нибудь попытался картографировать изоглоссы произношения *g* как взрывного, а *γ* как длительного на основе слова *богатый*. Он, пожалуй, установил бы научно, что северная изоглосса характерно южного произношения *g* как *γ* проходит где-нибудь около Белого моря.

Я как раз занимался сам этим вопросом и написал специальную статью, чтобы показать, что изоглосса между *tl*, *dl* и *l* сколько угодно на славянской почве. Между тем дело идет о том же самом явлении, если только видеть здесь не строгий, жесткий закон, как его понимают младограмматики, а некоторую общую тенденцию, осуществляющуюся на тем более широких площадях, чем она (тенденция) в данном случае встречает менее сильное сопротивление. Так, например, отпадение звука *d* охватывает почти всю славянскую территорию, если взять слово *šedl* «он шел», где причастие формально никак не связано со своим глаголом («идти») и им вовсе не поддерживается, тогда как выпадение *d* далеко не так широко распространено в словах с окончанием на *-dlo*, как, например, *sadlo*, *mydlo*, представляющих собою плотную группу, сопротивляющуюся гораздо сильнее каждому новшеству. Этот вывод лингвистической географии, по-моему, соответствует вполне новым взглядам на фонетические законы не как на подлинные, определенные законы, а как на некоторые общие, не всегда побеждающие тенденции⁴.

Из вышесказанного совершенно ясно вытекает также то, что на изоглоссы нельзя смотреть как на неподвижные границы, раз навсегда связанные с определенными точками на земле. Наоборот, большинство изоглоссы постоянно передвигается в ту или другую сторону, в зависимости от направления, в котором распространяется данное языковое новшество. Это видно каждому, кто находится сам на какой-нибудь изоглоссе. Но как установить лингвисту, что он в данный момент стоит именно на изоглоссе? Ведь изоглосса не колючая проволока, чтобы ее можно было нащупать руками. Она, как экватор или меридиан, чисто отвеченное понятие, которого материально даже невозможно себе представить. Я тоже так полагал, пока сам не ощутил на себе изоглоссу. Дело происходило следующим образом.

не отрицаем реальности диалектов. Задачей французской диалектографии должно бы являться восстановление картины прежних, исчезнувших уже диалектов» (из выступления Ф. П. Филина, там же, л. 7).

⁴ При обсуждении доклада В. М. Жирмунский высказал свои возражения против этого тезиса Л. Теньера: «Не надо в то же время игнорировать значение для диалектографии звуковых законов. В основе звуковых законов лежат незаметные сдвиги в артикуляции, на границах же территорий они суммируются и переходят в противоречия. Когда границы снимаются, начинаются странствия слов, опираясь на которые диалектография (французская и немецкая) отрицает значение звуковых законов» [«Протокол заседания Кабинета общего языковедения ИЯМ 25 марта 1936 года», ЛО ААН, ф. 77, оп. 1 (1936), № 18, л. 6].

Меня сводила тогда с ума мысль собрать материал по вопросу о двойственном числе в словинском языке. Я только об том и думал. Даже давал объявления в газеты, вроде например: «имеются в продаже два стола и два стула», или же: «муж и жена желают купить двух собак с конурами», или даже: «молодой человек, приятной наружности, располагая двумя комнатами, был бы рад жениться на опытной кухарке». Я, конечно, не успел продать своих мнимых столов, но зато немало словинских кухарок предложило мне, вместе с ожидаемым ими наследством, свою руку и сердце. В ту пору бродил я как-то по северной Словении. Повстречав однажды крестьянку, я стал спрашивать у нее, как она скажет по-своему, есть ли у нее две свиньи: *dve svinje* или же *dve svinji*. Она заявила мне, что нужно обязательно говорить *dve svinji*, т. е. в двойственном числе. Но тут вмешался ее сын, молодой парень лет 20-ти, который стал утверждать категорически, что так уже никто не говорит, а надо обязательно говорить *dve svinje*, т. е. без двойственного числа. По поводу этого начался спор и перебранка, причем мать и сын привялись основательно ругать друг друга. Я тогда решил, что изоглосса, а в особенности же движущаяся изоглосса, в конце концов, может быть, не только отвлеченное понятие, без внешних признаков, как можно думать о ней, сидя за письменным столом. Я в этом случае попал как раз на изоглоссу, мало того, на движущуюся изоглоссу, причем было очень легко определить, в какую сторону она движется. Я и раньше знал, что севернее двойственное число в этом случае сохранилось, а южнее оно исчезло. Значит, мать принадлежала еще северной площади, а сын — уже южной. А так как говор молодых должен когда-нибудь вытеснить говор старых, то, значит, южная площадь должна со временем отделиться в этом месте северную. Стало быть изоглосса продвигается в направлении к северу.

Я, может быть, слишком долго распространялся относительно независимости изоглосс; извинить меня может только то, что это положение для лингвистической географии очень важно. Но надо его понимать правильно и не преувеличивать его. Тем, например, что изоглоссы независимы, еще отнюдь не сказано, что они совершенно изолированы. Это толкование никак не соответствовало бы глубокой мысли Жильберона, осветившего, наоборот, случаи столкновения слов, при которых о независимости площадей, а следовательно и о независимости ограничивающих их изоглосс, и думать нечего. Это видимое противоречие разрешается так, что положение о взаимной независимости изоглосс применимо только к собиранию материала, а отнюдь не к позднейшей его разработке. Жильберон и его последователи никогда не думали, что изоглоссы независимы одна от другой всегда. Они просто решительно выступали против тех, кто защищал противное, т. е. что существуют резкие границы между диалектами, из чего само собой вытекает, что изоглоссы зависимы от этих мнимых границ. Жильберон хотел только сказать, что это не обязательно так. Бывают такие изоглоссы, которые могут оказаться в зависимости одна от другой, как я на это указывал выше. Но мы о таких изоглоссах никак не можем знать а priori, т. е. заранее; поэтому к собиранию материала следует подходить так, как будто бы все изоглоссы были совершенно независимы между собой. А то, какие имеются связи, покажет а posteriori разработка. К этому следует еще добавить, что изоглоссы в конечном счете зависят от природных и политических препятствий. Там, где есть горы, реки, границы, новшества проникать труднее и на тех местах накапливаются изоглоссы. Создаются так называемые пучки «изоглосс», которые частью очень долго переживают обстоятельства, обусловившие их образование. Так, например, пучки изоглосс очень часто находятся до сегодняшнего дня на местах уже давно исчезнувших границ, о наличии которых в прежнее время свидетельствуют, благодаря лингвистической географии, упомянутые пучки еще и сегодня. Не следует, однако, думать, что пучки изоглосс представляют собой нечто непрерывное. Часто бывает, что данный пучок тянется на десятки километров, в очень компактной форме, а затем изоглоссы начинают разбегаться веерообразно во всех направлениях.

Так, например, во Франции мы имеем довольно отчетливую границу между северо- и южнофранцузскими говорами на западе, а именно к северу от города Бордо. Здесь пучок, в 25 км шириной, тянется через половину Франции в довольно компактном виде. Но не дойдя до города Лиона, он расходится. В этом последнем районе определенной границы уже нет. Романисты, которые на западе Франции могли так хорошо установить различие между северофранцузскими и южнофранцузскими или провансальскими говорами, зашли здесь в тупик, ибо перед ними не было пучка изоглосс, а был постепенный, почти незаметный переход от северных говоров к южным. Они, правда, пытались отделить изобретенным ими термином «франко-провансальские говоры». Но это им не помогло; это только отсрочивало проблему, ибо и для этого вновь изобретенного диалекта нельзя было найти определенных границ. Дело в том, что в этом районе реки Сена, Соны и Роны представляют собой связный естественный путь сообщения, идущий с севера на юг, а потому поперечного пучка изоглосс здесь даже нельзя и ожидать.

В конце концов можно представить себе диалектологическую картину данной языковой территории как некую площадь, местами пересеченную более или менее компактными пучками изоглосс, которые могут даже расходиться веерообразно или

целиком исчезать. С этой точки зрения лучшей диалектологической картой Франции, которую мне удалось видеть, является маленькая карта, данная Доза в одной его статье в каком-то популярном французском журнале. На этой карте мелькают в разных местах, но в особенности вблизи больших гор, пучки изоглоссы, изображенные толстыми линиями, становящимися постепенно тоньше и наконец совершенно исчезающими.

Это представление вещей в конце концов приводит нас снова к некоему понятию диалекта, но уже не как к понятию чего-то целого, со всех сторон окруженного резкими границами, а как к понятию некоторой диалектологической площади, окруженной более или менее компактными пучками изоглоссы, и то не обязательно со всех сторон. Эти площади отражают обыкновенно бывшие политические или административные деления, причем центрами распространения оказываются большие города. Например, влияние таких центров, как Париж или Лион, обнаруживается очень ясно на картах французского атласа.

При этом надо еще, наконец, заметить, что диалектологическая картина может очень разнообразиться в зависимости от исторического развития того или иного государства. Так, например, диалектологическое деление гораздо менее отчетливо в давно уже централизованной Франции, чем в Германии, где старые, средневековые территориальные явления держались вплоть до первых лет XIX столетия. В России старые деления тоже очень долго держались, но зато здесь почти что не имеется больших естественных препятствий, так что картина получится, наверно, отличная от предыдущих, о чем нам точно расскажет будущий атлас русского языка.

В русской науке, как я о том уже упоминал выше, представлена и историко-диалектологическая, и географическая точка зрения; быть может, не в таком односторонне-крайнем виде, как на западе, но зато уже очень давно. Историко-диалектологической точки зрения придерживается скорее, уже в XX столетии, такая работа, как «Опыт диалектологической карты русского языка» Московской диалектологической комиссии, составленный под редакцией Дурново, Соколова и Ушакова. С другой стороны, на недостаток старой филологии указывали уже в 70-х гг. XIX в. такие ученые, как Колосов и Александр Иванович Соболевский. С этим течением связана и господствующая в организационной группе будущего атласа русского языка тенденция, если судить о том, по крайней мере, по отличной статье Федота Петровича Филина, недавно выпедшей в «Литературном критике»⁵. Изложенные им в ней положения вообще очень близки к нашим теперешним положениям, как в этом убеждает даже поверхностное сравнение.

В плане, предложенном Мейе и мною на Пражском съезде лингвистов, мы согласились свести самые необходимые признаки, отличающие лингвистическую географию от диалектологии, к трем основным пунктам, а именно: с и с т е м а т и ч н о с т ь, о д н о о б р а з и е и н а г л я д н о с т ь. Поэтому будет интересно обратиться теперь к рассмотрению того, как Ваше предприятие относится к этим трем пунктам.

Под систематичностью Мейе понимает следующее: перечень материала, который будет исследован, должен быть составлен заранее, так что собранные факты не будут определяться случайностью, а будут находиться в соответствии с давно и всесторонне продуманным планом. Таким образом, собираться будет совершенно одинаковый материал, и это не только весьма желательно, но и интересно сравнительно, но и абсолютно необходимо для картографирования. Русская анкета также намеревается собирать материал путем заранее подготовленной анкеты⁶, так что здесь имеется полное согласие с нашими взглядами. Интересно, впрочем, заметить, что бывшая Московская комиссия оперировала также путем анкет, хотя взгляды ее в остальном значительно отходили от понятия лингвистической географии.

Однообразие собирания материала — это значит, что вести анкету на возможно более широких площадях должен тот же исследователь, во избежание всяких методологических расхождений и недоразумений. Здесь я должен отметить, что мы с Мейе не можем согласиться с Вами, не только потому, что наша точка зрения иная, но просто потому, что здесь между Вами существует резкое разногласие, так что если даже согласиться с кем-нибудь из Вас, то все равно разоидешься с другими.

Одни полагают, что атлас русского языка должен охватить возможно большее количество фактов и что таким образом исследовано должно быть возможно большее количество населенных пунктов. Так, в статье Федота Петровича Филина, который представляет это направление, я, пожалуй, не без некоторого испуга прочел, что исследовано будет, в пределах РСФСР, приблизительно 50 000 пунктов, т. е. приблизительно четвертая часть всех населенных мест. При такой огромной задаче понятно, что исследование не только не может быть делом одного человека, но может быть сделано только путем рассылки печатной анкеты.

⁵ Л. Теньер имеет в виду статью Ф. П. Филина «О диалектологическом атласе русского языка».

⁶ Л. Теньер имеет в виду подготавливавшийся в то время «Вопросник для составления диалектологического атласа русского языка».

Против вышеизложенной точки зрения возражают те, кто, как, например, Иван Иванович Мещанинов, принципиально осуждают всякий «посредственный» процесс собирания материала. По их мнению, собирать диалектологический материал путем письменного опроса очень опасно, так как материал, собранный в отсутствие и без действия ученого, опытного специалиста, будет по необходимости очень сомнительным, а в некоторых случаях и вовсе негодным для использования. На крупные недостатки этого метода уже достаточно ясно указывали анкеты Московской комиссии. С другой стороны, Иван Иванович Мещанинов говорил мне на днях о том, как в Киеве, где теперь уже располагают большим материалом по украинским говорам, собранным путем печатной анкеты, руководители этого дела уже теперь не удовлетворены своим материалом. Те, кто против метода анкет, резко подчеркивают необходимость непосредственного метода собирания материала, т. е. они полагают, что исследователю сам должен побывать в каждой деревне и все слышать собственным ухом. Но в таком случае необходимо значительно уменьшить число исследуемых пунктов, ибо дело провести невозможно. Одним словом, лучше меньше, но прочнее.

Насколько я знаю, представители этой более трезовой точки зрения, и среди них Иван Иванович Мещанинов, находятся у Вас сейчас в меньшинстве. Хотя мне и присуща некоторая склонность к бунтарству и я, сколько возможно, избегаю разделять мнение председателей, я все же должен заявить, что здесь, по-моему, председатели прав. Но, правда, и непосредственный метод должен был бы в данном случае отказаться от некоторых из своих основных положений, ввиду необыкновенных размеров территории, занимаемой русским языком. Если только представить себе, что эта территория приблизительно в пять раз больше, чем территория, занимаемая французским, то об одном исследователе и думать не приходится. Возможно, конечно, послать несколько исследователей, причем каждого на возможно широкую площадь. С другой стороны, и представители посредственного метода совершенно сознательно признают недостатки защищаемого ими приема; они собираются устранить их путем позднейшей проверки, что явилось бы, надо это признать, самым оригинальным новшеством в Вашем предприятии. Но лучше предупредить, чем лечить. Конечно, посредственный способ собирания материала не будет никоим образом мешать Вам при улавливании лексических особенностей того или другого говора. Говорят ли в данном месте *пазать* или *орать*, *плугили орало* — это сможет установить и неспециалист. Но этим способом вряд ли можно будет определить точное произношение русского *щ*, как и другие фонетические тонкости, для точной фиксации которых нельзя обойтись без хорошего, испытанного, единого человеческого уха (причем придется, пожалуй, декретно воспретить глубоким старикам, под угрозой смертной казни, умирать до проверки). При таких случаях, как произношение *щ*, проверочная комиссия будет, боюсь, вынуждена проверить почти все говоры, т. е. побывать во всех исследованных пунктах; но тогда не лучше ли было бы начать именно с этого⁷.

Наконец, наглядность географического метода состоит в картографировании. С этой точки зрения можно различить два типа языковых атласов, а именно: атласы фактов и атласы изоглосс. Атлас фактов дает прямой результат анкеты, без малейшего его истолкования. По словам Мейе, это просто удобный способ показать факты читателю. Тут опять учтен принцип непосредственности, ибо читатель непосредственно приводится в соприкосновение с собранным материалом. Атласы изоглосс, наоборот, не очень

⁷ Вопрос о методе сбора материала вызвал обсуждение. «Прямой метод, конечно, имеет за собой преимущество, но, с другой стороны, представляет ценность и косвенный метод, дающий большее количество, правда, менее обследованных пунктов. В пределах территории европейской России 1000 пунктов обследования ничего не дадут. В такую редкую сеть слишком много материала провалится. Дробность русских диалектов не так велика, как дробность немецких, требующая более мелкой сети. Возможно, что нам поэтому и не нужна такая мелкая сеть. Но рисковать этим опасно. Поэтому необходимо массовое обследование, которое может быть проведено только косвенным методом. Мелкими деталями можно пожертвовать. Главное же в атласе — это его истолкование, которое дадут карты. Самый целесообразным представляется комбинированный метод. Некоторые пункты обследовать прямым методом, но наряду с этим провести массовое обследование» (из выступления В. М. Жирмунского, «Протокол заседания Кабинета общего языкознания ИЯМ 25 марта 1936 г.», л. 6—7). «Виктор Максимович Жирмунский достаточно четко поставил вопрос о методе обследования. Ограничиться только прямым методом обследования — это значит, при наших возможностях, отказаться от составления диалектологического атласа русского языка. Мы будем применять комбинированный метод. Этим летом будет проведено опытное обследование Селигерского района. Обследование будет детальное с учетом различия социальных слоев. (Обследование в социальном аспекте будет проводиться только прямым методом.)» (из выступления Ф. П. Филина, там же, л. 7). Л. Теньер, резюмируя в заключительном слове свое отношение к методу собирания материала, сказал: «Прямой метод дает ограниченный материал, но верный. Косвенный метод даст ненадежные данные. Комбинированный метод является наилучшим» (там же, л. 8).

полезны, так как они дают читателю только изоглоссы, т. е. истолкование другим лицом фактов, которых читатель не видит, так что выводов, сделанных на их основе, он проверить не может. Существует и третий, комбинированный тип — это атласы, дающие одновременно и факты, и их истолкование, т. е. изоглоссы, причем надо заметить, что в таком случае истолкование коснется по необходимости большей частью одного лишь признака, за невозможностью дать слишком многих изоглосс на одной и той же карте. Такого типа и мой «Атлас к изучению форм двойственного числа в словинском языке», где я все факты наношу на карты, которые я затем толкую одними только изоглоссами, касающимися двойственного числа. Для русского атласа принят первый тип опять же в совершенном согласии с нашими пражскими предложениями.

Кроме упомянутых принципов, Вы приняли для русского атласа некоторые предложения, которые нельзя не одобрить, хотя мы их и не упоминали в своих пражских предложениях. Так, например Федот Петрович Филин пишет, что русский атлас должен быть по возможности полон, т. е. он, атлас, будет обследовать все диалекты и все слои населения. Это намерение тем более обрадовало меня, что отсутствие говора городов оказывается, по-моему, самым крупным недостатком атласа Жильберона и всех западных атласов вообще. Мы прекрасно знаем, как говорят в маленькой, совершенно незначительной деревушке, а о говоре большого города не знаем ничего. Между тем именно говор больших городов, пожалуй, особенно интересен для лингвистики потому, что в нем больше всего отражается взаимоотношение между местным говором и литературным языком. Так, книга «Vign» о Марсельском французском языке, вышедшая несколько лет тому назад, и к сожалению до сих пор единственная книга этого рода, ярко освещает процесс проникновения французского литературного языка в условиях местного провансальского субстрата. Но таких книг для других городов нет. Городская лингвистическая география еще не существует. Я буду рад приветствовать ее появление в русском атласе⁸.

Задача Ваша, как Вы ее определили, огромная. Она предполагает большую коллективную организацию, но возможности коллективной работы у Вас налично; впрочем работа над русским словарем⁹ блестяще свидетельствует о том, как Вы умеете организовать такие большие предприятия, о которых мы и думать не можем. Тем не менее размах Вашего плана внушает мне, кроме огромного уважения, и другое чувство, которое я не стану точнее определять, дабы не помешать Вам в деле, которое я сам считаю крайне необходимым. Словом, я буду рад, когда Ваш атлас, который Вы мне, пожалуйста надеяться, пришлете, будет лежать в готовом виде на моем письменном столе. Я не могу здесь не провести сравнения между судьбами атласов Венкера и Жильберона. Первый был задуман уже в 1876 г. В 1936 г., т. е. через 60 лет, уже вышли, кажется, три карты. Если издание продолжится в том же темпе, можно надеяться, что через несколько столетий наши потомки будут иметь счастье располагать великолепным атласом немецкого языка. Жильберон рассчитал свою работу в гораздо меньшем масштабе. Но зато он, с помощью одного только Эдмонта, за 15 лет окончил и собирание материала, и его опубликование. С одной стороны, некое гигантское действие, взятое в виде несовершенном. С другой — действие скромное, может быть даже робкое, но взятое в виде совершенном. Что касается меня, то искренне желаю Вам, и этим я заканчиваю, гигантского действия в совершенном виде.

⁸ Говоря об исследовании языка больших городов, Л. Теньер не совсем точно передает мысли, высказанные Ф. П. Филиным в статье «О диалектологическом атласе русского языка», на которую он опирается: «Наша программа рассчитывает на выявление речевых особенностей всех возрастных и культурных слоев современной деревни» (стр. 221). «Какие населенные пункты должны быть обследованы? В первую очередь в обследование включаются села и деревни, затем рабочие поселки, расположенные в гуще колхозов, поселки совхозов и МТС и, наконец, небольшие города» (стр. 222).

⁹ Имеется в виду «Толковый словарь русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

С. А. Высоцкий. Древнерусские надписи Софии Киевской XI—XIV вв.
I — Киев, Изд-во «Наукова думка», 1966. 240 стр.

Рецензируемая книга — результат большой, тщательной работы, выполнявшейся автором-энтузиастом в течение ряда лет. Ему же принадлежат несколько более ранних публикаций граффити (с 1959 г.). Успеху работы способствовала реставрация фресковой живописи в 1954—1963 гг. высококвалифицированными специалистами-реставраторами.

Надписи на штукатурке стен древнерусских храмов были известны давно, но никогда еще не было открыто столько надписей, сколько открыто сейчас в замечательном архитектурном памятнике — в Софийском соборе в Киеве, построенном в 1037 г.

В первом выпуске помещено 98 надписей, в дальнейшем, во втором выпуске, будет, по-видимому, не меньшее число граффити XIV—XVII вв. И все же, как отмечает автор (стр. 136), обнаруженные граффити составляют лишь незначительную часть записей, сделанных в древности (большинство не уцелело по тем или иным причинам).

Автор успешно провел исключительно трудоемкую работу по расшифровке и датировке текстов, используя палеографические данные (в некоторой степени и языковые), исторические сведения, почерпнутые из летописей (Лаврентьевской, Ипатьевской, Новгородских летописей, Московского летописного свода конца XV в.), древнерусских грамот, Русской Правды, Киево-Печерского патерика, церковного устава Владимира, исследований по истории древней Руси.

Нельзя не огласиться с С. А. Высоцким, что обнаруженные софийские граффити представляют большой интерес для изучения политической истории и культуры Киевской Руси и, «наряду со знаменитыми новгородскими берестяными грамотами и надписями на орудиях труда и быта, являются неопровержимыми документами, свидетельствующими о большом распространении грамотности среди народных масс» (стр. 13), при этом как среди мужчин, так и среди женщин. Отдельные надписи имеют исключительное значение для историка. Так, запись

о смерти Ярослава Мудрого решила окончательно вопрос о дате этого события в пользу свидетельства Ипатьевской летописи, которая относит смерть князя к 20 февраля 1054 г. (стр. 138).

Один перечень автором основных групп граффити говорит о многообразии тематики надписей: надписи, содержащие сведения о военно-политической истории древней Руси и другие памятные граффити; поминательные надписи, близкие летописным; благожелательные надписи; автографические надписи; надписи, относящиеся к фрескам. В числе граффити встречаются также символические и бытовые рисунки.

Объем записей невелик. Даже записи, относящиеся к событиям отечественной истории (например, запись о мире на Желяни), отличаются лаконичностью:
 вѣдъ декабрь вѣ дъ е сѣборна миръ на желани
 сватоплак володимиръ и ольга.
 Исключение составляет купчая запись о Бояновой земле, в которой содержится 14 строк (в каждой строке 4—7 слов).

Таким образом, для языковеда граффити дают, по сравнению с берестяными грамотами, значительно меньше материала. Поскольку выпарывание на стенах храмов не допускалось, надписи и не могли быть, как правило, большими по объему.

В то же время граффити представляют несомненный интерес для палеографии, тем больший, что в числе записей 13 могут быть датированы (девять из них содержат прямые даты). Приведенные в книге таблицы (снимки и прорисы) дают полное представление о граффити.

Как мы полагаем, С. А. Высоцкий из возможных методов фиксации надписей избрал лучший — фотографирование при боковом скользящем освещении и изготовление прорисей на основе фотографий (отпечатки на матовой бумаге прорисовывались карандашом, отбеливались и наводились тушью). Заметим только, что в ряде случаев отдельные буквы в прорисях получались как бы расплывшимися, менее четкими, чем на фотографии (см., например, таблицы II. 1; IV. 1; X. 2).

Однако, как правило, прориси в полной мере соответствуют фотографиям. Наличие прорисей облегчает чтение текста на фотографиях.

Мы полностью согласны с автором, что «палеография граффити XI в. (и не только XI в. — В. В.) и письменных памятников этого времени тождественна, за исключением некоторых особенностей, вызванных, вероятно, спецификой выпарывания букв по фресковой штукатурке» (стр. 53). Ведь выпарывание на стенах не создавало каких-то особых навыков письма, поскольку было делом редким у того или иного лица. В данном случае нельзя видеть параллели в письме на бересте, где тоже выпарывались буквы, поскольку береста широко употреблялась для письма.

Неудивительно, что в надписях на штукатурке, как и в древнейших пергаменных рукописях, последовательно употребляются сокращения слов (обычно определенной устойчивой группы слов). Отметим попутно, что для берестяных грамот такая последовательность нехарактерна, причем в берестяных грамотах может быть опущен знак титла.

Господствует небуквенное титло (над одной буквой или несколькими). Приведем примеры, расположив их по степени употребительности: гн (господи — 20 случаев), стго (а также стгоу, стгн, сти, сты, ста; 12 случаев), вжнн (а также вжи, вжиа; 6 случаев), мца (и даже один раз мцаа; 4 случая), днъ (а также дне; 3 случая), стопъакъ (а также стопълчи; 2 случая), ба (а также бг; 2 случая), мчка (а также мчкаа; 2 случая), вадка, гү (господу), дш8, цркы, хрстъ (по одному случаю).

Как видим, под титлом ставились слова, расщипровка которых, в силу их употребительности, как правило, не представляла трудности. Однако некоторые из приведенных выше слов могли быть употреблены и без сокращений. Так, находим: сватопъак (запись 5. О мире на Желяни), днъ (запись 9. О княжении Святослава Ярославича; запись 14), мжчнци (запись 42).

Значительно реже находим буквенное титло (вынос буквы под титло). В древнейших русских памятниках, как известно, буквенные титла не были распространены, чаще других встречались буквенные титла в таких словах, как мца, вн. Первое слово чаще других находим с буквенным титлом и в граффити: мца (8 случаев); второе слово с буквенным титлом употреблено 2 раза: вн (запись 7. О поставлении владыки) и внъ (запись 43) 1.

¹ Но в записи 4 (о «раке» — саркофаге Всеволода Ярославича): внъст.

Только по одному разу встретились слова: еппъ (запись 10. О смерти Луки Белгородского), вжннн (там же), допъсавъ; запись 27. Об Олдисаве, вдове Изяслава Ярославича), мнкъ (запись 41), митрополн (запись 63. О Феогносте), лк (там же).

Случай с выносом буквы без титла единичный: м^а (марта. Запись 3. Запись 1052 г. 3 марта). Единичны случаи такого употребления и в древнейших пергаменных рукописях. Единичны случаи в записях с лигатурами, в которых слились *т* и *в*, *м* и *и*, *и* и *к*: сборина (запись 5. О мире на Желяни), мхадъ, проценкъ (запись 52. Запись прощеника XIII или XIV в.). Одна из особенностей граффити — полное отсутствие точек (даже при буквенных числах). Все это способствовало экономии места, что было более необходимо, чем в грамотах на бересте.

Вязь служила и средством украшения. Характерно, что из древнейших записей находим ее в записи XI в. о факте большого исторического значения, написанной «уверенной, привычной к письму рукой» (стр. 25), о чем, в частности, говорит беглость почерка.

Палеографические данные, как мы полагаем, соответствуют датировке граффити в книге С. А. Высоцкого. Следует подчеркнуть, что для установления времени той или иной записи автор выполнил поистине ювелирную тонкую работу. Он проанализировал начертания отдельных букв в каждой записи, рассмотрел, какие события в ней отражены, особенно широко используя для этого летописные своды, путем сопоставления граффити и летописей показал, что часть открытых в Софийском соборе граффити, которые относятся к памятным и поминальным записям, несомненно связана с летописанием (стр. 127—133).

Автор делит несомненно связанные с летописанием граффити на две группы: надписи, имеющие прямые аналогии в летописи, и надписи, напоминающие летописные тексты историческими именами и отдельными языковыми оборотами. Наибольший интерес представляет, бесспорно, первая группа.

Отметим, что граффити этой первой группы всегда короче, по вполне понятным причинам, летописного текста. Можно говорить о соответствии, но всегда полном, в летописном тексте, о языковых аналогиях, но не о простом сокращенном пересказе летописных материалов. И автор книги, осторожный в своих выводах, не без основания подчеркивает, что некоторые граффити лишь по своей тематике не выходят из рамок летописных записей (стр. 129).

Приведем один пример из книги, который, по нашему мнению, особенно наглядно показывает отличие граффити от ле-

тописного текста. Запись 7. О поставлении владыки (С. А. Высоцкий относит ее предположительно к 6559 г., т. е. к 1051 г. по нашему летоисчислению): *мца апрѣла въ ѳ днь поставлено бы вѣдка*. В тексте из летописи, приведенном автором: «В лето 6559. Постави Ярослав Ларюна митрополитом русина въ святей Софѣи, собрав епископы».

С. А. Высоцкий еще более усилил это языковое несоответствие (*поставлен бысть*² — *постави Ярослав*), дав такой перевод записи, чуждый современному русскому литературному языку: «поставлено бысть владыку».

Мы можем упрекнуть автора в неточном переводе и записи 4 (XI в.) о «раке» — саркофаге Всеволода Ярославича. Запись содержит текст (приводим его без конца, поскольку в последнем предложении говорится о другом лице — авторе записи): *къ ксанкни четвѣргъ [р]ака положена вѣсть — т — андреа русьскыи князѣа благои*. С. А. Высоцкий переводит, модернизируя перевод: «В великий четверг рака положена была... Андрея русского князя благого...»

После *вѣсть*, как мы полагаем, написано *а* (такую букву можно восстановить по фотографии), очевидно, после *т* стояло *о*, следовательно, имеем основание прочесть *а то* и перевести: «В великий четверг рака положена была. А то (рака) Андрея³. Русский князь благой».

Как мы уже отмечали, записи, как правило, весьма кратки и потому дают немного сведений по языку. Более того, для многих из них, как отмечает автор, в частности, в отношении граффити XIII—XIV вв. (их немного — 22), характерны «узко канонические рамки» (стр. 94). Неудивительно поэтому, что на основании языковых особенностей и орфографии (и только языковых особенностей и орфографии) мы могли бы отнести, например, большинство записей XIII—XIV вв. к более раннему периоду.

Даже такая черта орфографии, как *ъ* на месте гласного полного образования, не будучи подкреплена другими фактами орфографии и языка, не является показа-

² В *поставлено* *о* на конце слова вместо *ъ*.

³ Такое построение с опущенным словом, которое уже было названо раньше, обычно в древнерусских памятниках.

телем позднего возникновения записей (замена; этимологических *о* и *е* буквами *ъ* и *ь* встречается в берестяных грамотах XI в. и рубежа XI—XII вв.): *стоъъ* (запись 52. Запись 17 февраля 1285 г.), *пѣпадина* (запись 53 XIII—XIV вв.), *мѣ[а]аса* (запись 59 XIII—XIV вв.), *раку скѣмоу* (надпись 62 XIII—XIV вв.).

В нашу задачу не входит анализ языка граффити XI—XII вв., который С. А. Высоцкий справедливо сопоставляет в первую очередь с языком летописей и деловых документов. Отдельные языковые факты в небольших по объему записях не дают оснований ни для широких обобщений, ни тем более для внесения поправок в хронологию фонетических и грамматических явлений русского языка. Нет оснований, если исходить из данных орфографии и языка, и для поправок в датировку записей, предложенную С. А. Высоцким, хотя некоторые записи и допускают, казалось бы, возможность более поздней их датировки.

Так, запись XI в. № 9 о княжении Святослава Ярославича, в которой *ѣ* в основе слова дважды заменен буквой *е* (лета, неделѣ), можно было бы отнести к XII в. Следует, однако, учесть, что единичный случай с такой заменой встречается уже в ранней новгородской берестяной грамоте № 246, которая, как мы полагаем, написана во второй половине XI в. Показательно, что и запись принадлежит, по мнению С. А. Высоцкого, второй половине XI в. (точнее — 1078 г.). Как известно, и в древнейших пергаменных датированных рукописях второй половины XI в. изредка встречается замена *ѣ* буквой *е* в основе слова.

Совершенно справедливо указывает С. А. Высоцкий в отношении граффити XIII—XIV вв., что они опровергают мнение о полном замирании культурной жизни Киева в период татаро-монгольского владычества (стр. 107).

Оценивая весьма высоко прекрасно изданную книгу С. А. Высоцкого (отличная бумага, четкий шрифт, хорошо выполненные снимки), мы считаем своим долгом поблагодарить ее автора за то, что он открыл для читателя замечательный памятник далекого прошлого нашего отечества и дал полное, обстоятельное его исследование. Заслуга С. А. Высоцкого перед наукой бесспорна.

В. И. Борковский

Е. Koschmieder. Beiträge zur allgemeinen Syntax. — Heidelberg, Carl Winter Universitätsverlag, 1965, 224 стр.

Новая книга Э. Кошмидера представляет собой собрание его статей по вопросам общего языкознания и прежде всего по общей теории грамматики (не только

синтаксиса в узком смысле слова), опубликованных в различных сборниках и периодических изданиях в период с 1945 по 1962 г. Центральной темой, проходя-

щей через всю книгу, является отношение языковых форм и грамматических категорий (всегда в той или иной мере различных даже в близкородственных языках) к содержанию выражаемой мысли, к общечеловеческому инварианту этого содержания. Вокруг этой темы группируются и некоторые другие — проблема индуктивных и дедуктивных методов в языкознании, аксиоматики языкознания, специфика языка в ряду других знаковых систем, методов выявления и классификации функций грамматических категорий, проблема изоморфизма и гетероморфизма в отношениях между знаком и его функцией, проблема контекста и понимания, нейтрализации грамматических оппозиций, формализованной («математической», как выражается автор) записи исследовательских операций и их результатов, некоторые терминологические и другие проблемы. Повторяясь в разных сочетаниях и вариантах на протяжении тринадцати статей сборника, эти темы решаются автором в рамках единой оригинальной концепции, хотя и перекликающейся в ряде пунктов с идеями Н. С. Трубецкого, К. Бюлера и некоторых других ученых, но в общем занимающей, как нам представляется, свое особое место в современном теоретическом языкознании. Вкратце концепция Э. Кошмидера может быть изложена следующим образом.

В отличие от математики, языкознание в основном индуктивная наука; при решении многих вопросов оно пользуется и должно пользоваться чисто индуктивными методами. Однако в области общего языкознания индуктивно доказуемы только суждения возможности (типа: «Возможно, что в том или ином языке приказание выражается не формой императива, а формой презенса»). Суждения необходимости (типа: «Во всех языках должны быть существительные и глаголы») принципиально не могут быть доказаны индукцией; некоторые из них остаются гипотезами, а некоторые (например, «В каждом языке должны быть имена собственные») доказываются дедуктивно, на базе исходных аксиом. В любой теории языка фактически используются эти аксиомы, но часто их не формулируют *expressis verbis*, и их существование даже отрицается (стр. 132—133 и 209—210).

В качестве первой («структурной» аксиомы языкознания) автор выдвигает следующее определение языка: «Каждый язык — (коммуникативная) система знаков („genus proximum“); знаки этой системы воспроизводятся человеческими органами речи, служат для интеллектуального общения людей и приняты определенным языковым коллективом („differentia specifica“») (стр. 117, а также, с небольшими вариациями стр. 134, 142, 155, 210). Автор признает, что можно было бы потребовать дальнейших определений — что такое «система знаков», что такое «язы-

ковой коллектив» и т. д., но не считает целесообразным давать эти определения (стр. 210). Система каждого языка состоит (в этом заключается вторая аксиома) из двух «полей», которые К. Бюлер называл «полем слова» и «полем предложения», а Э. Кошмидер предпочитает называть «инвентарем» и «синтезом», считая, что термины Бюлера слишком односторонне ориентированы на факты индоевропейских языков (стр. 134).

Отдельно выдвигается центральная для всей концепции автора «рабочая гипотеза аксиоматического характера» (стр. 211 и 217) о «трехслойности» (*Dreischichtigkeit*) человеческого языка, о необходимости различать в нем три плана: 1) план знака, или означающего (*S* от *signum*, или, в более ранних статьях, до 1956 г., *Z* от нем. *Zeichen*), например, формы глагола — презенс, футурум и др.; 2) план означаемого (*D* от *designatum*, или *B* от *Bezeichnetes*), например, значение настоящего времени как функция форм презенса; 3) план «содержащегося в мысли», или «намерения говорящего» (*I* — от *intantum*, или *intentio*, или *G* от *Gemeintes*, или, в части статей, *M*), например, значение формы презенса в данном конкретном высказывании (оно может быть значением подлинного настоящего, «настоящего *hic et nunc*», либо значением прошедшего события в случае *praesens historicum*, либо значением приказа и т. д.).

Отношение *S* и его функций — *D* и *I* — в каждом языке условно и в принципе произвольно (стр. 134). Каждому отдельному *S* соответствует в языке одно или несколько разных *D* и, в каждом конкретном высказывании, одно определенное *I*, т. е. именно то, что «имеет в виду» говорящий (стр. 103—105, 145 и др.). Автор подчеркивает, что *S* и *I* «должны рассматриваться как данные величины, так как они прекрасно известны говорящему и слушающему» (стр. 212). В отношении *S*, доступно непосредственному наблюдению, это, по-видимому, не требует доказательства. Что касается *I*, то говорящий, действительно, знает, что именно он хочет сказать, а слушающий, если он владеет соответствующим языком, как правило, безошибочно понимает мысль говорящего (например, несмотря на формы презенса, понимает в соответствующих случаях, что имеется в виду прошедшее, а не настоящее). Возникающие порой отдельные недоразумения лишь доказывают, что нормой является тождество *I* для говорящего и слушающего: заметив недоразумение, говорящий поправляет слушающего словами: «я не это имел в виду» и т. п. (стр. 13, 76, 202—203 и др.). Как мы уже видели, *D* может быть тождественно *I* (например, когда форма презенса выражает подлинное настоящее), но может и не совпадать с ним (стр. 100, 103, 159 и др.). Во всяком случае *D* не дано не-

посредственно, оно не осознается «наивным носителем языка» и по большей части даже неизвестно ему (стр. 212), оно постигается исследователем «лишь в результате анализа многочисленных примеров данного *S* и связанного с ним *I*» (стр. 159), выводится «из разных типов *I*, сопоставленных одному *S*» (стр. 213).

Автор подчеркивает, что все *S* данного языка образуют конечную и специфическую систему, присущую именно этому языку. Все *D* того же языка также образуют конечную специфическую систему, соотношенную с его системой *S*. Иначе говоря, *S* и *D* составляют специфику отдельного языка и варьируются от языка к языку. В противоположность этому каждое *I* представляет собой межъязыковую постоянную величину (ist interlingual konstant), надъязыковой инвариант содержания, остающийся неизменным при (правильном) переводе высказывания на любой другой язык. Общее количество *I* бесконечно, но в каждом языке лишь часть всех *I* получает, в качестве *D*, выражение в системе *S* (стр. 160). Система *D* всегда состоит только из *I*, но она «чрезвычайно дефективна» по сравнению с неограниченными возможностями *I* (стр. 113 и 204). Все остальные *I*, не вошедшие в данный язык в систему *D*, находят себе «синтетическое» выражение (т. е. выражаются той или иной комбинацией знаков) или понимаются из контекста, либо «формального», грамматического, либо внеязыкового, «вещественного» (стр. 105, 135, 179—181 и др.).

Так, в языках, не располагающих специальной грамматической формой для выражения события «вневременного», не имеющего своего индивидуального «местоположения во времени» (Zeitstellenwert)¹, событие такого рода выражается какой-либо другой формой, чаще всего формой презенса, например, в немецком *der Hund bellt* «собака лает» (= «имеет свойство лаять»). Слушающий понимает мысль говорящего, т. е. *I*, из контекста, а в случае возможного недоразумения в высказывание вводятся дополнительные *S* (например, *überhaupt* «вообще», *immer*

«всегда» и т. п.). В других языках (турецком, английском) вневременное событие получает специальное выражение, специально ему сопоставленный знак, свое *S* (и тем самым вневременность оказывается входящей здесь в систему *D*). Ср. турецк. *köpek havlar* «собака лает (вообще)» и *köpek havlıyor* «собака лает (сейчас, в данный момент)» (стр. 14, 76, 147, 183). Таким же образом «регресс в повествовании» (т. е. возвращение рассказа назад, к более раннему событию) выражается в латыни или в немецком специальной глагольной формой, плюсквам-перфектом, а в современном русском недвусмысленно явствует из контекста (автор показывает это на отрывке из тургеневского «Воробья», см. стр. 77 и 184).

Нередко бывает и так, что какому-то *I* сопоставлен в данном языке специальный знак, т. е. это *I* может выступать как *D*, но в определенных высказываниях этот знак по тем или иным причинам не используется, и *I* лишь подразумевается говорящим и понимается слушающим из контекста и ситуации. Именно таковы упомянутые выше случаи *praesens historicum* и *praesens imperativum* в языках, имеющих специальные формы соответственно претерита и императива.

Изучение функции знака, т. е. *D* и *I*, занимает главное место в синтаксическом и семасиологическом исследовании. Поскольку система *D* составляет в каждом языке некую выборку из возможных *I*, исследование *I* служит необходимой предпосылкой подлинно научного, единообразного подхода к системам *D* отдельных языков. Исследование *I* должно стать предметом особой науки и поэтики (греч. *poëo* «думаю, имею намерение, подразумеваю»), которая выявит логическую систему и даст определения «ноэм» (т. е. таких понятий, как «настоящее», «прошедшее», «будущее», «единичность», «множественность» и т. д.), единые для всех языков мира, несмотря на все громадные различия внешних форм их выражения, а также несмотря на существенные расхождения в функциях соответствующих форм отдельных языков (стр. 70 и сл., 79, 212 и др.). Отношение между поэтикой и описанием системы *D* отдельного языка аналогично отношению между общей фонетикой, выявляющей общие для всех языков законы и условия артикуляции звуков, и фонологией, описывающей фонологическую систему данного языка, устанавливающей, какие именно из потенциальных, общечеловеческих возможностей получили то или иное использование в этой конкретной системе: «Важно..., чтобы круг логических категорий, исходя из которого мы описываем грамматические категории отдельных языков, был бы для всех языков таким же единым, как и круг возможных артикуляторных комбинаций, исходя из которого описываются фонемы отдельных языков» (стр. 20,

¹ Понятие *Zeitstellenwert* сформулировано Э. Коппидером в его известных трудах, посвященных проблемам глагольного вида. См., в частности: E. K o s c h m i e d e r, *Zeitbezug und Sprache. Ein Beitrag zur Aspekt- und Tempusfrage*, Leipzig — Berlin, 1929 и, его же, *Nauka o aspektach czasownika polskiego w zarysie*, Wilno, 1934. Русский перевод второй книги под назв. «Очерк науки о видах польского глагола. Опыт синтеза» опубликован (с небольшими сокращениями) в сб. «Вопросы глагольного вида» (М., 1962; см., в частности, стр. 131 и сл.).

стр. стр. 71 и сл., 90, 216 и др.). Однако поэтика не может стремиться дать исчерпывающий перечень всех возможных *I*, как и общая фонетика не дает исчерпывающего перечня всех возможных артикуляций; и там и здесь речь идет о выявлении ряда опорных пунктов, о построении системы координат, по отношению к которой может быть определено любое *I* (или, соответственно, любая артикуляция) в любом рассматриваемом языке (стр. 71, 101 и др.).

Важнейшее место уделено в книге принципам и методике выявления и описания *D* отдельного конкретного языка при грамматическом исследовании. Автор подчеркивает, что «релевантным для системы *D* является такое и только такое *I*, которое имеет свою категорию в системе *S*. А то, имеет ли оно в этой системе свою категорию, устанавливается, как и при фонологическом исследовании, пробой на заменяемость» (стр. 165). «Всегда рекомендуется выбирать в качестве исходной точки такой случай употребления категорий, в котором должна быть употреблена именно данная категория и не может быть употреблен ее противочлен» (стр. 16—17). Только в подобных случаях и обнаруживается «подлинная цель применения этих категорий». Так, при изучении категории ед. и мн. числа (например, в немецком языке) мы устанавливаем, что там, где взаимная замена форм невозможна, речь действительно идет о единичности или неединичности каких-то предметов; в случаях же взаимозаменяемости речь чаще всего идет о родовом понятии, стоящем логически вне числовых различий. Конечно, выявляемое подобными методами *D* может и не соответствовать традиционному наименованию грамматической категории. В имеем самостоятельное значение экскурсе, посвященном подробно и глубоко анализу функций турецкой глагольной формы типа *okur* (стр. 34—69), автор указывает, в частности, на неадекватность традиционных названий этой формы («аорист», «презент 2», «*muzari*») ее подлинной грамматической сущности, т. е. выраженному в ней *D*².

Проба на заменяемость позволяет выявить «градацию функций» в синхроничес-

кой плоскости (что может не совпадать с диахронической градацией). Главной функции противостоят побочные, в которых форма принципиально заменяема другой (например, презент в функции приказа заменен императивом). Особый случай представляют «холостые функции» (*Leerlauffunktionen*) типа упомянутого выше выражения родовых понятий (не имеющих, например, в немецком и во многих других языках своей специальной грамматической формы) по необходимости с помощью форм либо ед., либо мн. числа (*der Zeisig singt* «чиж поет», либо *die Zeisige singen* «чужи поют» без различия в содержании мысли, стр. 203). Главных функций, т. е. отдельных *D*, сопоставленных одному *S*, может быть, как уже упоминалось, и несколько. Существуют категории «с двумя или большим числом равноправных функций» (стр. 168). В этой связи автор говорит о значениях род. падежа (в славянских языках и отчасти в латыни) и отмечает, что здесь перед нами в каждом языке «параллельные функции» (*Parallelfunktionen ohne ein gemeinsames Dach*) и что нельзя найти такого общего понятия, которое объединило бы все эти функции по их внутреннему содержанию. Вместе с тем, однако, «формально» эти функции все же объединяются, составляя «детерминацию понятия о предмете», в противоположность функциям дат. и вин. падежей, дающих «детерминацию понятия о действии», а также функциям падежей, вообще не дающих детерминации, — им. падежа, отчасти твор. (предикативного) падежа и совсем особняком стоящего вокатива. Автор упоминает о фактах, не укладывающихся в эту схему (например, о род. падеже при глаголе, употребленном с отрицанием), но, к сожалению, не вдает в их рассмотрение. Отметим, что в двух статьях 1961—1962 гг., к сожалению, не включенных в состав рецензируемой книги, вопрос о функциях грамматических категорий освещен автором более подробно³. В частности, там рассматриваются случаи, в которых второстепенная функция является «позиционным вариантом» главной (например, значение неудавшейся попытки в формах несовершенного вида)⁴, и такие, в которых она возникает в силу «метафорического использования» грамматической категории (например, мн. число вежливости обращения)⁵ либо в результате приме-

³ См.: E. Koschmieder, Zur Definition und Benennung sprachlicher Zeichen und ihrer Funktionen, I, «Die Welt der Slaven», VI, 4, 1961; II, там же, VII, 1, 1962, е го же, Primäre und sekundäre Funktionen, там же, VII, 4, 1962.

⁴ E. Koschmieder, Zur Definition und Benennung..., II, стр. 33.

⁵ E. Koschmieder, Primäre und sekundäre Funktionen, стр. 409—416.

² Прием разграничения на основе критерия заменяемости разных типов употребления грамматических форм был блестяще использован автором также за пределами рецензируемой книги, в его работах по глагольному виду в разных языках, например, в «Очерке науки о видах польского глагола...» (см. сб. «Вопросы глагольного вида», стр. 127 и сл.; стр. 140—158) и в статье «Турецкий глагол и славянский глагольный вид» (см. там же, стр. 382—394), посвященной функциям турецких форм типа *okudu* и *okuyordu*.

нения наиболее абстрактной по содержанию и потому нейтральной формы (например, инфинитив для выражения приказа)⁶.

Мы видим, таким образом, что в области грамматики *D* есть категориальное значение грамматической формы, выявляемое «пробой на заменяемость». Оно не обязательно является единственным (обобщающим) значением данной формы и в этом смысле отнюдь не тождественно «общему значению» Р. Якобсона. *I* — значение грамматической формы в данном конкретном типе контекста. В одном месте Э. Кошмидер прямо говорит, что *D* принадлежит «полю слова», т. е. «инвентарю», или системе языка, а *I* — «полю предложения», т. е. «синтезу», «*der Setzung im Satz*» (стр. 145). Вместе с тем *I* бесспорно напоминает «понятийные категории» О. Есперсена и И. И. Мещанинова, и остается пожалеть, что Э. Кошмидер нигде не формулирует своего отношения к концепции понятийных категорий (хотя в другой связи неоднократно упоминает Есперсена и критически анализирует некоторые его идеи).

Оперируя в основном материалом грамматики, автор в отдельных случаях приводит также примеры из области лексики. Но в отношении этих примеров приходится отметить некоторую недоговоренность. Под *S* в лексической области автор, по-видимому, понимает то, что обычно называют «фонетическим словом», под *I* — отдельные значения, выявляющиеся в контексте, например, для нем. *leicht* значения «легкий по весу» и «нетрудный» (стр. 105, 108), для *der Ton* значения «звук, тон» и «глина» (стр. 180 и др.) и т. д. Однако нигде не сказано, что же в этих случаях есть *D*. «Общее значение» соответствующих слов? Но, не принимая «общих значений» в грамматике, автор вряд ли склонен признать их в лексике (и, тем более, в случаях явной омонимии вроде *der Ton*). Или, может быть, эти примеры следовало интерпретировать иначе, приблизительно приравняв *D* к «узальному», а *I* к «оказиональному» значению, в смысле Г. Пауля? В этом случае, однако, перечисленные выше значения слов *leicht* и *der Ton* попали бы уже в *D* как значения узальные.

Говоря о возможности параллельного (в одном и том же языке) выражения одного *I* несколькими разными знаками, Э. Кошмидер, кажется, несколько схематизирует действительную картину. Ведь выражения *der Hund bellt*, *ein Hund wird immer bellen* и *ein Hund hat noch immer gebellt*, употребленные во вневременном значении (стр. 14), нельзя считать абсолютно тождественными по содержанию. Они различаются известными оттенками, не всегда, правда, отчетливо уловимыми, лежащими скорее в области «коннотации», но все же безразличными для линг-

виста. Полемиически заостряя свои формулировки, автор, вероятно, сознательно пренебрегает такого рода нюансами, но это вряд ли правильно. Наконец, если анализ мультифункциональных грамматических категорий в книге Э. Кошмидера и в других его работах очень интересен, конкретен и богат тонкими наблюдениями, то некоторые общие положения, касающиеся конструируемой им «ноэтики», носят пока, на наш взгляд, слишком декларативный характер (в особенности, например, выделение «трех измерений» ноэтики и т. п.).

В целом, несмотря на все сделанные замечания, нам представляется, что концепция, разграничивающая «означаемое» и «содержащееся в мысли», является весьма плодотворной. Выступая против отождествления мышления и языка, автор правильно подчеркивает, что хотя всем словам и синтаксическим конструкциям всегда соответствует нечто, что нами мыслится, далеко не все, что нами мыслится, воплощено в отдельном слове или синтаксической конструкции (стр. 77—78). «Наше мышление, правда, преимущественно пользуется тем, что имеется в системе языка, но оно никак не связано границами этой системы, потому что всегда можно „мыслить“ (*meinen*) и такие вещи, которые в инвентаре языка не представлены» (стр. 184). И автор настойчиво предостерегает от «легкомысленной этнопсихологической интерпретации системы языковых форм» (стр. 187), от поспешных выводов об отсутствии у того или иного народа осознания каких-либо явлений действительности, если в языке этого народа нет соответствующего слова или грамматической формы (стр. 77 и др.). Полемизируя в этой связи с неогумбольдтианцем Й. Ломаном, автор иронически спрашивает, неужели тот действительно считает, будто полякам неизвестно различие между пальцем руки (нем. *Finger*) и пальцем ноги (нем. *Zehe*), поскольку они и то и другое называют одним словом *palec*» (стр. 110). Вместе с тем «способность устанавливать знаки для любых новооткрываемых *I*, или, говоря проще, способность расширять свой инвентарь составляет важное свойство человеческого языка вообще» (стр. 111).

Одной из основных аксиом языкознания является, по Кошмидеру, понимание из контекста (стр. 135). Контекст дает возможность: 1) мысленно восстанавливать «искаженные, опущенные или неполные знаки» (*Збрас Сан Санч* вместо *Здравстайте*, *Александр Александрович*), 2) разрешать омонимию всех типов и 3) правильно понимать мысль говорящего в тех случаях, когда для соответствующего мыслительного содержания вообще нет специального знака в системе языка (стр. 181 и сл.). Удельный вес понимания из контекста намного выше, чем обычно

⁶ Там же, стр. 411.

предполагают. Анализируя отрывок из «Фауста», содержащий 23 слова, Э. Кошмидер насчитывает в нем 12 случаев понимания из контекста, причем в одном из этих случаев (речь идет об омонимичной словоформе *lehren*) количество возможностей, из которых предстоит сделать выбор, достигает двадцати девяти (стр. 185—186).

Одной из важных аксиом является также принципиальная переводимость каждого высказывания и каждой содержащейся в нем мысли с любого языка на любой другой язык (стр. 104, 135, 188 и др.). Именно «тождество *I* составляет необходимое условие всякого перевода, тогда как *S* нормально никогда, а *D* лишь редко может оказаться тождественным в переводе и в его подлиннике» (стр. 146). Если в языке перевода нет специального знака для данного *I*, в силу вступает понимание из контекста, либо же создаются сложные «синтетические» знаки, используются средства словообразования, метафорические переносы значения слов и т. д. (стр. 111).

В книгу включена статья, посвященная «гетероморфизму» в отношениях между знаком и его функцией (стр. 189—198). Упомянув о «мультивалентном и мультифункциональном сопоставлении (*Zuord-* *lung*) функций знакам», о чем шла речь выше, и о «факультативном сопоставлении» (когда некое *I* может быть выражено определенным знаком, но может остаться невыраженным, если оно и без того понятно из контекста), автор главное внимание уделяет здесь случаям, когда тип знака не соответствует типу функции, например, когда грамматическая функция выражается не средствами формообразования, а словообразовательными средствами (ср. использование собирательных существительных в роли форм мн. числа в истории славянских языков или использование суффиксации и префиксации в видовых парах славянского глагола). К случаям «гетероморфного сопоставления» относятся в индоевропейских языках также вокатив, функционально очень далекий от остальных падежей, но формально входящий в парадигму падежного склонения, и притяжательные местоимения, нарушившие первоначальное единообразие в обозначении обладателя формой род. падежа. В этом пункте, как видим, автор затрагивает и диахронические процессы.

В одной из статей специально рассмотрены вопросы нейтрализации морфологосинтаксических оппозиций (стр. 199—208). Подчеркивая громадную ценность фонологических идей Н. С. Трубецкого для всех областей языкознания, автор высказывается вместе с тем против механического перенесения фонологических понятий в область морфологии и синтаксиса. Он не считает нейтрализацией ни частич-

ное совпадение знаков (например, совпадение в немецком языке им. и вин. падежей в ср. и жен. роде и во мн. числе при их внешнем различии в ед. числе муж. рода), ни полное, «тотальное» совпадение в одном знаке двух функций, различаемых контекстуально (например, функции падежа подлежащего и функций звательной формы в им. падеже в немецком и в ряде других языков, где интонационное различие может отсутствовать). Подлинная нейтрализация морфологосинтаксического противопоставления проявляется там, где члены этого противопоставления безразлично употребляются в «холодной функции», как это было показано выше. В этих случаях снимается само основание сравнения, на базе которого имеет смысл соответствующая оппозиция. Условия нейтрализации заключены, следовательно, не в *S*, а в *I*, лежащем логически вне рамок нейтрализуемой оппозиции.

Последний вопрос, на котором целесообразно остановиться, — вопрос о методах исследования системы *S*. В области грамматики эта система должна, по словам автора, «устанавливаться и описываться чисто структуралистскими методами» (стр. 212). На стр. 160—165 дан образчик такого описания на материале польского языка. Кратко рассматривается степень участия в системе различных типов грамматических средств. Затем, без обращения к функциям форм, на основе чисто дистрибутивных признаков (например, постановки после предлогов *do*, *nad* и т. д., или после местоимений *ja*, *ty* и т. д.), выявляются параллельные ряды форм и выделяются классы слов. В польском это класс с «нулевым рядом» (*gdz* «когда», *tak* и т. д.), класс с одним рядом (*kto*, *kogo*, *komu*... , *ja*, *ty*, *mu* и т. д.), класс с двумя рядами (*kot*, *ryba*, т. е. существительные), с пятью рядами (прилагательные и слова, склоняющиеся как прилагательные) и с 24 рядами (глаголы). Как видим, в результате получается чисто формальная, морфологическая классификация частей речи, и это для автора принципиально. Он подчеркивает, что части речи принадлежат исключительно системе *S* (стр. 219), хотя и признает, что у них есть «некоторые соответствия» в *I* (стр. 131). В общем все-таки «является ли нечто „глаголом“ или „существительным“... зависит не от значения и не от функции в предложении, а только от флексии» (стр. 218). Отсюда вытекает, что в языке типа китайского нет частей речи. Мы согласны с автором, что систему *S* можно (в определенных узких границах!) описывать, не прибегая к значению, но думаем, что при установлении частей речи, особенно в языках типа китайского, неправомерно отвлекаться от таких формальных, хотя и нефлексивных признаков, как та или иная сочетаемость и т. п.

Некоторые замечания возникают при чтении книги в связи с отдельными терминами автора. Термины «синтез» (не как замена бюлеровского «Satzfeld», а в смысле выражения одного *I* сочетанием нескольких *S*) и «синтетический знак» вряд ли можно признать удачными, так как в работах по типологии «синтез» широко используется в другом, почти противоположном смысле (выражение некоего комплекса значений однословной формой). Неудобен и употребленный в необычном смысле термин «коммутация» (см. стр. 160—161), так как он прочно ассоциировался с тем значением, которое придал ему Л. Ельмслев.

Сделанные замечания никак не подрывают общей положительной оценки книги. Автор в нескольких местах скромно называет некоторые из своих тезисов «азбучными истинами». Но сознательная установка на простоту и самоочевидность исходных предпосылок не является минусом. Напротив, такая установка отвечает стремлению к аксиоматизации линг-

вистической науки. Во всяком случае основные положения, отстаиваемые в книге, никак не назовешь общепризнанными, а значит они нуждаются в подчеркивании и отстаивании, за них приходится бороться. Это, в частности, относится и к тому, что говорится о соотношении общечеловеческого мышления и общечеловеческих, национальных особенностей языковых форм. Отрадно отметить, что по этому вопросу Э. Кошмидер занимает более правильную и передовую позицию, чем некоторые его коллеги — неогумбольдтианцы. Представляется, что знакомство с рецензируемой книгой безусловно желательно для всякого лингвиста с теоретическими интересами, а особенно для тех, кто занимается проблемой взаимоотношения между языком и мышлением или функционально-семантическим анализом грамматических категорий.

Ю. С. Маслов

М. А. Черкасский. Тюркский вокализм и сингармонизм. Опыт историко-типологического исследования. — М., Изд-во «Наука», 1965, 143 стр.

Рецензируемая книга М. А. Черкасского представляет собой итог определенного этапа исследований автора, позволивших ему выработать свою, в достаточной мере оригинальную и смелую теорию динамики формирования тюркского вокализма, уникального во многих отношениях, а также предложить свое решение связанной с этим проблемы причин возникновения сингармонизма (точнее — гармонии гласных) в процессе становления тюркского грамматического строя.

Через всю работу М. А. Черкасского проходит постоянное стремление рассматривать язык как систему, находящуюся в состоянии динамического равновесия и непрерывного развития и даже в периоды кажущейся стабильности содержащую в себе внутренние противоречия, в которых отражены особенности предшествующих эпох и таятся потенции последующих изменений. На выявлении именно внутренних противоречий в системе вокализма и морфологии современных тюркских языков основана в книге реконструкция доисторических состояний тюркского вокализма и морфологического строя. Системные отношения рассматриваются здесь лишь в пределах взаимодействия фонетического, фонологического и морфологического ярусов; заметим, однако, что несмотря на частые призывы к системному рассмотрению языка, не

многие современные работы показывают связь более чем двух соседних языковых ярусов.

Остановимся более подробно на некоторых из вопросов, затрагиваемых в книге. В первой главе «О противоречиях области вокализма современных тюркских языков» (стр. 9—41), сделав со-^кветствующие оговорки, автор дает описание «куба гласных» как представителя вокализма большинства тюркских языков¹. На основе анализа всех возможных типов оппозиций гласных по трем основным дифференциальным признакам автор показывает, что вопреки правилу, выведенному Н. С. Трубецким для систем гласных подавляющего большинства языков мира, в первом слоге тюркских слов наблюдается совершенно уникальное явление: основная масса оппозиций оказывается пропорциональной (одно-

¹ Первое использование кубической модели для описания системы тюркских гласных тюрколога, в том числе и М. А. Черкасский, приписывают Ж. Дени и Г. Глиссону. Однако на самом деле этот прием предложил еще в 1942 г. венгерский лингвист Я. Лотц (J. L o t z, Notes on structural analysis in metrics, «Helicon», 4, 1942, стр. 123).

мерной и двумерной). Отсюда делается правильный вывод, что подобная нетипичная система могла сложиться лишь в силу необходимости выполнить вполне определенную функцию: быть парадигматической базой гармонии гласных. Только при такой симметричной аналитической структуре сингармонические отношения между гласными первого и непервых слогов могут быть прозрачными и строгими.

Показав, что в непервых слогах тюркского слова (даже если там встречаются акустически те же гласные, что и в первом слоге) фактически представлены только две фонемы («широкая» и «узкая»), М. А. Черкасский отмечает, что впервые строгую фонологическую интерпретацию этого явления дал Н. С. Трубецкой.

Большая часть главы посвящена описанию конкретных типов сингармонического взаимодействия гласных первого и непервых слогов, для чего используются несколько усовершенствованные таблицы соответствия гласных, представляющие, по существу, «склеенные графы».

В заключении главы отмечается, что кроме необычной структуры гласных, в тюркских языках наблюдаются и другие парадоксальные явления. Во-первых, это существование сингармонических вариантов и параллелизм, что противоречит аффиксальным способам формообразования и стабильности корня агглютинативных языков. Во-вторых, ударение на последнем слоге — при этом фонологически нейтрализуемый гласный оказывается ударенным, а сильная позиция гласного неударна. В-третьих, это наличие элементов регрессивной ассимиляции гласных, что противоречит сингармонизму. Все эти парадоксы рассматриваются как «отложения различных периодов типологической эволюции языков», и, выявляя предполагаемые причины возникновения противоречий в системе тюркского вокализма, автор в последующих главах реконструирует смену последовательных доисторических состояний этой системы.

Нельзя не согласиться с принципиальной плодотворностью такого метода диахронической реконструкции через выявление синхронических противоречий, но утверждение, что обнаруженные противоречия являются только «отложениями» предыдущих эпох и не могут быть объяснены в рамках синхронического состояния тюркских языков, в книге слишком слабо аргументировано.

Вторая глава «О „протоалтайских“ явлениях в современном тюркском вокализме (сингармонические варианты и параллелизмы)» (стр. 42—71) полностью посвящена проблеме происхождения сингармонических вариантов и параллелизм, которые, с точки зрения М. А. Черкасского, являются наследием доагглютинативного, инкорпоративного «прото-

алтайского» периода. Следы былой инкорпорации автор считает такие особенности современного строя тюркских языков, как способность почти любого корня, без внешнего оформления, функционировать в определенных условиях в качестве самостоятельного слова. Однако, не имея ничего против разделяемой многими учеными гипотезы о том, что урало-алтайской агглютинации предшествовала инкорпорация, нельзя согласиться с тем доказательством этой гипотезы, которое предлагает М. А. Черкасский. Объяснять способность самостоятельного функционирования корней агглютинирующих языков рефлексом былой инкорпорации можно только пренебрегая самими существенными чертами агглютинативного строя вообще. Специфика этого строя заключается в тенденции использовать только корневые морфемы и добавлять минимальное деривационное и реляционное формальное уточнение лишь в тех случаях, когда контекст и порядок слов недостаточны для выражения этих вспомогательных значений (например, при выражении множественности в тюркских языках). Рассматриваемая тенденция присуща поэтому и тем агглютинативным языкам, которые в исторический период развились не из инкорпорированных, а из флективных индоевропейских. Только из этой тенденции вытекает и закрепление за каждым аффиксом малого числа (чаще — одного) семантических элементов (так как лишь при этом условии, в случае расширения контекста, соответствующий аффикс легко исключить из слова), универсальность корней и аффиксов, четкость границ между морфемами (для упрощения техники включения и исключения аффиксов). При этом также безразлично, произошел ли аффикс из самостоятельного корня, функционировавшего в инкорпорированном комплексе, из флективного слова или из фонетического слияния нескольких агглютинативных аффиксов. Система «разумной экономии» числа аффиксов в агглютинативных языках проявляется в том, что в наиболее классических из них — тюркских — в тексте в среднем на корень приходится лишь чуть больше одного аффикса (!) (хотя обычно представляют, что тюркское слово — это обязательно длинная цепочка морфем).

Таким образом, рассматриваемые особенности урало-алтайских агглютинативных языков доказывают только, что они по многим признакам действительно агглютинативны, но абсолютно ничего не говорят ни в пользу, ни против гипотезы о развитии этой агглютинации из предшествующего инкорпоративного строя.

Однако, считая, что других аргументов в защиту принятой гипотезы не требуется, М. А. Черкасский переходит к развитию идей Е. А. Крейновича и О. Дон-

нера о возникновении сингармонических вариантов и параллелизмов в недрах инкорпорационного состояния «протоалтайских» языков, когда в них еще не произошла дифференциация морфем на корневые и аффиксальные. При этом М. А. Черкасский вынужден предположить, что в этот период семантическая нагрузка в слове лежала в основном на согласных, а «фонематическая дифференциация вокализма находилась, по-видимому, лишь в самом начале своего развития» (стр. 67), так что гласных было очень мало, фонологически они противопоставлялись по небольшому числу признаков и поэтому легко подвергались всевозможным ассимилирующим воздействиям. В частности, одни гласные уподоблялись дистанционно другим гласным, для чего необходимо предположить, что некоторые из имевшихся тогда почти аморфных гласных были, тем не менее, сильно воздействующими на другие, слабые гласные. Именно по этим чисто фонетическим причинам, по мнению М. А. Черкасского, и произошло уподобление гласных в комплексе, состоящем из все более консолидирующихся морфем, т. е. возник сингармонизм, причем характерной его особенностью в данный период было то, что он «распространялся на все качественные аспекты вокализма» (стр. 68), т. е. уподобление могло происходить и по признаку ряда, и по огубленности, и по подъему. Для подтверждения такого вывода приводится факт различия сингармонических вариантов и параллелизмов по всем перечисленным признакам, поскольку все эти сингармонически разнородные корни рассматриваются в книге как живые ископаемые «протоалтайского» периода, когда уподобление гласных в силу аморфности вокализма было неуподобленным.

Трудно избавиться от мысли, что все рассуждения М. А. Черкасского о «протоалтайском периоде» развития вокализма внутренне противоречивы и искусственны. Не существует языков, в которых инкорпоративная техника, т. е. способность каждого корня выступать в качестве самостоятельной лексической единицы, сопроваждалась бы почти аморфным вокализмом. Известные инкорпорированные языки имеют не менее шести гласных с четкой системой фонологических противопоставлений. Аморфность, редукция, нейтрализация признаков может проявляться при дифференциации морфем на служебные и корневые, но об этом речь будет идти лишь в следующей главе, при описании «алтайского периода», здесь же М. А. Черкасский вынужден предположить наличие такой аморфности и при условии, что лексическое значение морфем далеко еще не утрачено. Одновременно признается и наличие гармонии, и то, что «фонематическая дифференциация вокализма находилась... лишь в самом нача-

ле своего развития». Если гармония гласных уже развилась в «протоалтайский» период и, следовательно, было хотя бы два сингармонических ряда гласных, то все последующие рассуждения об увеличении числа гласных в процессе эволюции строя тюркских языков становятся излишними, так как достаточно было бы сказать, что агглютинативные языки получили от «протоалтайского» периода уже довольно богатую, сингармонически организованную систему вокализма. Однако и «алтайский», и даже «раннетюркский» период, как будет показано далее, снова и снова возвращают нас к вокализму из трех-четырех гласных. А поскольку и тем стадиям вокализма, которые следовали за «протоалтайским», приписывается процесс обогащения вокализма и — поневоле — сингармоническое выравнивание слогов слова, то остается неясным, зачем М. А. Черкасский с таким упорством старается отвести возникновение сингармонических вариантов и параллелизмов именно к «полисинтетическому», «инкорпоративному», «протоалтайскому» периоду. Ведь хорошо известно, что сингармонические дублеты возникают и в настоящее время, например, когда заимствуется многосложное слово, гласные которого принадлежат различным сингармоническим рядам².

Таким образом, естественнее считать, что сингармонические варианты и параллелизмы в наибольшем количестве возникли в период становления собственно агглютинативного строя, окончательного формирования сингармонических противопоставлений после превращения их в словоразграничительное средство, а не в период доагглютинативной чисто «фонетической», т. е. нефункциональной гармонии гласных. После возникновения вариантов и параллелизмов судьба каждого слова могла сложиться уже совершенно индивидуально, и самые незначительные факторы могли сыграть решающую роль в том, все или только какой-нибудь один из вариантов слова сохранился в том или ином языке и закрепились ли за вариантами различные значения. Поэтому большинство из критикуемых М. А. Черкасским взглядов на возможные пути происхождения сингармонических вариантов и параллелизмов едва ли может быть отвергнуто. Безусловно прав М. А. Черкасский лишь в том, что каждый из рассматриваемых факторов возникновения вариантов не мог быть единственным.

Поскольку факторов, воздействующих на слово при поляризации его в тот или

² См.: Е. И. У б р я т о в а, Опыт сравнительного изучения фонетических особенностей языка населения некоторых районов Якутской АССР, М., 1960, стр. 38—39, 45—46 и сл.

иной сингармонический ряд, было очень много, бросается в глаза нерегулярность действия этих факторов. Однако регулярным оказывается конечный результат: асингармонических корней и основ в тюркских языках не остается.

Правда, встает новый вопрос: если в двухсложных словах очень часто возникает дилемма выбора того или иного варианта огласовки, так как исконные гласные могут принадлежать различным сингармоническим рядам, то почему возможны варианты и параллелизмы среди односложных слов, если отбросить идею взаимовлияния слов друг на друга в инкорпоративной цепи?

Попытаемся дать ответ на этот вопрос. Во-первых, многие из современных односложных корней раньше были двухсложными, что легко обнаруживается при сопоставлении современных текстов с древними. Во-вторых, сингармонические параллелизмы и варианты действительно наиболее характерны именно для многосложных слов. Безусловно, не случайно, что из 70 примеров сингармонических вариантов и параллелизмов, приводимых М. А. Черкасским, лишь 9 оказались односложными! И, наконец, хотя этот вопрос в книге не затрагивается, ясно, что в процессе увеличения числа гласных и расщепления их по сингармоническим рядам известное количество односложных корней перешло в другой сингармонический ряд, а некоторые из корней сохранились в обоих вариантах. Содействовать или препятствовать расщеплению должны были определенные условия в пределах слога. По-видимому, таким условием являлось прежде всего качество согласного в этом слоге, способность согласного придавать более переднюю или более заднюю артикуляцию гласному, когда он еще не был расщеплен на две фонемы, противопоставленные по признаку ряда.

Изложенная гипотеза поддается экспериментальной статистической проверке на материале современных тюркских языков. Например, для турецкого языка были получены следующие данные³. В корневых слогах, начинающихся с гласного, гласных переднего и заднего ряда оказалось в среднем одинаковое количество, причем каждый из гласных *a*, *e*, *o*, *i*, *u* встречается примерно в пять раз чаще, чем каждый из гласных *y*, *ö*, *ü*. Можно считать, что это — фонетически наиболее независимая позиция для гласных, и преобладающие гласные отражают состояние вокализма до сингармонического расщепления.

³ Подсчеты делались на материале народных сказок, где процент нетурецких корней минимален. Но отмеченные закономерности оказались справедливыми при подсчете встречаемости тех или иных слов даже просто по словарю.

В позиции после согласных в односложных корнях положение резко меняется. Так, после согласных *d*, *g*, *s* уже не половина, а 4/5 корневых морфем оказываются переднерядными, а после согласных *t*, *k*, *š* — наоборот, более 3/4 — заднерядными. Следовательно, слово с согласным первой группы, если оно сохранило исконный переднерядный гласный, скорее всего сохранило его до настоящего времени, а исконный заднерядный гласный в большинстве случаев либо перешел в переднерядный, либо послужил базой для появления сингармонических вариантов. Аналогичным образом возникали варианты при согласных второй группы, если в них сохранился исконный переднерядный гласный.

Стремление М. А. Черкасского опираться на гипотетический «протоалтайский» строй объясняется, возможно, тем, что более надежный и доступный современный материал о системных отношениях в строе тюркских языков используется в книге далеко не полно.

Третья глава книги «Об „алтайской“ стадии фонологической эволюции гармонии гласных» излагает «алтайскую» стадию фонетической эволюции тюркской гармонии гласных (стр. 72—89) в варианте, который отличается от того, как этот процесс был представлен в предыдущей главе. По каким-то причинам (по каким — не сказано) семантически подчеркнутая и акцентуационно выделенная морфема — слово инкорпоративной «протоалтайской» цепочки — в «алтайский» период оказывается находящейся обязательно впереди этой цепочки. Морфемы, следующие за первой, все больше теряют фонетическую самостоятельность, превращаясь в служебные элементы — аффиксы, и гласные аффиксов (теперь уже не из-за общей аморфности вокализма, а в связи с редукцией в безударном положении) начинают фонетически уподобляться сильному, ударному корневому гласному. Именно на этой стадии происходит четкая дифференциация морфем на корневые и аффиксальные, причем система вокализма этих морфем фонологически становится различной. В частности, корневые гласные приобретают повышенную устойчивость, проявляющуюся, например, в том, что на стыке слов при встрече двух гласных один из гласных может исчезнуть, но, как правило, это не корневой, а аффиксальный гласный.

Материал третьей главы не вызывает возражений; представляется, что и вопрос о сингармонических вариантах и параллелизмах должен был быть поднят именно здесь, при анализе становления собственно агглютинативного строя.

Четвертая глава «О „тюркской“ стадии фонологической эволюции гармонии гласных» (стр. 90—127) и по объему, и по содержанию является наиболее важной в книге. Собственно лишь в ней речь

идет конкретно о тюркском вокализме и сингармонизме.

В чем же видит автор принципиальное отличие строя тюркских языков от строя других урало-алтайских языков? В том, что все урало-алтайские языки остановились на «алтайской» стадии и лишь в тюркских произошла «коренная перестройка фонологической природы гармонии гласных» в связи с перемещением ударения с первого слога на последний. Лишь после этого, по мнению М. А. Черкасского, гармония гласных, фонетически более не обусловленная ведущей ролью корневого ударенного гласного, стала сохраняться в языке лишь в силу своей функциональной роли как средства увязывания аффиксов с корнем и указания границы между агглютинативными словами в потоке речи. Отсюда делается вывод, что в тюркских языках в «алтайский» период и во всех других современных урало-алтайских языках (поскольку в них ударение падает на первый слог слова) гармония гласных не функциональна, а просто является разновидностью фонетического уподобления, связанного с редукцией.

Такое заявление лишний раз свидетельствует о невнимании автора к самым существенным чертам специфики агглютинативного строя, о чем речь уже шла ранее. Принцип универсальности корневой и аффиксов, принцип «разумной экономии» аффиксальных морфем в слове, легкость «сборки и разборки» агглютинативных цепочек требует выработки средств простого «сцепления» и «расцепления» морфем с корнем без допущения слияния согласных на стыках морфем. Следовательно, функция «сцепления» ложится именно на гласные, в результате чего гармония становится необходимой в любом языке, построенном по указанному принципу, независимо от того, на какой слог падает ударение в слове этого языка. Важно лишь, чтобы ударение имело тенденцию быть фиксированным по отношению к границе слова, что соблюдается и в «алтайском», и в тюркском варианте агглютинации, как и в банту, где ударение падает на предпоследний слог⁴.

Таким образом, если исходить из распространенного и весьма правдоподобного предположения, что во всех урало-алтайских языках ударение некогда падало на первый слог, то в качестве начала

собственно тюркского периода действительно удобно выбрать эпоху перемещения ударения с первого слога слова на последний, однако мнение о нефункциональности гармонии гласных до этого периода должно быть решительно отвергнуто.

М. А. Черкасский пытается выявить и причину перемещения ударения. С одной стороны, предпосылкой для «реплавации» ударения послужил тот факт, что на определенном этапе развития «алтайского» строя процесс дифференциации корневых и аффиксальных морфем был закончен и потребность в подчеркивании и без того четко выделяющейся корневой морфемы дополнительным ударением исчезла. С другой стороны, говорится несколькоими строками ниже, по мере консолидации агглютинативного слова «выделение корня становилось все менее возможным, так как сама корневая морфема тоже утрачивала значительную долю своей семантической и конструктивной самостоятельности» (стр. 92), и поэтому слово уже не представляло «ряд соположенных автономных морфем», а превратилось в «моноклитный, теряющий внутреннюю мотивировку знак» (стр. 94).

Бросается в глаза, что вторая из указанных причин полностью противоречит и первой из этих причин, и общей тенденции агглютинативных языков к четкому противопоставлению корневых морфем аффиксальным (что только и дает возможность использовать неформальные корни в качестве самостоятельных слов). Наконец, это противоречит и утверждениям, содержащимся в предыдущих главах, где автору было бы выгодней всячески подчеркивать выделяемость, нерастворенность корня в агглютинативно оформленном слове. И там автор был, безусловно, прав, тогда как утверждение об «общей тенденции к стиранию морфологической структуры слова» (стр. 92) в тюркских языках (имеющих наиболее классическую агглютинативную структуру по сравнению с большинством урало-алтайских языков) выглядит совершенно фантастическим. Аргументировать это положение фактически нечем, поэтому М. А. Черкасский вынужден указать на редчайшие случаи слияния слов в современных тюркских языках, метатезы и гаплогонии, а также на наличие многосложных основ с аффиксами неясной этимологии. В последнем случае автор не учитывает, что сама по себе многосложность, если корень воспринимается как единая семантическая единица, не противоречит агглютинативной технике, и многие дериваты значений могут образовываться путем возникновения новых основ за счет слияния морфем. При этом многосложные основы совсем не обязательно должны быть нового, тюркского образования. Некоторые из них могут восходить и к доагглютинативному со-

⁴ О функциональном назначении гармонии гласных см., например: Г. П. Мельников, О некоторых типах словоразграничительных сигналов в языках тюркских и банту, «Народы Азии и Африки», 1962, 6, стр. 127; е г о ж е, О взаимоотношении агглютинации и сингармонизма, сб. «Морфологическая типология и проблема классификации языков», М.—Л., 1965, стр. 298.

стоянию. И, наконец, все перечисленные примеры «упрощения» и «стирания морфологической структуры слова» в тюркских языках встречаются несравненно реже, чем, например, в монгольских, сохранивших «алтайский» строй, так как в них не было «репласации» ударения. Кроме того, утверждается, что гармония в тюркских языках сохраняется лишь в силу ее функциональной роли увязывания двух принципиально различных типов морфем в слове, и тут же признается, что различие между этими морфемами именно в тюркский период начинает стираться, так что гармония гласных должна оставаться без применения.

Таким образом, причина перемещения ударения (которое в случае «упрощения» скорее должно было бы стать свободным, а не зафиксироваться на последнем слоге) остается нераскрытой. Возможно, в разрешении этой проблемы удалось бы продвинуться дальше, если бы автор привлек новейшие сведения о корреляциях, наблюдаемых между местом ударения в слове и синтаксической структурой предложения.

Собственно тюркский период развития М. А. Черкасский разбивает на три условных периода: «доорхонский», «орхонский» и «послеорхонский».

Хотя существование гармонии гласных реконструировалось и для «протоалтайского» и, тем более, для «алтайского» периода, и, следовательно, уже тогда в системе вокализма должно было быть представлено хотя бы пять гласных фонем (как, например, в языках банту, имеющих гармонию, не говоря уже о чукотском и нанайском, где не менее шести гласных), для «раннетюркского» периода снова предполагается лишь трехгласный вокализм. Один широкий гласный противопоставлен узкому неогубленному и узкому огубленному. Так как речь идет уже о начале собственно тюркского периода, когда закончилась строгая дифференциация морфем на корневые и аффиксальные и гармония гласных была, даже с точки зрения М. А. Черкасского, функциональна, то базой для гармонии могло служить противопоставление аффиксальных гласных по признаку ряда, тогда как противопоставления широкого узким и узких по признаку огубленности были смысловозначительными.

Трехфонемный аффиксальный вокализм не вызывает сомнения, так как он зарегистрирован в памятниках тюркской литературы. Но из изложенной схемы следует, что в «раннетюркский» период в корне было три гласных фонемы, а в аффиксах — тоже три фонемы, но в шести звукотипах (из-за наличия гармонии по признаку ряда). Трудно представить, как это могло быть. Во всяком случае, пока не известно ни одного сингармонического языка в мире, где бы аффиксальный вокализм был богаче корневого.

Перестройка в сторону «орхонской» системы вокализма представлена в книге следующим образом: в первом слоге широкий гласный приобретает обязательный признак отсутствия огубленности, а для огубленных противопоставление по подъему перестает быть релевантным. При этом речь постоянно идет о возможной области рассеивания при реализации фонем первого слога. Рассеивание под влиянием каких факторов? Об этом не сказано ни слова, хотя именно взаимодействие полей рассеивания выдвигается как причина переориентации тройки гласных в первом слоге. Не указаны причины и дальнейшей «дивергенции» огубленных корневых фонем на передние и задние. Эта четырехгласная система и объявляется «орхонской», что хорошо согласуется с орхонским алфавитом, но уже не согласуется с представлениями о том, что в орхонских текстах отражен строй одного из довольно типичных тюркских языков. Действительно, если считать, например, что тогда существовала четырехгласная система вокализма и поэтому *a* и *e*, например, как фонемы не различались, а слово *at* «лошадь» отличалось от слова *ät* «мясо» согласной фонемой, то необходимо считать, что в орхонский период в языке было не 17, а 26 согласных фонем, т. е. примерно столько же, сколько в арабском. Если это так, то уникальность и парадоксальность орхонского консонантизма по степени необычности совершенно затмевает своеобразие тюркского вокализма. Однако никакой парадоксальности не остается, если исходить просто из своеобразия орхонского алфавита. Тогда для орхонского периода легко восстанавливается типичная тюркская восьмерка гласных (либо семерка, если противопоставление *i* — *y* к тому времени еще не окончательно установилось). Не исключено также, что в это время в аффиксах неогубленный передний широкий был представлен гласным *ä*, а в корне — только гласным *e*. Поскольку в языке орхонских памятников аффиксы содержали две или, максимум, три фонемы, а губная гармония на широкие аффиксы не распространялась, то необычность орхонского алфавита может быть объяснена тем, что он был очень хорошо приспособлен к отражению именно специфики тюркского вокализма, проявляющейся в непрерывных слогах слова: точно фиксировались гласные непрерывных слогов во всех их сингармонических вариантах.

По мнению М. А. Черкасского, восьмерка гласных в первом слоге развилась лишь после того, как неогубленные орхонские гласные расщепились на передние и задние, а передние и задние огубленные — на широкие и узкие. Что послужило причиной такого дополнительного расщепления (уже с самого начала тюркского периода «потерявшего фонетическую обусловленность», тем более — для первых,

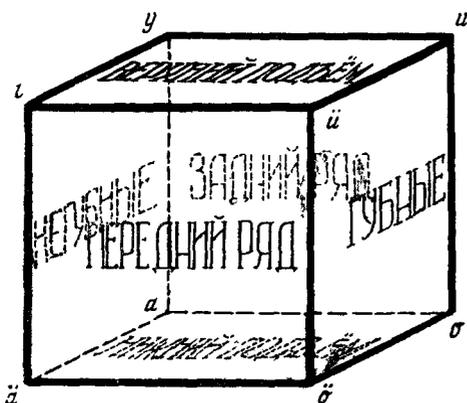


Рис. 1. Фонологический куб тюркских гласных (истинные артикуляционно-акустические расстояния не отражены)

фонологически независимых и передупрощенных слогов) — также остается неясным.

Все изложенные рассуждения иллюстрируются геометрическими моделями, представляющими треугольники и призмы, вписанные в объем куба, и сопровождаются ссылками на принципы экономии А. Мартине. Однако, несмотря на явную «нетрадиционность» и «структурность», выводы о специфике тюркского сингармонизма, о причинах перемещения ударения в тюркских языках, о последовательных этапах развития тюркского вокализма из трехфонемного в восьмифонемный построены на мало обоснованных исходных допущениях.

Сопоставление тюркского (и вообще алтайского) вокализма с вокализмом других языковых систем, выявление причин бедности вокализма современных языков, например, семитских⁶ и уже упоминавшиеся статистические подсчеты на материале турецкого языка заставляют предполагать, что тюркский вокализм развился из не трех, а не менее, чем из пяти фонем: *a, e, o, i, u*, которые и преобладают в максимально независимой позиции в корнях современных тюркских языков. Если сравнивать сингармонические пары гласных в этой позиции в турецком, например, языке, то обнаруживается, что *ä* встречается реже, чем *u* в два раза, *ö* реже, чем *o* в три раза, а *y* реже, чем *i* в 10 раз. Это дает основание считать, что раньше всего по признаку ряда расщепился на две фонемы гласный *u*, потом — гласный *o*, и в последнюю очередь, относительно недавно — гласный *i*. Это подтверждается и изменением вокализма тех

⁶ См. об этом: Г. П. Мельников, Взаимобусловленность структуры ярусов в языках семитского строя, сб. «Семитские языки», 2 (ч. 2), 2-е испр. и доп. изд., М., 1965, стр. 793.

урало-алтайских и, в частности, тюркских, языков, где начинается обратный процесс «свертывания» вокализма. Сначала нейтрализуется противопоставление в паре *i — y*, потом в паре *o — ö* и лишь в самую последнюю очередь в паре *u — ü*. Все последовательные фазы этого процесса наблюдаются, например, при переходе от сингармонических узбекских говоров к городским несингармоническим. Причины именно такой очередности «дивергенции» и «конвергенции» становятся понятными, если обратиться не к упрощенной фонологической кубической модели тюркских гласных (рис. 1), которой пользуется в книге М. А. Черкасский, а к пирамидальной модели, на которой отражено не только наличие, но и степень артикуляционно-акустической противопоставленности гласных⁶ (рис. 2). Артикуляционно-акустическое расстояние между гласными *i — y* минимально, а между *u — ü* — максимально. Возможности гласных *i — y* как элементов физической субстанции, используемых для выражения смысловых, фонологических (структурных) отношений наиболее ограничены

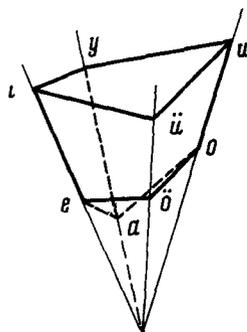


Рис. 2. Пирамидальная модель (с отражением степени артикуляционно-акустической противопоставленности гласных)

и поэтому противопоставление *i — y* фонологизируется в последнюю очередь, лишь в случае крайней необходимости.

⁶ См.: J. L o t z, Thoughts on phonology as applied to the Turkish vowels, «American studies in Altaic linguistics», Uralic and Altaic series, 13, 1962, стр. 350; Г. П. Мельников, Некоторые общие черты вокализма урало-алтайских языков, «Конференция по структурной лингвистике, посвященная базисным проблемам фонологии», 20—23 мая 1963 г. Тезисы докладов, М., 1963; его же, Объемные геометрические модели в пространстве физических характеристик для анализа статических и динамических свойств фонологических систем, М., 1965.

И наоборот, когда система может обойтись меньшим количеством единиц, то в ней в первую очередь нейтрализуются наименее надежные противопоставления и в последнюю — наиболее надежные.

Из рис. 2 видно также, что когда грамматические морфемы (вполне по схеме М. А. Черкасского, изложенной в третьей главе) стали терять часть своих фонологических противопоставлений, то в непервом слоге могли сначала развиться три фонемы: две с вариантами *a — e*, *u — ü* и одна — в единственной форме *i*. Когда гармония играла уже большую роль, а неогубленный узкий еще не расщепился на *i — y*, аффиксов с нейтральным *i* могло быть немного, в основном использовались широкие *a — e* и узкие *u — ü* как наиболее четко акустически противопоставленные. С закреплением противопоставления *i — y* начинает развиваться гармония по огубленности, и узкие огубленные аффиксы становятся возможными только после слогов с огубленными гласными. Динамика этого процесса в турецком языке детально исследована в работах Г. Хазаи⁷. Такая система с одним четырехвариантным типом узких аффиксов и одним двухвариантным широким свойственна, как известно, большинству современных тюркских языков⁸. Что касается переднего противопоставления для гласного *a*, то его роль мог выполнять либо гласный *e*, либо отдельно развившийся, более соответствующий гласному *a* по подъему гласный *ä*.

Таким образом, факт существования трех фонем в древнетюркских аффиксах, взятый за основу М. А. Черкасским, вполне согласуется и с артикуляционно-акустическим анализом фонологических предпосылок развития тюркской системы вокализма, но лишь при условии, что доагглютинативный вокализм в морфемах первых и непоследующих слогов содержал не три, а пять гласных, причем на стадии трехфонемного аффиксального вокализма в первом слоге было уже не менее семи гласных.

Если учитывать артикуляционно-акустические характеристики гласных и помнить, что гармония гласных выполняет в языке вспомогательную функцию — делимитативную и, следовательно, использует в качестве средств сингармонического противопоставления в первую очередь тот дифференциальный при-

знак, который акустически наименее надежен (т. е. сначала признак палатальности), то станет ясной справедливость мнения тех ученых, которые считают, что губная гармония развилась существенно позже палатальной. М. А. Черкасский, включающий себя в их число, практически в этом вопросе непосредствен, так как признает, что уже в «протоалтайский» период существовала гармония и по признаку ряда, и по признаку огубленности, и даже по признаку подъема. Правда, на той стадии она еще не «функциональна», но тем не менее ее функциональности оказалось достаточно, чтобы возникшие в то время (как предполагает М. А. Черкасский) сингармонические варианты и параллелизмы закрепились в сознании говорящих как морфемы с самостоятельными фонемами и дожили в таком виде до наших дней.

Тюркский период, по М. А. Черкасскому, характеризуется превращением гармонии гласных из явления фонетического в явление функциональное. При этом допускается, что в раннетюркский период даже для широкой гласной были условия, чтобы «свободно варьироваться по обоим тембровым признакам (ряд и огубленность или ее отсутствие), так как область ее рассеивания ограничена только признаком раствора» (стр. 116—117). Таким образом снова признается наличие огубленных сингармонических вариантов уже в раннетюркский период среди широких гласных, когда гармония по огубленности узких гласных еще не была развита. Правда, это только «определенная степень губной аттракции», а не «последовательная система» (стр. 117). Таким образом, позиция автора в вопросе эволюции губной гармонии остается неясной. Если губная гармония — только фонетическое явление, то тогда и в тюркский период гармония гласных еще не была функциональна, если же она функциональна, то автор поддерживает критикуемую им же точку зрения о возможности существования губной гармонии с тех времен, когда появилась и гармония по признаку ряда. Если предполагать, что возможна еще какая-то хотя и фонетическая, но в то же время функциональная гармония, то в книге ничего не сказано о времени, когда такая гармония превратилась в чисто функциональную и когда гласные аффиксов перестали отличаться акустически от гласных в корне. На этом новом этапе, по мнению М. А. Черкасского, гармония по признаку огубленности была распространена в тюркских языках не только на узкие, но и на широкие гласные, и лишь позже огубленные варианты широких аффиксов в большинстве тюркских языков перестали употребляться и сохранились лишь в некоторых языках.

⁷ G. H a z a i, Harsányi-Nagy Jakob török szövegei; A XVII századi oszmán-török nyelv problémái. Doktori értekezés tezisai, Budapest, 1965.

⁸ См. подробнее об этом: Г. П. М е л ь н и к о в, Некоторые способы описания и анализа гармонии гласных в современных тюркских языках, ВЯ, 1962, 2; см. также классические работы В. А. Богородицкого.

Это утверждение ничем не обосновывается и не может быть обосновано. Пока существовали трехфонемные аффиксальные системы вокализма, условий для губной гармонии узких аффиксов не было, а огубленные широких противодействовали артикуляционно-акустические условия. Из пирамидальной модели видно (рис. 2), что на том уровне подъема, на котором размещен гласный *a*, огубленные варианты слишком слабо различаются от неогубленных. Чтобы артикуляционно-акустическое расстояние между огубленными и неогубленными широкими гласными было достаточным, гласные *o—ö* должны перемещаться по пирамиде вверх, ближе к узким гласным *u—ü*. Но это приводит, во-первых, к тому, что по важнейшему признаку — подъему широкие гласные оказываются не столь однородными, как узкие, и поэтому с большим трудом могут восприниматься как варианты одной фонемы, а во-вторых, при появлении *o—ö* в аффиксах акустическое фонологическое различие между широкими и узкими огубленными гласными становится столь малым, что возникает повышенная вероятность их неразличения. Поэтому в большинстве тюркских языков огубленные широкие варианты вообще никогда не использовались, так как губная гармония не во всех языках достаточно развилась даже в узких аффиксах. В тех же языках, где четырехвариантные узкие аффиксы закрепили свои позиции, в большей или меньшей степени — и то лишь в недавний исторический период — развилась губная гармония широких аффиксов. Правда, в таком языке, как алтайский, огубление широких проводится более регулярно, чем огубление узких. Однако в алтайском в заметной степени играют роль те специфические факторы, которые характерны для монгольских языков⁹.

Таким образом, несмотря на принципиально правильный подход к анализу языковых явлений путем вскрытия системных взаимосвязей между различными уровнями языка, М. А. Черкасский либо большее внимание уделяет описанию структурных отношений между элементами системы и недостаточно учитывает субстантные особенности этих элементов, либо, наоборот, недооценива-

ет функциональную роль исследуемых явлений (в частности, отказывает в функциональности сингармонизму во всех языках, кроме тюркских). Но только выявление и учет функции позволяет понять, объяснить и предсказать структурные тенденции системы; учет же субстантных свойств элементов, в которые воплощена эта система, дает возможность определить, какие из тенденций системы легко могут реализоваться в данной субстанции, а в каких звеньях субстанции противодействует установлению необходимых (с точки зрения функциональных запросов) структурных отношений.

Однако, упрекая М. А. Черкасского в некоторых недостатках используемой им методики анализа динамических языковых систем, нельзя не отметить, что этими недостатками грешат все направления современного структурализма, и как раз М. А. Черкасский относится к числу тех, кто смог их изжить в наибольшей степени. Именно это заставляет более придирчиво, чем, может быть, следовало бы, отнестись к ошибкам, а часто — просто небрежностям, имеющимся в книге.

Исходя из кубической модели, а также из восьмифонемной системы тюркского вокализма (хотя, как уже было показано, имеется больше оснований считать, что гармония гласных функциональна во всех урало-алтайских языках и что после установления сингармонических противопоставлений во всех языках мог развиться девятифонемный вокализм), М. А. Черкасский лишил себя возможности объяснить или правильно истолковать некоторые «тонкости» систем гласных в современных тюркских языках. Например, появление новых, независимо огубленных аффиксов (типа аффиксов имени действия *-uw/-üw*) во многих тюркских языках он рассматривает как показатель разрушения губной гармонии, тогда как на самом деле эти аффиксы представляют новый этап в развитии тюркского вокализма — появление сверхузкой аффиксальной фонемы с особым типом ассимиляции по признаку огубленности¹⁰.

Не отмечены М. А. Черкасским новые типы фонологических противопоставле-

¹⁰ Подробно этот вопрос освещен в работе: Г. П. М е л ь н и к о в, Фонетические особенности и орфография тюркского аффикса имени действия *-y/-ÿ*, «Материалы конференции», Актуальные вопросы современного языкознания и лингвистического наследие Е. Д. Поливанова», I — Тезисы докладов и сообщений междувузовской лингвистической конференции 9—15 сентября 1964 г., Самарканд, 1964; е г о ж е, Причины нарушений симметрии в киргизском вокализме, «Сб. в честь академика К. К. Юдахина», Фрунзе, 1966.

⁹ См. об этом: Г. П. М е л ь н и к о в, Анализ особенностей вокализма монгольских языков, «Конференция аспирантов и молодых научных работников [Ин-та народов Азии АН СССР] (23—25 июня 1964 г.)», Тезисы и планы докладов, М., 1964; е г о ж е, Геометрические модели вокализма и причины перебора татарско-башкирских гласных, сб. «Проблемы лингвистического анализа (на материале языков различных типов)», М., 1966.

ний гласных в ряде тюркских языков, например, противопоставление по признаку «редуцированный — нeredуцированный» (тесно связанное с противопоставлением по длительности). Не учитывая специфики этого противопоставления и исходя только из восьмифонемной схемы вокализма, невозможно объяснить причины перебоя башкирских и татарских гласных.

В заключении книги М. А. Черкасский справедливо отмечает, что во многих современных тюркских языках наблюдаются все более частые примеры отступления от норм гармонии гласных, правда, практически лишь в области губного сингармонизма. Но решительно нельзя согласиться с выводом автора, что «гармония гласных перестает удовлетворять потребностям общения и, как явление пережиточное, постепенно теряет *raison d'être*» (стр. 121). Пока современные тюркские языки являются типичными агглютинативными языками, потребность в гармонии гласных (чаще всего — стабилизировавшейся в определенных границах, например, в рамках согласования по признаку ряда) как замечательном делимитативном средстве в этих языках не может исчезнуть, если, конечно, исходить не из орфографии, а из живого произношения людей, для которых тюрк-

ские языки служат основным средством общения.

Общий ход рассуждений в книге М. А. Черкасского, основные выводы, используемую методику исследования — все это нельзя не признать свежим, оригинальным, открывающим новые перспективы в наших представлениях о своеобразии тюркского вокализма и сингармонизма, о динамике развития и становления тюркской системы гласных. С решением многих сложных проблем тюркского вокализма, предлагаемым М. А. Черкасским, можно не соглашаться, но и автор имеет право не согласиться с многими из возражений, особенно, если он, продолжая углубленно работать в столь интересной области, представит новые аргументы в пользу своих взглядов. Однако нельзя простить автору ряд явных противоречий «самому себе», которые обнаруживаются при сопоставлении глав книги и даже в пределах одной главы. Хотелось бы надеяться, что этот труд — лишь пробный вариант и что со временем выйдет менее противоречивая и более полная (как в плане теории, так и в плане связи с конкретной проблематикой анализа грамматического строя современных тюркских языков) книга М. А. Черкасского «Тюркский вокализм и сингармонизм».

Г. П. Мельнико

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСЛАНДСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ

§ 1. Исландский язык давно привлекает внимание исследователей самых различных специальностей, в том числе лексикографов, исключительным своеобразием своего структурного облика и не менее своеобразными путями своего развития. В отличие от большинства индоевропейских языков современный исландский язык характеризуется следующими отличительными признаками: 1) отсутствие глобальных структурных различий между письменным языком и различными формами разговорного языка; 2) отсутствие тех же различий между литературным языком и диалектами, существование которых даже оспаривается некоторыми языковедами; 3) отсутствие тех же различий между древнеисландским и современным исландским языком, что делает излишним перевод древнеисландской литературы, доступной и современному читателю в подлиннике, на современный исландский язык. К этому следует добавить еще одну отличительную черту, присущую также некоторым европейским языкам (например, чешскому и финскому), которая заключается в том, что довольно ограниченное количество заимствованных слов, особенно относящихся к интер-

национальной лексике, компенсируется весьма значительным количеством новообразований (так называемых «*nýyrði*»)¹, часто являющихся трудом индивидуального творчества отдельных исландцев и легко входящих в общий обиход. Здесь необходимо оговорить, что не всегда представляется возможным провести четкое различие между окказиональным и узувальным неологизмами, но наличие в настоящее время в Исландии специальных органов, регулирующих нормы языкового поведения², делает во многих

¹ См. об этом в работах: J o n H e l g a s o n. Hrein islenzka og miðurbrein, в его сб. «Ritgerðakorn og raedustúfar», Reykjavík, 1959; H a l l d ó r H a l l d ó r s s o n, Um nýyr i og nýyr asöfnun, Frjáls verzlum, 1955, стр. 164—166; его же, Kring sprákliga nybilingar i nutida isländska, «Scripta Islandica», 13, 1962.

² H a l l d ó r H a l l d ó r s s o n, Orðanefnd Verkfræðingafélagsins, Skírnir, 1954, стр. 14—30; S v e i n n B e r g s v e i n s s o n, H a l l d ó r H a l l d ó r s s o n, Nýyrði, Reykjavík, I—IV, 1953—1959.

случаях возможным подобное разграничение. Это своеобразие исландского языка ставит совершенно особые задачи перед исландскими лексикографами и поэтому создание нового исландского двуязычного словаря отвечает не только практической необходимости, но требует одновременно от составителя решения ряда теоретических проблем.

§ 2. В настоящее время в исландской лексикографии накоплен значительный опыт составления двуязычных словарей. Следует прежде всего указать на исландско-датский словарь С. Блэндала³ и на исландско-шведский словарь Г. Лейстрёма, Я. Магнуссона и В. Я. Явсона⁴, стоящие на уровне современной лексикографии. Новый исландско-русский словарь В. П. Беркова и А. Бедварссона⁵ по своему объему занимает как бы среднее положение между вышеуказанными двумя словарями, но по структуре словника и по лексикографической обработке он больше приближается к исландско-шведскому словарю.

§ 3. Исландско-русский словарь В. П. Беркова и А. Бедварссона представляет крупное событие в исландской лексикографии, отвечает всем требованиям современной лексикографии и заслуживает самой высокой оценки. Данный словарь, включающий 35 000 слов, будет на протяжении многих лет служить авторитетным справочником и настольным пособием при изучении исландского языка, при чтении исландской литературы. Этот словарь разработан в соответствии с принципами дифференциальной лексикографии, положенными в основу многочисленных словарей, издаваемых Издательством иностранных и национальных словарей, и поэтому нет необходимости подробно останавливаться на данном вопросе. Заглавное (или так называемое «черное») слово сопровождается транскрипцией и полной грамматической паспортизацией. Словарная статья содержит иллюстративный материал, хорошо раскрывающий своеобразие исландского языка, а также фразеологизмы, включающие идиомы, поговорки, пословицы и пр. Несомненным достоинством словаря является включение фольклорного материала, необходимого при чтении как древних, так и современных исландских произведений.

Большую ценность представляет список сокращений, а также приложения. Очерк грамматики исландского языка содержит

основные сведения из области фонетики, морфологии и синтаксиса (последний раздел дан, к сожалению, слишком кратко) современного исландского языка. Составителями словаря был проделан поистине гигантский труд, и они заслуживают благодарности со стороны скандинавистов, германистов и лексикографов. Совершенно естественно, что подобный труд, сопряженный со значительными трудностями (недаром И. Скалигер, как известно, называл составление словаря вторым по трудности делом после труда Геркулеса), не лишен некоторых шероховатостей и изъянов, в отдельных случаях нуждается в уточнении и доработке или требует известных дополнений. Ниже следуют некоторые критические замечания, затрагивающие объем словаря, некоторые лексикографические проблемы, а также вопросы транскрипции и грамматики.

§ 4. Данный словарь не является полным исландско-русским словарем и поэтому не содержит всей лексики современного исландского языка. Пробное чтение различных по объему и жанру отрезков исландской прозы с постоянным контролем словаря убеждает в том, что было бы весьма желательно несколько расширить словник, пополнив его словами, фразеологическими сочетаниями, новыми значениями слов, которые встретились в перечисленных ниже работах (примеры, заимствованные из указанной в примечании литературы, даются не в алфавитном порядке)⁶.

1. Лексемы, отсутствующие в словаре: *nýmál fræðaiða*, *málætta ið*, *orðsifjabók*, *merkingartengsl*, *hbjóðréttur*, *lesajbrigði*, *lunduvarp*, *utanadðókarlærdómur*, *tilfinnin galif*, *siðferdislif*, *garmenni*, *frumpartur*, *sprettafíð*, *meldýna*, *framanundirlag*, *nærdýna*, *ullartog*, *soðkæfa*, *útværmaður*, *hjúólfur*.

В словаре также отсутствуют следующие лингвистические термины⁷: *innskot* «эпентеза», *míðmál* «среднеисландский», *nefkuæða* «назализовать», *orðflokkur* «словосочетание», *orðdrakningarfræði* «этимология», *orðstafn* «основа слова», *reikull* «подвижное (ударение)», *samhli-*

⁶ Ásgeir Blöndal Magnússon, *Úr fórum Orðabókarinnar*, «Íslenzk Tungu», II, 1960; Hannes á Núpsstað, *Lestafærðir um Skaffafellsýslur*, «Vísir Sunnudagsblað», 2, júlí, 1944; «Árbók Háskóla Íslands», 1943—1944, Reykjavík, 1946, стр. 3—8; Hreinn Benediktsson, *Oákv. forn. nokkur*, *nokkuð*, «Íslenzk Tungu», III, 1961—1962; Jónas Árnason, *Tekið i blökkina*, Setberg, 1961.

⁷ F. P. Magoun, Jr. Some additions to Blöndal's *Íslenzk-dönsk orðabók: linguistic terms*, «Arkiv för nordisk filologi», 60, 3—4, 1945.

³ S. Blöndal, *Íslandsk-dansk ordbok*, Reykjavík, 1920—1924.

⁴ G. Leijström, J. Magnusson, B. F. Svensson, *Isländsk-svensk ordbok*, Stockholm, 1955.

⁵ «Исландско-русский словарь», сост. канд. филол. наук В. П. Берков при участии магистра А. Бедварссона, М., 1962.

dandi «согласование», *tviroddaður* «циркумфлексный», *fyshljóð* «шумные (согласные)». Было бы желательно включить в словарь некоторые фонетические термины, которые Аудни Бедверссон, один из авторов словаря, дает в приложении к своему учебнику фонетики⁸. Таковы, например: *umritun* «транскрипция», *hljóðritun* «фонетическая транскрипция», *samdráttur* «сикнопа» (в словаре указывается лишь «грам. стяжение»); *atkvæði* «слог», *viðtak* «отступ гласных» (*fast*, *laust* «сильный, слабый отступ»), *raddbandalokhljóð* «приступ гласных», *merkingarlaus* «иррелевантный», *fraburðarfræði* «нормативная фонетика», *hljóðmælingafræði* «экспериментальная фонетика», *hljóðsaga*, «историческая фонетика», *abblástur* «перееаспирация», *þokunarstig* «импловия», *hæðarhljóð* «сонант», *talhraði* «темп».

2. Фразеологизмы, отсутствующие в словаре: *rekja þróun*; *feta aftur á bak*; *frekar auga*; *vera í malum* (в словаре дается лишь *fara í mola* 45^{6a}); *fordist slæma*; *tálugötur léttugar*; *báda er það tíðarfarið*⁹.

Также следует отметить недостаточность разработки значений в некоторых словарных статьях. Например, в s. v. *dans* указано значение «танец», но нет значения «баллада» (см. название книги O. B r i e m, *Fornir dansar*, Reykjavík, 1946 — «Исландские баллады»; в статье s. v. *vetur* следует дать также фразеологически связанное значение «год» (см. *nokkra undanfarna vetur* «в предшествующие, последние годы»). S. v. *veður* следует дать *dátt veður*, *hreppandi veður*, s. v. *hamur* следует добавить «непогода» (см. *hamur er illviðri*; *einkum rokhrinur*, *helzt á útsunnan*, *venjulega með vonzkuéljum*); s. v. *kafli* следует добавить «дождливая погода». После *slíkja* следует дать *slíkja* «мягкая, теплая погода»¹⁰.

§ 5. Как уже отмечалось выше, рецензируемый словарь разработан на уровне современной лексикографии. Однако нам хотелось бы обратить внимание на следующие моменты:

1. Не во всех случаях проведено последовательно обозначение фразеологизмов; например, в статье s. v. *háls* дается за ромбом *godir hálsa* «друзья, господя», а в статье s. v. *godur* тот же оборот дается без ромба, но в конце данной статьи идет ромб при примере *hva gerdi hun fær gott?*

⁸ A g n i B ö d v a r s s o n, *Hljóðfræði. Kennslubók handa byrgendum*, Reykjavík, 1953, стр. 128—130.

⁹ «Arbók Háskóla Íslands. Háskólaárið 1943—1944», стр. 8.

¹⁰ H a r a l d u r M a t t h í a s s o n, *Jedramál, «Afmæliskvæðja til Alexanders Véðhannessonar»*, Reykjavík, 1953.

2. Словарная статья *bálkur*, по нашему мнению, должна принять следующий вид: первым следует дать второе значение «низкая стена из камня или дерна», затем следует дать шестое, дальше третье и последним четвертое. Значение четвертое и пятое следует выделить особо и дать так: *bálkur* I и II.

3. Порядок значений в словарной статье *garður* должен, по нашему мнению, принять следующий вид: 1) «огороженное место» и пр.; 2) «непогода, буря»

4. Также вряд ли есть основания для выделения *þing*³ в значении «любовная связь» в отдельную словарную статью. Лучше дать *þing*³ при *þing*¹ «вещь, предмет» и дать как фразеологизм за ромбом *vera í ~ um við e-n* «находиться в любовной связи с кем-л.»;

5. В связи с разработкой словарной статьи следует отметить еще одно обстоятельство: в том случае, если существительное и инфинитив глагола омонимичны, в словаре в одном гнезде на первом месте дается существительное, на втором месте — глагол. Например, *ganga* II «ходьба, походка»; III «ходить, идти». Данный принцип довольно часто встречается в практике скандинавской лексикографии, в рецензируемом словаре он также проведен последовательно, хотя этот принцип и вызывает известные возражения. Дело в том, что образования типа *ganga* «ходьба, походка», *koma* «приход, прибытие», *svetta* «пьяно» и др. являются примерами обратной деривации, следовательно, вторичными образованиями. Поэтому представляется более рациональным или давать два разных заглавных слова, как это сделано в вышеупомянутом исландско-шведском словаре, или давать в одном гнезде: на первом месте глагол, а на втором месте — существительное. К тому же в словаре данный принцип не везде выдержан последовательно. Так, словарная статья *vinna* разработана следующим образом: *vinna*¹ «работа, труд»; *vinna*² «трудиться, работать».

§ 6. В словаре наблюдается некоторая непоследовательность в трактовке поэтизмов и архаизмов, от включения или исключения которых в словарь зависит возможность использовать данный словарь при чтении памятников древнеисландской прозы. Данный вопрос имеет также принципиальное значение для лексико-семантической характеристики исландского языка. В настоящее время подготавливается словарной комиссией при университете в Рейкьявике полный словарь современного исландского языка. Авторы словаря указывают: «Ввиду того, что различия между древнеисландским и современным исландским очень незначительны, настоящий словарь может быть использован также при чтении древнеисландской литературы, хотя,

разумеется, читатель не найдет в нем слов и значений, вышедших из употребления в современном языке»¹¹. Нельзя не заметить известную противоречивость данного положения. В том случае, если в словаре не представлены слова и значения, вышедшие из употребления, он вряд ли будет пригодным при чтении древнеисландской литературы. Но в то же время хорошо известно, что слова, а также их некоторые функционально-семантические контуры или характеристики, вышедшие из живого употребления, продолжают свое существование и в современном языке в виде поэтизмов или архаизмов. Это в особой степени относится к такому консервативному и консервирующему языку, как исландский. В согласии со своим принципом авторы не включают в свой словарь такие поэтизмы или архаизмы, как: *feiknstafir* «руны погибели», *fjóna* «ненавидеть», *fylikir* «конунг, князь, предводитель», *budlungur* «князь, вождь, предводитель», *græðir* «море» и др. Данные поэтизмы представлены в исландско-шведском словаре. В то же время в словаре помещается значительное количество поэтизмов или архаизмов, как, например, *hilmir*, *mildingur*, *gramur*, *vísir* «князь, вождь, конунг, предводитель», *halur* «человек, мужчина, герой», *hlýfri* «щека, ланита» (здесь следовало бы дать и вариант: *hlýr*); *jon* «конь», *hildarleikur* «битва», *hrönn* «волна, вал», *níður* «потомок, сын», *njóla* «ночь», *mær* «слава, поэзия», *mögur* «сын», *vangur* «луг», *sefi* «разум, чувство, любовь; родственник, сын», *vargöld* «время; междусобица», *vengi* «луг, море» и др. Остается не совсем понятным, почему такие лексемы, как *fylikir* «князь»; *предводитель* были выпущены, а такие лексемы, как *mildingur* или *hilmir* с тем же значением были включены. Не подлежит сомнению, что именно в связи с теми задачами, которые поставили перед собой авторы, желательно включение в словарь весьма значительного количества архаизмов и поэтизмов. Можно отметить, что отрядным является как раз то, что авторы в некоторых случаях отступают от своего принципа, включая в словарь вышедшие из употребления слова или значения слов (см., например, словарную статью *drósi*). Значение «женщина» не закреплено за словом в современном языке и сохраняется лишь как поэтизм, что совершенно правильно отмечают авторы, но все же они включают его в словарь.

§ 7. Другие наши замечания будут касаться транскрипции, перевода и грамматического оформления словарных статей.

1. Т р а н с к р и п ц и я. Передача каждого исландского слова (простого и сложного) в транскрипции является не-

сомненным достоинством словаря. Необходимо подчеркнуть, что не только составители словаря, но также издательство и типография безукоризненно справились со своей задачей. Поскольку многие вопросы фонологии современного исландского языка являются в настоящее время предметом оживленной дискуссии, то тем самым фонологические основы транскрипции исландского языка нельзя еще рассматривать как окончательное решение. Авторы словаря избрали смешанную фонетически-фонологическую систему транскрипции; это замечание относится и к той системе транскрипции, которая положена в основу превосходной книги С. Эйнарссона¹². С этой точки зрения становится понятным, что обозначение получают не только фонемы, но и их аллофоны, а также факультативные фонемы (или аллофоны); ср. транскрипцию следующих слов: *leikrit* [lei:k^(h)rit^h], *fellung* [fedliŋg^h], *grafkyrr* [graf:kj^hir] и т. д. Подобная система очень громоздка и в словаре, пожалуй, удобнее было бы дать упрощенную транскрипцию, а в грамматическом очерке более подробно оговорить правила фонемной дистрибуции в исландском языке. Кроме того, было бы желательно оговорить в грамматическом очерке, что возможна и иная трактовка сочетания *t + ng* в исландском языке; например, *þing* можно транскрибировать как [þiŋŋ] ¹³. Следовало бы также указать на то, что слово *míðrikudagur* «среда» допускает произношение *míðkudagur*¹⁴.

2. П е р е в о д. Переводная часть словаря (слова и фразеология) выполнена превосходно. В. П. Берков обнаруживает великолепное знание исландского и русского языков, фольклора, литературы и филологии, удивительную интуицию прирожденного переводчика. В этом отношении данный словарь превосходит все словари скандинавских языков, вышедшие в нашей стране. Отдельные замечания, касающиеся перевода совершенно незначительны: к переводу лексем *konungur* «король» следовало бы добавить: ист. «конунг». Лексема *kerfisbundin* «систематический» должна получить и второе значение: «системный» (в лингвистике и т. д.).

3. Г р а м м а т и к а. Замечательно точная и полная грамматическая паспортизация каждого исландского слова делает данный словарь незаменимым и авторитетным справочником не только в области лексикологии, но и в области

¹² S. E i n a r s s o n, *Icelandic, Baltimore, 1949.*

¹³ K. G. C h a r p m a n, *Icelandic-Norwegian linguistic relationships* («Norsk tidsskrift for sprogvidenskap», VII, Suppl.), Oslo, 1962, стр. 56.

¹⁴ См.: K. C h a r p m a n, указ. соч., стр. 144.

¹¹ «Исландско-русский словарь», стр. 1020.

грамматики. Отдельные мелкие замечания сводятся к следующим: а) поскольку *verba reflexiva* являются одной из структурно-определяющих черт исландского языка, то желательно как можно полнее представить данный глагольный тип. Так, при глаголе *innrita* «записывать» не указан возвратный глагол *innritast*; б) в грамматическом очерке (§ 14 «Исландские диалекты») в перечне основных диалектных различий вряд ли оправдано рассмотрение на одной плоскости так называемых *harðmæli*—*linmæli*—*flámæli*. В отличие от *хардмайли* и *линмайли*, которые характеризуются лишь географической дистрибуцией, *флаумайли* имеет подчеркнутую оценочную окраску и считается недопустимым с точки зрения норм современного исландского языка, как на то справедливо указывает Х. Бенедиктссон¹⁵, и как это правильно отме-

чают сами авторы (стр. 967); в) в грамматическом очерке желательно иметь парадигму глагола *vera*.

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть, что «Исландско-русский словарь» В. П. Беркова и А. Бёдварссона является крупным событием в скандинавской лексикографии. Словарь дает читателю значительно больше, чем того можно было ожидать от двуязычного словаря: он является не только полным и надежным справочником по современному исландскому языку, но вводит читателя также в самобытную и неповторимую культуру исландского народа. Остается пожелать, чтобы авторы данного словаря взялись за составление русско-исландского словаря, настоятельная необходимость в котором не подлежит никакому сомнению.

¹⁵ H r e i n n B e n e d i k t s s o n, Icelandic dialectology. Methods and results, «Íslenzk tunga», III, Reykjavík, 1961—1962, стр. 95.

Э. А. Макаев

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

6—12 апреля 1966 г. в Москве состоялось очередное заседание Комиссии общеславянского лингвистического атласа (ОЛА) при Международном комитете славистов, в котором приняли участие следующие члены Комиссии ОЛА: от Австрии — акад. Й. Хамм, от Болгарии — проф. Ст. Стойков, от Венгрии — д-р П. Кирай, от ГДР — д-р Ф. Михалк, д-р Р. Летч, от Польши — акад. В. Дорошевский, проф. С. Урбанчик, доц. Э. Тополинская, д-р Я. Басара, д-р Н. Перчинская, д-р В. Помяновская, д-р Б. Фалинская, от СССР — член-корр. АН СССР Р. И. Аванесов, проф. С. В. Бернштейн, проф. В. Г. Орлова, д-р филол. наук Ф. Т. Жилко, канд. филол. наук Н. В. Бирилло, от Чехословакии — член-корр. ЧСАН Я. Белич, проф. Э. Паулины, доц. Г. Кржижкова, д-р С. Утешены, от Югославии — проф. Р. Алексиц, проф. Д. Брозович, проф. Б. Видоеский, проф. Й. Вукович, д-р Б. Финка. В заседаниях участвовали также члены Советской комиссии ОЛА: член-корр. АН СССР Ф. П. Филин, проф. И. А. Дзендзелевский, проф. С. А. Копорский, канд. филол. наук Н. И. Толстой, канд. филол. наук Л. Э. Калнынь, канд. филол. наук С. К. Пожарицкая, В. Ф. Коннова, сотрудники Ин-та русского языка и Ин-та славяноведения АН СССР. В качестве гостя присутствовал д-р Я. Перковский (Техасский ун-т, США), который прочел доклад на тему «Принципы и методы создания американского дополнения ОЛА».

Заседание открыл председатель Международной комиссии ОЛА Р. И. Аванесов, который в своем вступительном слове рассказал о работе, проделанной после заседания Комиссии в Сараеве (Югославия) в мае — июне 1964 г. За это время вышел в свет «Вопросник общеславянского лингвистического атласа» (Москва, 1965), результат коллективного труда всех участников работы. Уже начато диалектологическое обследование

населенных пунктов по вопроснику в Болгарии, СССР, Чехословакии, Югославии, где в общей сложности по окончательному изданию вопросника обследовано 14 населенных пунктов. В 1963—1965 гг. было проведено обследование по предварительному изданию «Вопросника ОЛА» (Варшава, 1963), по которому собран материал в 60 населенных пунктах всех стран, участвующих в работе над атласом. В 1965 г. Ин-т русского языка АН СССР выпустил сборник «Общеславянский лингвистический атлас (материалы и исследования)», который содержит статьи советских и зарубежных ученых, посвященные теоретическим вопросам лингвистической географии, методике работы над атласом, а также конкретные исследования по славянской диалектологии. Комиссия ОЛА одобрила его издание и с удовлетворением приняла сообщение о подготовке второго сборника.

В центре внимания Комиссии ОЛА на данном заседании была инструкция к вопроснику ОЛА, проект которой был подготовлен чехословацкой и советской комиссиями атласа. Начинаясь систематическое обследование славянских диалектов для ОЛА невозможно без тщательно разработанной инструкции, которая должна обеспечить сбор вполне сопоставимого материала с обширной славянской языковой территории и его идентичное оформление и подготовку к картографированию. Во же время нерешенность и дискуссионность некоторых вопросов будущей работы над атласом, в частности организации картографирования собранного материала, затрудняли принятие однозначного решения. Существует два возможных пути картографирования: можно составлять карты, посвященные отдельным сторонам языка, в различных странах и национальных центрах (например, словообразовательные карты будут составляться в Варшаве, синтаксические — в Праге и т. д.); для этого нужны систематические картотеки: фонетическая, просодическая, лексическая, семантическая и т. п. Но возможно организовать картографирование таким образом, что каждый национальный центр будет обрабатывать и картографировать материалы своего языка, а затем будет составлена

общая карта всей славянской территории на основе синтеза рабочих карт отдельных языков. Каждый из этих путей картографирования имеет свои преимущества и недостатки. В результате обсуждения большинство участников совещания признало целесообразным первоначально составлять карты отдельных языковых территорий; это позволит диалектологам каждой страны полнее и глубже интерпретировать свой национальный материал.

В связи с этим много внимания было уделено оформлению собранных по вопросу материалов и составлению картотеки атласа, форма которой должна быть приспособлена к будущей работе над картами; одновременно она должна учитывать характер и принципы вопросника, его разделение на две части — тематическую, по которой осуществляется сбор материала, и систематическую, предназначенную для обработки и картографирования явлений различных языковых уровней. Комиссия ОЛА приняла предложенную в проекте инструкции форму картотечных тетрадей и решила, что один экземпляр картотеки, предназначенный для работы над картами данной языковой территории, остается в национальном центре, руководящем работой в пределах страны или республики; копии картотек всех населенных пунктов, обследованных для ОЛА, будут храниться в Москве как архив (центральная справочная картотека) общеславянского атласа. В ходе дискуссии над инструкцией было обращено особое внимание на сложность разделов «Синтаксис» и «Семантика», в связи с чем эти разделы инструкции были доработаны и тщательно отредактированы. По отношению к синтаксическим вопросам была отмечена необходимость фиксации живых и действительно существующих в говоре конструкций и иллюстраций их достаточным количеством примеров. Для семантических вопросов было указано, что надо записать по возможности все существующие в говоре значения слова, приведя для каждого значения достаточно широкий контекст в качестве иллюстрации. Дополнения и редакционные поправки были сделаны к разделам инструкции о магнитофонных записях, о работе на двуязычных территориях и некоторым другим.

В результате обсуждения проекта инструкции после внесения в него поправок, уточнений и дополнений Комиссия ОЛА утвердила инструкцию к вопросу ОЛА и просила Советскую комиссию напечатать ее для использования в экспедиционной работе уже в 1966 г.

Комиссия ОЛА на своем заседании рассмотрела уточнения и исправления в сетке населенных пунктов и основной карте атласа. Было высказано пожелание сделать сетку пунктов более равномер-

ной (это касается некоторых пограничных территорий, например словацко-украинской), ввести общую нумерацию пунктов на всей территории ОЛА, внести дополнительные географические характеристики в карту-основу (обозначить некоторые реки и города, республиканские границы и т. д.), разработать несколько вариантов карты ОЛА (в частности, карту опорных пунктов редкой сетки, на которой, возможно, будут сделаны первые опыты картографирования собранного материала).

Вопрос о неславянских территориях в общеславянском атласе до сих пор остается одним из наиболее дискуссионных. Во время заседания по этому вопросу выступил акад. И. Хамм (Вена) и проф. С. Б. Бернштейн (Москва) — члены подкомиссии по неславянским территориям в ОЛА. Данный вопрос может рассматриваться в двух независимых друг от друга планах: во-первых, речь может идти о славянских переселенческих пунктах в неславянских (а также инославянских) странах, которые могут представлять известный интерес для атласа, если это пункты относительно ранней колонизации; во-вторых, может иметься в виду обследование по специальной программе, составленной на основе вопросника ОЛА, неславянских, прежде всего венгерских и румынских, говоров¹. Комиссия ОЛА приняла решение, что вопрос о целесообразности обследования славянских населенных пунктов на неславянских и инославянских территориях должен быть решен специалистами по данному славянскому языку и славистами той страны, на территории которой данные населенные пункты расположены; решение же об обследовании неславянских населенных пунктов для ОЛА зависит полностью от специалистов по этому неславянскому языку. Венгерские слависты и диалектологи уже наметили девять населенных пунктов для обследования по программе атласа. Представитель Румынии акад. Э. Петрович, не присутствовавший на заседании, прислал на имя председателя Комиссии ОЛА Р. И. Аванесова письмо, в котором обосновал свое мнение о нецелесообразности обследования румынских диалектов для ОЛА. Окончательное решение о неславянских территориях в общеславянском атласе отложено до следующего заседания Комиссии.

¹ Оба эти аспекта освещены в статьях С. Б. Бернштейна «Неславянские языки в Общеславянском лингвистическом атласе» и И. Хамма «Общеславянский лингвистический атлас и славянские поселения в неславянских странах» в сб. «Общеславянский лингвистический атлас (материалы и исследование)», М., 1965.

Канд. филол. наук Н. И. Толстой (Москва) прочел доклад на тему «О некоторых возможностях системного изучения и картографирования лексических и словообразовательных различий». Во время обсуждения доклада были отмечены несомненный интерес и ценность успешно применяемого Н. И. Толстым метода изучения лексико-семантических микрополей при помощи дифференциальных семантических признаков, хотя был высказан и вполне понятный скептицизм относительно возможности применения этого метода на столь обширной территории, как территория, картографируемая в ОЛА, со всем богатством и разнообразием выступающих на ней лексико-семантических и словообразовательных различий.

Обсудив перспективы работы над общеславянским атласом и организационные

вопросы, Комиссия приняла следующие решения: начать в 1966 г. во всех странах систематическое обследование населенных пунктов по вопроснику ОЛА, планируя его окончание к 1970 г.; в первую очередь желательно охватить опорные пункты редкой сетки; одновременно провести дополнительный сбор материалов в населенных пунктах, обследованных в 1963—1965 гг. по предварительному изданию вопросника; в целях обмена информацией о ходе работы в национальных комиссиях два раза в год издавать ротапринтным способом информационный бюллетень, сведения для которого национальные комиссии должны регулярно присылать в Москву; следующее заседание Комиссии ОЛА решено провести в мае 1967 г. в Чехословакии.

В. Ф. Коннова (Москва)

*

Четвертый семинар по диахронической фонологии германских языков состоялся 12—13 апреля 1966 г. в Москве (Институт языкознания АН СССР). Были представлены следующие доклады: Г. В. Воронкова (Ленинград) «Среднеязычные смычные и щелевые в норвежском языке», И. П. Иванова (Ленинград) «О возможных фонологических и фонетических факторах „великого сдвига гласных“ в английском языке», Г. С. Клычков (Москва) «Исландский консонантизм», С. Ю. Кюмиссарчик (Харьков) «О кратких дифтонгах древнеанглийского языка», Я. Б. Крупаткин (Севастополь) «О гипотетико-дедуктивном методе диахронической фонологии», А. С. Либерман (Ленинград) «К истории слогоделения в английском языке» и «Когда началась „великий сдвиг гласных“ в английском языке?», А. Н. Мороховский (Киев) «Выравнивание гласных в среднеанглийском языке», В. Я. Плоткин (Новосибирск) «О функциональном аспекте звуковых изменений в истории английского языка», М. В. Раевский (Тула) «К развитию подсистемы плавных в западногерманских языках», М. И. Стеблин-Каменский (Ленинград) «Об аллофонных изменениях», А. И. Степановичюс (Вильнюс) «Деабализация передних огубленных гласных в кентском диалекте английского языка».

Поскольку к семинару были отпечатаны тезисы², мы коротко изложим лишь те доклады, тезисы к которым не публиковались.

² «Семинар по диахронической фонологии германских языков. Тезисы докладов», М., 1966.

В докладе Г. С. Клычкова отмечалось, что фонологическое описание языка часто ведет к противоречивым решениям. Одну из причин этого следует искать в технике дистрибутивного анализа. Предположение, что первичные элементы анализа являются сегментами, вынуждает фонолога приписывать все фонетические особенности фонам, хотя в реальной речи эти особенности могут относиться к силлабической структуре слова. На примере современного исландского языка автор показал, что с помощью просодических понятий можно достичь значительной экономичности описания. Основные различия в слоговой структуре слов в исландском соответствуют различиям между акцентом 1 и акцентом 2 в других скандинавских языках. По мнению докладчика, такой анализ помогает обрисовать типологические особенности языка. Так, в ряду языков, классифицируемых в зависимости от характера взаимоотношений между сегментными и супrasegmentными элементами (где на одном полюсе — язык с силлабофонической структурой, а на другом — язык, состоящий только из сегментных фонем), исландский занимает промежуточное место.

В докладе М. И. Стеблин-Каменского отмечалось, что обычное определение аллофона («реализация фонемы в определенной позиции») очень неясно. Неясно поэтому и что такое аллофонное изменение. Если считать, что всякий аллофон полностью определяется позицией и системой фонем, то тогда аллофонное изменение вообще не существует. Есть только фонемные изменения, и эти изменения — скачки от одной синхронии к другой. При таком понимании в сущности диахронии нет, а тем самым нет и причинных связей. Но очевидно,

что аллофон не определяется полностью позицией, и, следовательно, возможно изменение в аллофоническом варьировании, независимо от фонемного изменения. Аллофонное изменение, следовательно, может быть постепенным. Синтагматическое фонемное изменение (если оно не спорадическое) подразумевает аллофонное изменение. Длительное аллофонное изменение приводит к смене различительного признака. Фонемное изменение есть, таким образом, как правило результат аллофонного.

Коренные вопросы диахронической фонологии, затронутые в докладе М. И. Стеблина-Каменского, вызвали оживленное обсуждение. По мнению Н. Д. Андреева (Ленинград), превращение аллофонов в фонемы проходит три фазы: 1) аллофонного состояния, когда во всех стилях речи варианты реализуются одинаково; 2) аллофонемного состояния, когда в одном стиле два звука соотносятся еще как аллофоны, но в другом уже как фонемы (пример из эпохи падения глухих: *пыль* — *пыль* в медленном стиле, *пыл* — *пыл'* в беглом стиле); 3) фонемного состояния, когда во всех стилях оба звука выступают только в роли фонем. Именно во взаимодействии двух стилей речи с языком причина того, что позиционная вариация, задававшая иррелевантный признак, получает возможность превратиться в релевантный признак. Вероятность подобной схемы была поставлена под сомнение М. И. Стеблиным-Каменским, поскольку полный и беглый стиль всегда существуют рядом:

Если аллофон задан системой фонем и контекстом, сказал А. С. Либерман, то невозможна его фонологизация. Так, если умлаут — чисто комбинаторное чередование (скажем, [ü] перед *j* и [u] в других позициях), то при выпадении *j* такое [ü] должно было перейти в [u]. В действительности же оно фонологизовалось. Следовательно, к моменту отпадения *j* чередование уже было чем-то, закрепленным нормой. Это показывает, как аллофон может не зависеть от окружения. Дискретному ряду фонем не соответствует дискретный ряд «звучков». В той мере, в какой аллофон не зависит от контекста, и возможно аллофоническое изменение.

С. Д. Кацнельсон (Ленинград) поддержал критику концепции, согласно которой аллофон однозначно определен окружением (см. доклад М. И. Стеблина-Каменского). По его мнению, эта концепция не дает никакого выхода в историю, так как при смене позиционных условий должно исчезнуть и аллофонное качество ассимилируемой фонемы. В действительности же получается наоборот: передаваемый признак приобретает фонологическую значимость. Надо отказываться от упорного понимания аллофона,

отобрать типы обусловленности одного фонологического элемента другим в цепи. Особого внимания заслуживают супraseгментные признаки: условия акцентуации, взаимодействие гласных и согласных в условиях слога (меняется система гласных — меняется и система согласных). Следовало бы иметь в виду не позиции вообще, а конкретный анализ разных позиций.

С замечаниями по докладу Я. Б. Крупаткина выступил Г. С. Клычков: по его мнению, гипотетико-дедуктивный метод, как он сформулирован в докладе, не соответствует строгому представлению о гипотезе.

Оживленно обсуждались и доклады по конкретным вопросам звуковой истории. Так, касаясь математических подсчетов в докладе А. Н. Мороховского, С. Д. Кацнельсон высказал мысль, что понятия экономии и расточительности не применимы к языковой диахронии. Следовало бы расчлнить вопрос о причинности, имея в виду причинность историческую и телеологическую. Первая может объяснить, почему в современном языке получилось так, а не иначе. Вторую же следует учитывать, когда намечаются возможности искусственного создания слов по правилам современной фонетики слова.

Выступая по докладам о «великом сдвиге гласных», В. Я. Плоткин привел доводы в пользу того, что корреляция контакта в английском языке возникла уже в XI в. В прежней корреляции по долготе маркированными были долгие гласные. Смена корреляции означала и переход маркировки к абрутивному (бывшим кратким). Оценивая результаты «великого сдвига гласных», надо иметь в виду, что характерной особенностью неабрутивных есть не только дифтонгизация, но также сужение. По мнению И. П. Ивановой, однако, дефонологизация долготы у гласных произошла не в XI, а в XII в.

М. И. Стеблин-Каменский отметил, что в докладе Г. С. Клычкова исследование фонетических и фонологических фактов позволяет разглядеть ранее незамеченную систему. Методика исследования представляется верной и интересной. Отвечая на вопросы, Г. С. Клычков сказал, что все авторы предполагают за сегментом протяженность, он же склонен представлять его как точку. Все, что не находится в линейном ряду, есть супraseгментное; близко к нему и все просодическое.

В коротком сообщении Г. П. Мельников (Москва) предложил рассматривать данный язык как стихийно самонастраивающуюся систему с присущим ей главным критерием оптимальности («тенденция»). Одним из возможных главных критериев оптимальности может быть

выражение информации лексикологическими средствами. При таком критерии идеальным будет строй без формального выражения частей речи, где слово тяготеет к структуре «согласный — гласный», большую нагрузку несут аффрикаты, дрожащий *R* используется в роли гласных. Приближение к такому типу видно, например, в истории германских языков. Подробный «системный» анализ включает структурные методы и развивает принцип экономии. При выявлении оптимальности системы (вместо экономичности) появляется возможность пользоваться не только физиологическим, но и любым другим критерием.

Подводя итоги семинара, Г. П. Торсуев (Москва) отметил важность проблемы метода в синхроническом и диахроническом исследовании. Хотя фонология без фонетики обойтись не может, не вполне ясно место экспериментально-фонетических данных. Ведь классические работы по фонологии опираются на очень примитивный и ограниченный фонетический материал. Полезным было внимание участников семинара к звуковым изменениям в языке и речи, где еще многое ожидает истолкования.

Я. Б. Крупаткин (Севастополь)

*

С 25 по 29 апреля 1966 г. в Институте русского языка АН СССР (Москва) заседала Комиссия по составлению словаря общеславянского литературного (церковнославянского) языка (ОСЛ-ЦСЛ) Международного комитета славистов; в ее работе приняли участие члены комиссии: проф. Й. Курц — председатель (Чехословакия), акад. В. В. Виноградов — зам. председателя (СССР), д-р В. Ф. Мареш — второй секретарь Комиссии (Чехословакия), доц. Л. Мошинский (Польша), доц. Г. Михайла (Румыния), канд. филол. наук Л. П. Жуковская, докт. филол. наук А. С. Львов, канд. филол. наук Н. И. Толстой (СССР), акад. Б. Гавранек (Чехословакия), проф. П. Джорджич, д-р А. Назор (Югославия), проф. Й. Хамм (Югославия и Австрия). По болезни не смогли присутствовать члены комиссии проф. К. Мирчев — зам. председателя, д-р Д. Иванова-Мирчева — первый секретарь комиссии (Болгария), проф. В. Штефанч — зам. председателя (Югославия).

Комиссия была создана при МКС в 1961 г. для руководства и координации работ по составлению единого словаря языка памятников церковнославянской письменности XI—XVI вв., сохранившихся в рукописях во многих странах, особенно в СССР, Болгарии и Югославии. За истекший период трудились над составлением картотеки ОСЛ (ЦСЛ) словаря слависты Чехословакии, Хорватии, Румынии. В Болгарии начата работа над историческим словарем болгарского языка.

Председатель Советского комитета славистов и зам. председателя Комиссии В. В. Виноградов открыл заседание и тепло приветствовал всех участников. Он подробно охарактеризовал исследования советских ученых по общеславянскому литературному языку, отметив, что лексико-морфологическое изучение старославянских и церковнославянских памятников письменности

довольно широко проводится отдельными авторами. Однако до сих пор в Советском Союзе еще не начались ни непосредственная подготовка картотеки для общеславянского словаря, ни выявление круга его источников из числа церковнославянских памятников так называемого «русского извода». Затем В. В. Виноградов остановился на задачах советских славистов по организации работы над будущим словарем.

С обстоятельным докладом о работе Комиссии по состоянию на 24 IV 1966 г. выступил ее председатель Й. Курц, который напомнил, что хотя комиссия организационно была оформлена в 1961 г., проект подготовки единого словаря, отвечающего требованиям и задачам современных научных исследований, широко обсуждался уже на IV съезде славистов в Москве. Там на заседании Комиссии по делам конкретных международных предприятий 9 IX 1958 г. Й. Курц выступил с сообщением о словаре церковнославянского языка как международном предприятии. В этом сообщении докладчик обосновал необходимость создания словаря, включающего все случаи употребления слов, зафиксированных в церковнославянских памятниках всех редакций с древнейших времен до XVI—XVIII вв. (типа тезауруса). Тогда же были избраны первые члены Комиссии по ОСЛ (ЦСЛ) словарю и ее председатель Й. Курц.

Далее докладчик сообщил об итогах ранее состоявшихся заседаний Комиссии в Загребе (4—8 VI 1963 г.) и в Софии (23 IX 1963 г.). В Загребе были приняты решения об унификации методов составления картотеки будущего словаря и было установлено, что хронологическим пределом для церковнославянских памятников, избранных для извлечения словарного материала, следует считать XVI в., но в некоторых важных и хорошо обоснованных случаях для отдельных редакций можно привлекать рукописи вплоть до начала XVIII в. Для старославянских памят-

ников составителям ОСЛ (ЦСЛ) словаря будет предоставлена возможность воспользоваться картотекой старославянского словаря, подготовленной в Праге. Было предложено рабочим центрам в разных странах подготовить к обсуждению списки рукописей для полной или частичной экскерпции. К сожалению, до сих пор это предложение выполняется неудовлетворительно. Обсуждался вопрос о замене названия «церковнославянский» язык более точным, как считал ряд участников, названием «общеславянский литературный» язык или «общеславянский книжный» язык. Однако на Софийском заседании решили сохранить традиционное первоначальное название.

На обоих заседаниях, как сообщил И. Курц, наиболее оживленную дискуссию вызвал вопрос о необходимости подготовки одного общего словаря или, что более целесообразно (по мнению некоторых членов Комиссии — прежде всего болгарской делегации), подготовки специальных словарей отдельных редакций, так называемых «национальных» или «исторических» словарей. При этом докладчик сказал, что он, как и многие другие члены Комиссии, — сторонник создания единого словаря; однако эта общая цель ни в коей мере не исключает самостоятельных словарей отдельных редакций. И. Курц отметил, что оба эти мероприятия могут осуществляться одновременно. Соответствующее решение по данному вопросу было принято на заседании Комиссии в Загребе; в нем говорилось: «Комиссия приветствует проект создания общеславянского языка, но не исключает возможности создания параллельных словарей различных редакций, которые будут основаны на общих согласованных принципах и технических нормах». На Софийском заседании Комиссии продолжалась дискуссия по данному вопросу.

В заключение докладчик остановился на огромном научном значении словаря ОСЛ (ЦСЛ) языка для всех исследований в области истории славянской культуры и выразил уверенность в реальности создания словаря.

На первом же заседании было прочитано письмо первого секретаря Комиссии Д. Ивановой-Мирчевой, в котором говорится, что «единственным разрешением вопроса будет составление отдельных словарей» и что этот вопрос нуждается в обсуждении. Болгарские коллеги готовы принять некоторые поправки и изменения при работе над болгарским историческим словарем «для получения максимально однотипного материала».

С докладом «О потребности подготовки и об объеме словаря церковнославянского языка» выступил И. Хамм. Докладчик напомнил, что прошло более ста лет с

момента публикации знаменитых словарей по церковнославянскому языку Ф. Миклошича и А. Х. Востокова; оба словаря ни по охвату материала, ни с точки зрения его обработки и подачи не могут удовлетворить современного исследователя. Словарь по церковнославянскому языку, подчеркну докладчик, должен содержать материал, извлеченный из сохранившихся рукописей от древнейшей поры до XVI—XVII вв.; при его подготовке необходимо обратить особое внимание на полноту материала и строгую последовательность отбора памятников, на точную цитацию вариантов.

И. Хамм отметил, что огромная подготовительная работа (по отбору и сличению источников и под.) может быть выполнена только совместными усилиями всех славистов. Вместе с тем И. Хамм выразил некоторое сомнение в возможности осуществления этого мероприятия в ближайшее время. Докладчик отстаивал правомочность названия «церковнославянский» язык; в этом термине хорошо отражено реальное содержание сохранившихся источников.

Г. Михайлэ прочитал доклад «О работе над собиранием материала для составления словаря книжнославянского языка румынской редакцией»³.

С большим интересом был прослушан доклад Л. П. Жуковской на тему «Полные апракосы XI—XIV вв., находящиеся в книгохранилищах СССР, и задачи их дальнейшего изучения в связи с составлением словаря общелитературного средневекового языка славян». Славянские богослужебные книги являются важнейшим источником составления словаря общелитературного средневекового языка славян. Л. П. Жуковская сообщила, что в хранилищах Советского Союза и Болгарии ею было исследовано 530 пергаменных рукописей евангелий XI—XV вв. Среди них обнаружено более трех полных апракосов (все из хранилищ СССР). Более ста рукописей были ею тщательно изучены с точки зрения структуры и текста, а затем расклассифицированы. Близкородственными оказались некоторые памятники, изученные в свое время А. И. Соболевским и определенные им как галицко-волыньские. В одной из групп оказались рукописи, писанные в Ростово-Суздальской земле. Это показывает, что текстологическая группировка не случайна, и она будет безусловно полезна для разнообразных лингвистических исследований.

Л. П. Жуковская показала на лексическом материале, что словарный запас этих богослужебных книг очень богат и

³ Тексты докладов Г. Михайлэ, Л. Мошиского, В. Ф. Мареша и А. Назор публикуются в настоящем номере журнала.

весьма неоднороден. В древнерусских списках полного апракоса представлена особенно разнообразная синонимика, причем это богатство обнаруживается почти даже в одной и той же древней рукописи.

Затем она отметила, что при составлении ОСЛ (ЦСЛ) словаря нельзя удовлетвориться материалами нескольких произвольно отобранных рукописей. Для составления словаря желательно распечатать все без исключения книги указанного времени. В случае невозможности провести такую длительную и трудоемкую работу, необходимо по каждому типу богослужебных книг провести предварительное текстологическое исследование, с тем, чтобы в дальнейшем для составления словаря отобрать наиболее типичные рукописи.

В дискуссии, развернувшейся после доклада, была дана высокая оценка работы Л. П. Жуковской по исследованию церковнославянских текстов апракос-евангелий, и от имени Комиссии ей была вынесена благодарность.

С большим вниманием Комиссия выслушала доклад А. Назор «О словаре хорватско-глаголической редакции общеславянского литературного (церковнославянского) языка».

С докладом «К вопросу о едином словаре общеславянского литературного языка» выступил А. С. Львов. Докладчик положительно оценил стремление болгарских, румынских, хорватских и других славистов создать свои, так называемые «национальные» словари, в которых бы широко использовались материалы церковнославянской письменности. Вместе с тем он сказал, что нет оснований отказываться от идеи создания единого словаря. По мнению А. С. Львова, в предполагаемом общем словаре не следует повторять тот словарный состав, который зафиксирован в пражском словаре старославянского языка. Единый словарь должен быть как бы продолжением пражского словаря или его дополнением. К созданию картотеки этого словаря можно приступить немедленно после утверждения Комиссией списка рукописей и инструкций для отбора словарного материала с перечнем слов, вошедших в словарь старославянского языка. Докладчик предложил сосредоточить картотеку будущего словаря в Праге и в Брно, где уже сложились опытные словарные коллективы.

А. С. Львов поддержал предложение о расширении функций Комиссии ОСЛ (ЦСЛ) словаря, включив в сферу ее деятельности вопросы издания памятников старо- и церковнославянской письменности. Он сообщил, что в Советском Союзе намечалось некоторое оживление публикаторской деятельности. За последнее время фотомеханическим способом изданы под наблюдением Археографиче-

ской комиссии рукописи Мерила Праведного по списку XIV в. (ГБЛ), Синодального списка 1-й Новгородской летописи конца XIII в. (ГИМ), всех сохранившихся списков Русской Правды. Институт русского языка осуществил наборное издание рукописи Изборника 1076 г. (ГПБ), подготовлен и сдан в издательство Синайский патерик (ГИМ) и готовится к изданию Успенский сборник XII—XIII вв. (ГИМ).

Обсуждение доклада А. С. Львова показало, что его предложения по созданию единого словаря как продолжения пражского не встретили поддержки со стороны членов Комиссии.

Л. Мошинский прочитал доклад «Отношение словаря церковнославянского языка к словарям отдельных славянских языков».

Доклад Н. И. Толстого «Определение круга источников словаря древнего общеславянского литературного языка вместе с предварительным решением вопроса периодизации этого языка и уточнением хронологических и территориальных рамок его функционирования» по своей проблематике был тесно связан с докладом Л. Мошинского. Докладчик предложил начать работу по определению норм древнеславянского (общеславянского) языка в эпохи «централизации» и унификации норм и подчеркнул необходимость изучения также позднего периода XVI—XVII вв. (язык Острожской библии и т. п.). По его мнению, полезно определить в первую очередь нормы раннего и позднего периодов, а затем уже периодов промежуточных, имея в виду постоянное развитие древнеславянского языка в плане «внутреннем» и смещение центров в плане внешнем.

С докладом «Проект подготовки словаря церковнославянского языка» выступил В. Ф. Мареш.

На заключительном заседании Й. Курц выступил с проектом расширения задач Комиссии. Он предложил возложить на нее функции, связанные с координацией издания памятников общеславянского литературного языка, а также с обменом информацией о рукописных материалах. Он считает необходимым также широкий обмен информацией в области лексикологии и лексикографии старославянского языка. Эти предложения встретили горячую поддержку со стороны всех участников совещания.

О проделанной работе и о состоянии подготовки материалов для словаря в отдельных странах доложили П. Джорджич и В. Ф. Мареш.

Доклады подробно обсуждались. В оживленных прениях приняли участие все присутствующие. На заседании были приняты следующие решения:

1. Поскольку единый словарь общеславянского литературного (церковнославянского) языка не исключает созда-

ния словарей отдельных изводов (редакций), вести работу по двум направлениям: основному — созданию единого словаря общеславянского литературного (церковнославянского) языка и по созданию словарей отдельных изводов этого языка.

2. Координировать теоретические и практические приемы подготовки работ по словарям: отбор памятников, способ расписывания памятников (выборки) и внешний технический вид карточек (см. проект В. Мареша).

3. Продолжить и углубить работу по составлению координированных словарных карточек ОСЛ (ЦСЛ) языка по изводам (редакциям). Там, где такая работа еще не ведется, рекомендуется начать ее как можно скорее, создав для этого необходимые коллективы.

4. Координировать работу Комиссии по составлению ОСЛ (ЦСЛ) словаря в

области старославянской и общелитературно-славянской письменности средневековья с деятельностью Эдиционно-текстологической комиссии Международного комитета славистов.

5. Предложить Международному комитету славистов ввести в состав членов Комиссии по составлению ОСЛ (ЦСЛ) словаря проф. В. Кипарского (Хельсинки).

От имени Комиссии было направлено письмо в Совет по координации научных исследований в Белграде с пожеланием расширить исследования в области изучения древнеславянских памятников письменности.

В заключении И. Курц, поблагодарив всех участников совещания, выразил уверенность, что в дальнейшем работа Комиссии будет еще более плодотворной.

О. А. Князевская (Москва)

*

26—28 мая 1966 г. в Московском гос. ун-те им. В. И. Ленина проводилась IX научно-теоретическая и методическая конференция, посвященная проблемам изучения и преподавания стилистики художественной литературы.

На пленарных заседаниях были заслушаны доклады А. И. Ревякина (Москва) «Об изучении языка литературно-художественных произведений», И. Г. Клубуновского (Москва) «Из наблюдений над языком современной прозы и поэзии», Н. Г. Григорьева (Владимир) «Особенности поэтического слова».

Наряду с литературоведами, в работе конференции принимали участие и лингвисты: в числе нескольких секций конференции была и секция языкознания, которую возглавлял доктор филол. наук проф. И. А. Василенко. В работе секции участвовали члены кафедр русского языка университетов и педагогических институтов страны, научные сотрудники Института русского языка АН СССР. На заседаниях секции было заслушано и обсуждено 14 докладов.

В докладе В. П. Вомперского (Москва) «Индивидуальный стиль писателя как историческая категория (применительно к истории русской литературы XVII—XVIII вв.)» понятие «индивидуальный стиль писателя» выявляется с учетом культурно-исторических, идеологических и лингвистических предпосылок. Докладчик остановился на вопросе об изменении содержания понятия об индивидуальном стиле писателя на разных этапах развития литературы, предложил периодизацию, отражающую эти изменения.

Вопросам стилистики художественной литературы пушкинского времени были

посвящены доклады Г. М. Чумакова (Луганск) «История становления литературно-художественной лексики национального русского языка» и С. Е. Вайнтруба (Каменец-Подольск) «К вопросу о стилистической структуре русской литературной речи в пушкинское время».

В докладе А. В. Степанова (Москва) «Образная перспектива слова в художественных текстах» содержался богатый материал о «секретах» писательского мастерства. Характеристике речевых средств произведений сатирического юмористического жанра были посвящены доклады Г. И. Шкляревского (Харьков) «О языковых средствах комического» и А. К. Панфилов (Москва) «Некоторые речевые элементы русского советского фельетона». Е. П. Артеменко (Воронеж) выступила с докладом «Приемы создания речевых характеристик крестьянских персонажей в драматургии Л. Н. Толстого». Языку И. С. Тургенева был посвящен доклад А. Г. Москалевой (Ярославль) «Роль прилагательных в создании образов в „Записках охотника“».

В ряде докладов были поставлены проблемы стилистики художественной речи М. Горького и других советских писателей. Г. С. Боярицева (Борисоглебск) в докладе «Литературно-лингвистический анализ „Песни о Буревестнике“» удачно соединила литературоведческий анализ с лингвистическими наблюдениями. Богатству и разнообразию приемов использования сравнений в произведениях писателя был посвящен доклад Н. К. Соколовой (Воронеж) «О некоторых стилистических функциях сравнений в произведениях М. Горького». Н. М. Киселева (Москва) сделала доклад «Противительные союзы и структура художественного произведения (на

примере анализа творческого метода Алексея Толстого)».

Представители Одесского гос. ун-та работают над изучением стиля советских писателей. В. А. Попова выступила с докладом «Слово и образ (на материале произведений М. Пришвина)». Г. М. Мижевская — «Место и роль народно-речевых средств в языке русской художественной литературы (на материале произведений В. Тендрякова)». В. П. Дроздовский в докладе «Некоторые вопросы методики

изучения языка художественной литературы» познакомил участников конференции с интересными приемами анализа языка художественных произведений украинской и русской литературы.

В прениях по докладам выступили В. Д. Левицкая (Москва), Е. Г. Ковалевская (Ленинград), П. Г. Черемисина (Орел), Н. А. Рудяков (Кишинев) и др.

А. К. Панфилов (Москва)

• КНИГИ, ЖУРНАЛЫ И БРОШЮРЫ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ

Приводимый список подтверждает получение посланных в редакцию книг. Редакция благодарит издательства и авторов, направивших книги в адрес журнала «Вопросы языкознания». Редакция сообщает, что она не может гарантировать рецензирование всех присланных книг. Рецензии помещаются в зависимости от возможностей и от профиля журнала, два экземпляра отписок рецензии высылаются издателям или авторам. Присланные книги не возвращаются.

Новости ЮНЕСКО. Информационный бюллетень. 6—8, 1966.

Ceskoslovenská rusistika. XI, 2, 1966, стр. 65—129.

Finnisch-ugrische Forschungen. Zeitschrift für finnisch-ugrische Sprach- und Volkskunde. XXXV, 1—2.—Helsinki, 1966. стр. 334.

Język polski. LXVI, 1, 2, 1966. Стр. 1—160.

«Langages», 1: Recherches sémantiques.—Paris, mars, 1966. 128 стр.

Zpravodaj místopisné komise CSAV. VII, 1, 1966. 72 стр.

Д. С. Мгеладзе, Н. П. Колесников. Слова топонимического происхождения (топонимы в русском языке).—Тбилиси, 1965. 125 стр.

В. Н. Михайлов. Собственные имена как стилистическая категория в русской литературе.—Луцк, 1965. 55 стр.

Н. Н. Прокопович. Словосочетание в современном русском литературном языке.—М., 1966. 330 стр.

A. Avram. Contribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte românești [Отд. отт. из «Studii și cercetări lingvistice», XV (1964), 1—5].—București, 1964. 139 стр.

A. Bartoněk. Development of the long-vowel system in ancient Greek dialects.—Praha, 1966. 220 стр.

A.-J. Greimas. Semantique structurale. Recherche de méthode.—Paris, 1966. 262 стр.

D. G. Hayes. Readings in automatic language processing. —New York, 1966. 202 стр.

L. Hjelmslev. Le langage. Une introduction.—Paris, 1966. 191 стр.

T. Itkonen. Proto-Finnic final consonants. Their history in the Finnic languages with particular reference to the Finnish dialects.—Helsinki, 1965. 287 стр.

Eeva Kangasmaa-Minn. The syntactical distribution of the Chermis genitive. I.—Helsinki, 1966. 234 стр.

G. Niekke. Die expanded Form im Altenglischen. Neumünster, 1966. 400 стр.

G. J. Ramstedt. Einführung in die altaische Sprachwissenschaft. III.—Helsinki, 1966. 171 стр.

CONTENTS

Articles: V. G. Kostomarov, A. A. Leontiev (Moscow). Some theoretical problems of language-usage; **Discussions:** N. I. Tolstoj (Moscow). Contributions to the typological study of Slavonic word-stock; V. V. Lopatin (Moscow). Adjectivation of participles and its relation to word-formation; V. Z. Panfilov (Moscow). On the typological characteristics of the nivkh language; **Materials and notes:** T. M. Lightner (Urbana, USA). On the alternation of $e \sim o$ in modern Russian; L. Mošinskij (Toruń). The relation of Old Church Slavonic vocabulary to the vocabularies of other Slavonic languages; F. B. Mareš (Prague). A draft for the preparation of Old Church Slavonic vocabulary; A. Nazor (Zagreb). On the vocabulary of the Croat-Glagolic version of the Common Slavonic literary language (Old Church Slavonic); G. Mikhaile (Bucharest). On the collection of material for the dictionary of Book-Slavonic in Rumanian version; **From the history of linguistics:** L. Tesnière. On the problem of the dialectological atlas of the Russian language; **Critics and bibliography;** **Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: V. G. Kostomarov, A. A. Leontiev (Moscou). Quelques problèmes théoriques de langage correct; **Discussions:** N. I. Tolstoj (Moscou). Contributions à l'étude typologique de vocabulaire slave; V. V. Lopatine (Moscou). Adjectivation des participes et sa relation à la formation des mots; V. Z. Panfilov (Moscou). Caractéristique typologique de la langue nivkh; **Matériaux et notices:** T. M. Lightner (Urbana, EÜA). Sur l'alternation $e \sim o$ en russe moderne; L. Mošinskij (Toruń). Relation de vocabulaire vieux-slave au vocabulaire des autres langues slaves; F. B. Mareš (Prague). Projet pour la preparation du vocabulaire vieux slave; A. Nazor (Zagreb). Sur le vocabulaire du slave commun littéraire dans la version croate-glagolique; G. Mikhaile (Bucarest). Collection des matériaux pour un dictionnaire de slave livresque dans la version roumaine; **De l'histoire de la linguistique:** L. Tesnière. Sur le problème de l'atlas dialectologique russe; **Critique et bibliographie;** **Vie scientifique.**

Технический редактор Л. Д. Мельникова

Т.-13846 Подписано к печати 3/Х-1966 г. Тираж 6125 экз. Зак. 1066
Формат бумаги 70×108¹/₁₆ Печ. л. 13,3 Бум. л. 4³/₄ Уч.-изд. листов 15,⁵

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, В. В. Виноградов (главный редактор),
В. М. Жирмунский (зам. главного редактора), *П. С. Кузнецов, Э. А. Макаев,*
М. В. Панов, В. Э. Панфилов, И. И. Резвин, Ю. В. Рождественский,
Б. А. Серебрянников, Н. И. Толстой (отв. секретарь редакции).
О. Н. Трубачев

*Открыта подписка
на новый журнал
издательства «Наука»*

С января 1967 г. начинает выходить новый
научно-популярный журнал
„РУССКАЯ РЕЧЬ“.

Журнал рассчитан на широкий круг читателей-языковедов, писателей, литературных критиков, журналистов, педагогов, студентов, деятелей сцены, кино, агитаторов и пропагандистов, лекторов, юристов, всех тех, кого интересуют вопросы культуры русской речи, языка художественных произведений, радио, кино, театра, публичных выступлений.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ — ОДИН НОМЕР В 2 МЕСЯЦА. ПОДПИСНАЯ
ЦЕНА НА ГОД ЗА 6 НОМЕРОВ — 3 руб.

Подписка принимается общественными распространителями печати в пунктах подписки «Союзпечать», по месту работы и учебы, в агентствах «Союзпечати», а также в любом почтамте и отделении связи.